

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
Д Е С Я Т А Я

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ
А.Л. ТОЛСТОЙ
ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ
Л. СЕЙФУЛЛИНА

С Т И Х И:

АДАЛИС
МИХ. ГЕРАСИМОВ
МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ
И. СЕЛЬВИНСКИЙ

НАУКА И ЖИЗНЬ:

Г. ФУРМАН

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

М. БОЛЬШАКОВ
Н. ЛЯШКО
ХАИРХАН

ЗА РУБЕЖОМ:

С. ГАЛЬПЕРИН
ПОГРАНИЧНИК
В. ВАСИЛЬЕВ.

ИЗ ПРОШЛОГО:

ЯК. ЧЕРНЯК

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ
К. ЛОКС
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
ФЕДОР МАЛОВ
В. СОЛОВЬЕВ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Я. ФРИД, Н. ЗАМОШКИН,
АРК. ГЛАГОЛЕВ, АННА ША-
ФИР, И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ,
Л. ТИМОФЕЕВ, Б. ПЕСИС,
А. СТАРЧАКОВ, Н. ПРЯНИШ-
НИКОВ, И. СЕРГИЕВСКИЙ.

М О С К В А
4 . 9 . 2 . 9

„ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ в ЛЕНИНГРАДЕ“

Ленинград, Внутри Гостиного

Двора № 52/54. Тел. 9-55.

ПОСТУПИЛИ



В ПРОДАЖУ:

М. ЗОЩЕНКО. Письма к писателю. Стр. 160. Ц. 1 р. 25 к.
Н. БРАЖНИН. Прыжок. 4-е изд. Стр. 240. Ц. 2 р.
П. ГУБЕР. Месяц туманов. Стр. 288. Ц. 2 р. 60 к.
Б. ЛАВРЕНЕВ. Белая гибель. 2-е изд. Стр. 160. Ц. 1 р. 20 к.
К. ТАГВР. Зимний берег. Стр. 192. Ц. 1 р. 75 к.
В. ЗАЗУБРИН. Два мира. 6-е издание.
Я. КРЮКОВСКОЙ. И так, и этак.
БОРИС ИВЕРОВ. Шесть девяток. Роман.
А. УЛЬЯНСКИЙ. Путь колеса. Роман.

Г. КУКЛИН. Краткосрочники. Стр. 152. Ц. 1 р. 25 к.
Н. БАРИШЕВ. Летящий Фламмандрион. Стр. 208. Ц. 1 р. 90 к.
И. БРАЖНИН. Жестокая ступень. Роман. Стр. 208. Ц. 1 р. 85 к.
Б. ЭЙХЕНБАУМ. Мой современник. Стр. 160. Ц. 1 р. 60 к.
В. ХЛЕВНИКОВ. Обр. сочинений. Т. II.
ВОЛЬФ ЭРЛИХ. Право на песнь.
Е. ЖУКОВСКАЯ. Записки шестидесятницы.
Ф. ДОСТОВСКИЙ. Игрок, с иллюстр. художн. Н. В. Алексеева.

Выходят в ближайшее время:

Склад изданий — ГОСИЗДАТ Р. С. Ф. С. Р.

Изд-во „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“

МОСКВА, 37, Страстная площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

7-й ГОД ИЗДАНИЯ

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛУСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7-й ГОД ИЗДАНИЯ

КРАСНАЯ НИВА

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Вяч. ПОЛОНСКОГО.

КРАСНАЯ НИВА освещает в художественном слове, статьях, очерках и иллюстрациях рост и развитие социалистического строительства СССР, успехи индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, пути культурной революции.

КРАСНАЯ НИВА освещает революционную борьбу мирового пролетариата, знакомит с важнейшими явлениями во всех областях мировой культуры.

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ читатель найдет отображение всей текущей жизни искусства как советского, так и европейского.

В отделе критики литературы, театра и кино—наиболее крупные явления советского и европейского театра и литературы.

Каждый номер «Красной Нивы» дает фото-образ мировых событий.

МНОГОКРАСОЧНЫЕ ОБЛОЖКИ журнала «КРАСНАЯ НИВА» воспроизводят рисунки лучших современных советских и европейских художников.

Условия подписки на 1929 г. на журнал „КРАСНАЯ НИВА“:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
6 р. 75 к.	5 р. 10 к.	3 р. 40 к.	1 р. 75 к.	60 к.

Условия подписки на „КРАСНУЮ НИВУ“ для подписчиков газеты „Известия ЦИК“:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
4 р. 80 к.	3 р. 69 к.	2 р. 40 к.	1 р. 20 к.	40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Главной Конторой „Известий ЦИК“ СССР и ВЦИК“ (Москва, Страстная пл.) и ее специальными уполномоченными, Ленинградск. отделением (Ленинград, просп. 25 Октября, 68), всеми почтовыми конторами СССР и письмоносецами!

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА производится во всех почтовых конторах и киосках, во всех киосках „Всесоюзного Кон-трагентства Печати как городских, так и на ст. ж. д. и у газетчиков.

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ь

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 9

Москва, Главлит А 48741

СТАТ – формат Б/5

Типография им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Артем ВЕСЕЛЫЙ. — Россия, кровью умытая, главы из романа. 5
2. АДАЛИС. — Посвящение лошади Наргыз, стихотворение. 14
3. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, повесть, продолжение 15
4. Мих. ГЕРАСИМОВ. — Грузия, стихотворение. 37
5. Георгий НИКИФОРОВ. — Игра, рассказ. 38
6. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Расплата, рассказ 49
7. Михаил ИСАКОВСКИЙ. — В заштатном городе, стихотворение. 82
8. И. СЕЛЬВИНСКИЙ. — Крымская коллекция, стихотворение . . . 83

НАУКА И ЖИЗНЬ

9. Г. ФУРМАН. — Путь развития борьбы с алкоголизмом 87

ЛЮДИ И ФАКТЫ

10. М. БОЛЬШАКОВ. — Забайкальские переселенцы, очерк. 97
11. Н. ЛЯШКО. — С дорог без вешек, очерк. 101
12. ХАИРХАН. — В гостях у курдов, очерк. 117

ЗА РУБЕЖОМ

13. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету, очерки международной поли-
тики. 124
14. ПОГРАНИЧНИК. — Курильские острова, очерк. 136
15. В. ВАСИЛЬЕВ. — Монгольские очерки. 144

ИЗ ПРОШЛОГО

16. Як. ЧЕРНЯК. — Конец огаревского дела, по неопубликованным
материалам 153

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Проблемы литературы. Кого же, наконец,
считать крестьянским писателем? 174
18. К. ЛОКС. — Художественная манера Чехова. 187
19. А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ. — О «многоголосности» Достоевского. . 195
20. Федор МАЛОВ. — О песне современной деревни 210

21. В. СОЛОВЬЕВ. — Как надо писать о деревне.	223
22. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Репортаж должен быть честным, <i>письмо</i> в редакцию	225

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Я. ФРИД. — Эрих Мариа Ремарк «На Западном фронте без пе- ремен»	: : 228
Н. ЗАМОШКИН. — Николай Шкляр «Свет».	230
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — А. Фролов «Путанная жизнь».	231
Анна ШАФИР. — Лев Никулин «Высшая мера».	231
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Вольф Эрлих «Софья Перовская».	232
Л. ТИМОФЕЕВ. — Дайреджиев «Через отмели».	233
Б. ПЕСИС. — П. Вайян-Кутюрье «Бал слепых».	235
А. СТАРЧАКОВ. — Милий Езерский «Чудь белоглазая».	235
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — П. Вяземский «Старая записная книжка».	236
Н. ПРЯНИШНИКОВ. — П. Боборыкин «За полвека».	237
А. СТАРЧАКОВ. — Ю. Мархлевский «Литературные наброски».	238
Письмо в редакцию	239
Книги, поступившие на отзыв.	240

Россия, кровью умытая

Главы из романа

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

Осада Екатеринодара

Город сотряслся от орудийной пальбы.

В ночном небе пласталось зарево пожаров — горели артиллерийские казармы, кожевенные заводы, дома и лавки на сенном базаре.

К городу—на огонь и гул—со всей Кубани устремлялись партизанские отряды. По степным дорогам пылили подводы с пехотой, летела кавалерия, и к вокзалу то и дело подкатывали эшелоны с Тихорецкой, Кавказской, Тамани, из Новороссийска.

У под'езда штаба обороны дежурили автомобили с потушенными огнями, вестовые держали наготове подседланных коней. На парадном, присев за пулеметом на корточки, покуривал печатник Астафьев. На лестницах и по коридорам спали вповалку.

Штаб обороны заседал беспрерывно.

Покровский перед бегством из города разгромил левые революционные организации. Много рядовых большевиков погибло в застенках, выловленные члены подпольного комитета были уведены, как заложники. Городская общественность руками и языками эсеров и меньшевиков помогала раде и сбором средств, и организацией благотворительных вечеров, и сколачиванием ученических дружин. Рада бежала, и политические ваньки-встаньки вызвались служить совдепам. У большевиков своих сил нехватало. Случалось, на должности директоров и управителей посылались люди, еле умеющие подписывать свою фамилию. Торжествующие говоруны были введены и в общественные организации и в штаб обороны... С фронта хорошие вести, и работа в штабе кипела—скрипели перья, пищали полевые телефоны, получив назначение, убежали агитаторы, сновали ординарцы и фуражиры, командиры прибывающих частей получали боевые задания. Но достаточно было разорваться где-нибудь поблизости шальному снаряду или пронестись тревожному слуху, и в штабе—паника: кто хватался за портфель, кто за чемодан, секретарь, комкая, рассовывал по карманам протоколы, в задохнувшейся тишине хлопали двери, ящики столов.

В углу зала на диване с мокрым полотенцем на голове лежал юный главком Кубано-Черноморской республики Автономов.

— Вставай, вставай, обормот,—расталкивал главкома его помощник Сорокин, вызванный в штаб на совещание.—На мягких диванах твое дело дрыхнуть да парады принимать, а воевать тебя нет.

— Доктора...—стонал пьяный главком.—Умираю.

— Плетей тебе хороших, поганец. Штатские вон уговариваются город сдавать, а ты и не чешешься.

— Иван Лукич, голубчик,—подступал к Сорокину один из самых влиятельных членов штаба,—вы не так меня поняли. Никто и не помышляет об отступлении. Я лишь предлагаю перенести штаб на вокзал, на колеса. Ведь ежели ворвутся кадеты, то нас, идейных, перевешают в первую голову, и революция, лишившись вождей, надолго заглохнет во всем крае.

— Перебьют, перевешают, бежать надо, бежать,—басил из угла другой член штаба.—Впустим белых в город, как в западню, а потом окружим и прихлопнем.

Сорокин возгорелся гневом:

— Штатская сволочь! Предатели! Забирайте свои зонты, калоши и валитесь к чертовой матери!.. Останусь без вождей, но с верными революции войсками. Город не сдам!

Большевики Петя Рыжов, Фрол и длинноволосый анархист Африканов наперебой кричали Сорокину, что они и сами не согласны со своими товарищами, но тот уже ничего не хотел слушать и, выхватив шашку, кинулся к дверям:

— На фронт, друзья, на фронт! Долг зовет!

Следком за ним, ровно собаки за хозяином, побежали телохранители—казаки Гайченец и Черный.

— Подлец!—кричал Сорокин уже на улице, остановив начальника гарнизона Золотарева.—На фронте кипит святая борьба, а у тебя в тылу убийства и грабежи не прекращаются. Пьяные шайки бродят по улицам, раздевают своих раненых и нагоняют панику на мирных жителей. Часовые на посту курят, разговаривают и никак не соблюдают правила устава.

Золотарев тянулся и бормотал извинения. Командующий ухватил его за плечи и принялся колотить головой о забор:

— Мерзавец... Всеми мерами рассудка и совести ты должен отрезвлять пропойц и громил, а ты сам пьянствуешь, грабишь и ночи напролет прогуливаешь со шлюхами.

— Прости...

— Ну, иди. На глаза пьяный не попадайся, застрелю. Приказываю немедленно восстановить и поддерживать в городе порядочек. Всякие безобразия подавлять силой оружия.

Начальник гарнизона принял под козырек: из-под широкого рукава черкески блеснул браслет. Сорокин погрозил ему плетью и, вскочив на жеребца, ускакал. Он сдержал обещание и впоследствии

расстрелял Золотарева. Автономов, вскоре после описываемых событий возомнивший себя Бонапартом, навел дула пушек на Кубанский совнарком, за что и был низложен и ошельмован. Главкомом стал Сорокин.

Фрол вышел на улицу.

По железным крышам домов барабанили осколки лопающихся на большой высоте снарядов. Косо висели сбитые вывески. Из окон сыпалось, всплескиваясь на тротуарах, стекло. На дороге среди размеченных камней торчала скрученная штопором трамвайная рельса.

От вокзала по всем улицам вольным шагом двигались войска.

С Дубинки и Покровки—рабочие слободки—народ валил густо, будто на митинг. Стар и мал встали на ногу, под винтовку. Никому и ничего не было страшно: шли на отмах, грудь на грудь.

Катились, погромыхивая, орудийные запряжки, рессорные линейки красного креста и военные повозки с номерными флажками.

Партизаны—кто в картузе, кто в треухе, кто в соломенной шляпе. Рваные кожухи, шинели разных сроков, доскуты и заплаты. На зарядном ящике ехал артиллерист в собольей шубе на распашку. Матрос с нацепленными на босые ноги шпорами трясся на неоседланной лошади и держал над головой кружевной зонтик.

По тротуарам, обгоняя обозы, на рысях сыпала кавалерия.

Сидит генерал,
Перед ним каша.
Бедняки кричат:
Вся Расея наша...

Улица гремела из конца в конец.

Офицер молодой,
Куда топаешь?
Под лапу попадешь,
Пулю слопаешь...

«Вот оно» — радостно вздрогнув, подумал Фрол. От восторга у него запершило в горле, в глазу блеснула дорогая слеза. Он вмешался в ряды и пошел в ногу со всеми.

Иисус христос
Проигрался в стос,
А божая мать
Пошла торговать...

В дверях прачечной охала и причитала старуха:

— Бедненькие, али у них отцов-матерей-то нет? На погибель идут. Здоровенная трегубая девка тащила ее прочь:

— Айда, тетка Анна, чорт их разберет, не суйся.

— Я, доченька, сама сирота, знаю, какая жизнь без отца-то, без матери... Тридцать годиков, как один денек, у полковника Шаблыкина в услуженьи прожила, белья-то горы перестирала, — она подняла посбитые до мослов кулаки,—выгорбила меня работушка, высушила

заботушка, а полюбовница его Аглаюшка и выгони меня по старость на вей-свет...

— Будет, тетка,—не унималась девка,—слушать тошно, рвать тянет, айда.

— Выгнала и выгнала. А куда я седую голову приклоню, где кусок добуду? Проучите их, ребятушки, бесов гладких, залейте им за шкуру сала дубового, пускай узнают, какое на свете горе живет...—Из'еденной щелоком красной рукой старуха крестила проходящие роты.

Подкрепления прибывали.

Людьми и обозами были запружены все улицы и двory, прилегающие к берегу Кубани, к сенному базару и садам.

Четвертые сутки бушевал бой.

С позиции вели под руки и несли раненых. Иные брели сами, волоча подбитые ноги, зажимая горячие раны. Иные отдыхали под прикрытием домов и заборов.

По мостовой полз подстреленный мальчишка. «Кровь во мне застывает» — чуть слышно проговорил он подбежавшему санитару и умер, обняв тумбу.

Натыкаясь на людей, протрусилa заседланная лошадь,—за ней в пыли волочились вывалившиеся из вырванного бока кишки.

За кирпичной стеной—перевязочный пункт. Похожий на скотного резаку, до усов забрызганный кровью фельдшер бритвой подпарывал штанины и рукава, спускал с простреленных ног сапоги. Заплаканные и падающие от усталости женщины сутились около раненых. «Ух, ух!»—закричала вдруг одна, узнав мужа: рваная рана на груди, ключом била кровь. Женщина, не помня себя, сорвала с головы платок и принялась затыкать им рану. Санитары еле оторвали ее от носилок.

Раненых окружали, расспрашивали о боях, угощали табаком и хлебом.

Матрос рассказывал:

— На рассвете выбегает к нашим окопам какой-то фраверок в рваной шинелишке и гудит: «Братишки, измена». «Где, спрашиваем, измена?» «Все наши командиры дурак на дураке, бить их надо. Сорокин неправильные подает сигналы. И все снаряды наши летят в реку Кубань». «А ты кто такой?» «Я, отвечает, подрывник саперного батальона. Бей командиров, они нас продали. Спасайся, братишки, измена». Мы к нему: «Ваши документы?» Он брык и наутек. Мы за ним, он от нас. Догнали, повалили, давай обыскивать. Сдернули сапог — под портянкой флаг белый, сдернули другой — погоны выпали. «Ты что же, дракон, туману нам в штаны напускаешь?» «Простите, плачет, братишечки, я хотя и не сапер, а поручик, но истинный республиканец, люблю революцию и весь простой народ». «Ты, кричим, нас любишь, а вот нам за что вашего брата любить?» Только мы его кувыркнули под откос, слышим, гу-гу, гу-гу, тра-та-та, тра-та-та... По всему фронту поднялись ихние цепи и на нас бегом в атаку. Ну, мать честная, накатали мы их гору.

Бум

бьет из переулка пушка и в изнеможении откатывается.

— Перелет! — кричит с крыши наблюдатель.

Бум.

— Есть!

Бум.

— Есть!.. Крой беглым.

Слободской сапожник Ваня Грибов сидел верхом на дуле пушки и гнул через коленку гармонь. При каждом выстреле он дергался и хохотал:

— Крой, Микишка, бога нет!

Под забором, раскинув руки, лицом вниз валялся парень в прожженной на спине бекеше. Санитары потянули было его за ноги, намереваясь взвалить на телегу с мертвецами.

— Чо? — зарычал он и приоткрыл серый глаз.

— Живой?

— Катитесь отседова к такой-то матери, — парень повернулся на бок и сразу захрапел.

— Ну и дьявол, — дивились кругом. — Смерть над ним вьется, над ухом пушка гукает, а он дрыхнет и горюшка мало.

Фрол, наклонившись, перебежал открытое место и спрыгнул в окоп, полный людей. Кто постреливал, кто спал, обняв ружье. Двое старых солдат, пофыркивая, пили неведомо какими путями раздобытый чай.

— Кого ж ты, Петька, испугался?

— Ой, дяденька, страшно было ночью, — закатил под лоб глаза набиравший пулеметную ленту Петька. — Кругом гудит, огни блись-блись, земля под ногами трясется, из раскаленных пулеметов льет белый, как молоко, растопленный свинец, раненые стонут, а тут еще в темноте-то китайцы гогочут, как индюки, я и убежал. Дома выпался, а чуть зорька — опять сюда. Мать не пускала, да я через окошко выпрыгнул.

Где-то взвыли рожки горнистов... Нарастающий с флангов крик— ура-а-а-а—хватил по всей линии.

В окопах все пришло в движение.

— Опять лезут, — сказал солдат, отодвигая жестяную кружку с недопитым чаем, и, схватив винтовку, встал.

Невдалеке по черной пашне огорода ползли офицеры.

— Дяденька, дай стрельнуть, — попросил Петька.

— Я тебе стрельну, паршивец. Спи мирно и носу не высовывай.

Фрол не успел выпустить и одной ленты, как пулемет отказал. Не умея справиться с задержкой, он бросил его и перебежал к соседнему молчавшему пулемету, за которым дергался и пускал сквозь пушистые усы розовую пену мадьяр Франц.

Артиллерия, точно обезумев, открыла ураганный огонь. Воющий ливень стали остановил наступающих.

Мгновение

цепи покатались обратно.

Пулеметы еще выбивали уверенные трели, когда у черноморского вокзала загремел серебряный оркестр, и на виду у неприятеля, окруженный свитой, по фронту пошел Сорокин, танцуя лезгинку и стреляя из двух маузеров вверх. Партизаны за развевающиеся полы малиновой черкески стащили командующего в окоп.

Перед окопами у проволочных заграждений стонали раненые. Петька с бутылками воды на шее пополз к ним.

Счастливой рукою посланный снаряд сразил Корнилова.

Деникин, принявший командование, снял осаду, и армия пустилась в бегство, бросая по дороге пушки, обозы и сотни раненых солдатников.

Блистало солнечное весеннее утро.

Поле битвы являло печальную картину...

По реке густо шла дохлая рыба. Нырять в крутой волне, плыли вздувшиеся лошадиные туши и трупы людей. Далеко несло тухлятиной.

Но живые думали о живом.

— Пехота на подводы!... Конница вперед!..

Паровоз шумит,
Четыре вагона.
Ахвицеры за Кубанью
Рвут погоны...

Музыка рвала сердца.

Сорока наступает,
Усмехается.
Кадеты тикают,
Спотыкаются...

Партизаны, наступая врагам на пятки, снова погнались за ними по степям. В гривы конские были вплетены первые полевые цветы, а на хвосты навязаны почерневшие от запекшейся крови золотые и серебряные погоны.

Взятие Армавира

Летом и осенью,—речь идет о восемнадцатом годе,—Армавир несколько раз переходил из рук в руки.

Повествую о самом незабываемом.

Сводно-офицерская, или, как потом ее звали на фронте, Золотая дивизия вломила в город и укрепилась в нем. Отсюда Деникин намеревался сокрушить рассеченную надвое одиннадцатую армию.

Красному командованию Армавир был важен как железнодорожный узел, связывающий Баталпашинский фронт со Ставрополем. Вымученных бесперывными походами, но еще полных боевого задора

партизан тоже манили огни города: там всякий думал придется, перековать коня, там—отдых, баня, жратва.

Городских больших и маленьких буржуев, натерпевшихся страхов при большевистском режиме, страшила одна мысль о возврате красных, и они из кожи лезли, помогая добровольческой армии, и даже выставили на фронт роту своих сыновей.

Приказ:

— Взять город.

Штурм

отбит.

Приказ:

— Повторить атаку.

Штурм

отбит.

Партизаны ворвались было в окраинные улицы, но, опрокинутые лихой контр-атакой офицеров, замесив пыль мостовых своей кровью, бежали, теряя орудия, оркестры и знамена. Кавалерия далеко гналась и рубила отстающих.

Ночью по степи опять скакали ординарцы с приказом реввоенсовета армии взять город во что бы то ни стало.

В долине реки Урупа ночевал один из потрепанных полков.

Командир был убит накануне, его помощник, монах Варава, на рассвете, с получением приказа, поднял партизан на митинг.

— Ну, како мыслите, братия?

Партизаны, озлобленные большими потерями последних боев, приказали кашеварам тушить кухни и заявили:

— Завтракать будем в городе.

Построились и выступили по-ротно.

Пересекли долину.

С пригорка завидели церковные сияющие на утреннем солнце кресты, фабричные трубы, остова сгоревших домов.

К городу с трех сторон в тучах пыли подходили полки.

В синем небе за клубились первые разрывы шрапнели.

Варава шагал впереди, уперев в грудь седой щетинистый подбородок. В недавнем бою пуля перервала ему горло. Рана быстро заплыла и подсохла, но шея онемела, и головы поднять он уже не мог. Узенькое, рукава по локоть, базарной работы пальтишко обтягивало его могучую спину. По самые брови нахлобучена вытертая плисовая скуфья, ноги в опорках, на поясе —бомбы, широкий, как бычий язык, нож, и бутылка с самогонкой.

Лица солдат были суровы. Через загар пробивалась сероватая бледность. Пахло вздымаемой сапогами холодной пылью.

Шли под огнем колоннами, не перестраиваясь. То и дело ротными командирами подавалась команда:

— Сомкнись.

Пустырь, кучи мусора и ржавой жести, серые заборы.

Сквозь треск и грохот боя прорывался безумный визг посеченного пулеметом поросенка.

Из пролета улицы густо, со свистом летела шрапнель, хлестала картечь и, мигая золотыми глазами, железным хохотом захлебывались пулеметы.

Головная рота дрогнула, замешалась, и ряды перепутались.

Тогда Варавва повернулся к полку и, откинувшись всем корпусом, чтобы видеть солдат, хрипло крикнул:

— Галиафы, вперед!

И опять широко зашагал, слыша за собой, как стук большого сердца, тысячный гулкий шаг.

Кто-то завел высоким рыдающим голосом:

Цыганка Галька,
Цыганка Галь,
Цыганочка черная,
Ты мне погадай...

Музыканты ударили в пустые ведра и котелки. Голоса завертелись в песне, как бумажки в вихре:

Цыганочка черная,
Дай, дай, дай...

Полк, задохнувшись, оборвал песню, быстро развернулся, бросился вперед и поднял на штыки передовую цепь противника.

Партизаны ворвались в город со всех сторон.

Улицы были забаррикадированы ученическими партами, плюшевыми диванами, ящиками с фруктами.

Партизаны крались, прячась за выступами домов, через проломы в заборах проникали во дворы, подлезали к баррикадам и метали бомбы,—в снопах огня взлетали тряпки, щепки, шматки мяса.

Офицеры защищались до последнего. Самые храбрые из именитых горожан стреляли по наступающим из окон и с чердаков.

Бой кончен.

На баррикадах трещат разбиваемые ящики с фруктами, запекшиеся от крови и пыли рты победителей жуют айву и обсасывают кисти светлого винограда.

Санитарные линейки собирают раненых и убитых.

Барахольщики волокут на базар вороха залитой кровью одежды. В домах охотники, смеясь и рыча, штурмуют буржук.

Прямо на улицах казнят попа; захваченного за пулеметом.

Варавва, уже одетый в офицерский китель, в кругу полчан откалывает гопака.

Бойцы, гогоча и матерясь, читают наклеенный на фонарный столб приказ начальника гарнизона:

«Во всех церквях г. Армавира после божественной литургии приказываю отслужить панихиду по бывшему императору Николаю II, павшему жертвой грязных рук большевиков».

Буржуи со всего города были согнаны на площадь,—тысячи полторы голов. Под охраной штыков они стояли покорно, как гурт скота. С минуты на минуту должен был приехать большой начальник и распорядиться—кого в тюрьму, кого к стенке, кого на работы по рытью могил и окопов.

Мимо проходила кавалерийская бригада. Неожиданно из строя вылетел ингуш Хабча Чотчаев и, ворвавшись в гущу беспомощных врагов, с визгом принялся сечь их плетью по глазам: он мстил за убитого на приступе друга Халу Уцаева. Заложники шарахнулись, разорвали кольцо конвоя и—бежать. Бригада бросилась в рубку, конвойцы принялись стрелять и колоть, так что мало кто убежал: кровь буржуйская текла по канавам вдоль тротуаров, как текут ручьи после хорошего дождя.

Посвящение лошади Наргыз

А Д А Л И С

Конечно, Пушкин был неправ!
Растет кунжут, цветет кенаф;
Над полем хлопковым поник
Кривой, развесистый мужик,
И полдень горестно горбат...
Иди, лошадка, в Ордубат!

Вот сбруя дряхлая твоя,
Вот кости павшего ручья,
Вон твой хозяин побежал
Сдавать в милицию кинжал, —
И не речист, и не жесток
Твой романтический Восток!

Кто будет, слушай, дураком,
Ворвется в дайраисполком
(«Селям алейкум, друг полей,
Шербета путнику налей!»),
Когда заране прост ответ:
«Есть соль и сыр, а хлеба нет?..»

Шербет противен иногда, —
Дороже юная вода,
Лепечущая легкой вздор,
Силком притянутая с гор,
Чтоб рос кунжут и цвел кенаф
Вдоль оросительных канав!..

Иди, заешь тебя аллах! —
Селенья куксится в горах,
И вьется траурный флажок ¹⁾...
Нет упоения, дружок,
В чуме рогатого скота, —
Но глухота и немота!

Иди, жеманница, иди!
Проклятья слышишь позади?
И не боюсь, и не пою, —
Нет упоения в бою

¹⁾ Черный флажок над Нахчеванским или Норошенским аулом означает: «Берегись эпизоотии».

С ордой спеленутых старух! —
Лишь долгий труд и трупный дух.

Скоси-ка лучше карий глаз
На горы, верящие в нас, —
На полный бук, на белый мак,
На тонко-красный железняк,
На эту, младшую в роду,
Цыплячью серную руду!

Здесь будут лязгать рудники,
Аулы, песни, родники,
Тутóвый дождь, вишневыи град,
Ресницы крепкие ребят!
Здесь будет искренен и тих
Шумок лесничеств молодых...

Имел ли Пушкин амулет? —
Быть может, — да, вернее — нет.
Да мы с тобой — другая статья,
Нам талисманов не искать!
Нам не кидаются в глаза
Кальян, кинжал и бирюза!..

Когда ж с кувшином на бедре
Идет красавица в чадре, —
Вперед! — и мы ее пленим...
Покинуть свой постылый «Дым»,
Повздорить с мужем поутру
Да в женотделе снять чадру;

Когда ж меня в стране такой
Уложит пуля на покой, —
На сцену явятся, журча,
Янтарь и мускус и парча,
И запоеет в саду густом
Птенец над розовым кустом.

Печальны теплые края,
Голубка черная моя!
И труд их жителям не нов,
Дочь карабахских табунов!
И цель, как всюду, впереди...
Иди, разбойница, иди!

Верхние Азы

Петр первый

Повесть

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹⁾)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Всю зиму на Украине собиралось дворянское ополчение. Трудно было доставать помещиков из деревенской глуши. Большой воевода, Василий Васильевич Голицын, рассылал грозные указы, грозил опалой, разорением и батогами. Помещики не торопились слезать с теплых печей: «Эка взбрело—воевать Крым. Слава богу, у нас с ханом вечный мир, дань плотим не обидную, чего же зря дворян беспокоить. То дело Голицыных, — на чужом горбе хотят чести добыть...» Ссылались на немочи, на скудность, сказывались в нетях. Иные озорничали, — от скуки и безделья в зимнюю пору всякое взбредет в голову. Стольники Борис Долгорукий и Юрий Щербатый, не в мочь уклониться от похода, одели ратников в черное платье и сами на вороных конях, все в черном, как из могил восставшие, прибыли к войску, — напугали всех до полусмерти. «Быть беде, — заговорили в полках, — живым не вернуться из похода...» Василий Васильевич, озлившись, написал в Москву Шакловитому, поставленному им возле Софьи, как своя рука: «Умилосердись, добейся против обидчиков моих указа, чтобы их за это воровство разорить, в старцы сослать навечно, деревни их неимущим роздать, — учинен бы им был строгости такой образец, чтобы все задрожали...»

Указ заготовили, но по доброте Василий Васильевич простил озорников, со слезами просивших милости. Не успели замять это дело, — пошел слух по войску, что ночью-де к избе князя Голицына в сени подкинули сосновый гроб. Дрожали люди, шепча про такое страшное дело. Василий Васильевич, говорят, в тот день напился пьян и во хмелю кидался в темные сени и саблей рубил пустую темноту. Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. В мартовскую ветреную ночь в обозе пол-

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. кн. 7 и 8—9 с. г.

ковой козел—многие слышали—закричал человеческим голосом: «Быть бедеее...» Козла хотели забить кольями, он порскнул в степь,— не нашли.

Сбежали снега, с юга подул сладкий ветер, зазеленели лозники по берегам синей реки. Василий Васильевич ходил мрачнее тучи. Из Москвы шли нерадостные вести, будто в Кремле стал громко разговаривать Михаил Алегукович Черкасский, ближний боярин царя Петра, и бояре будто клонят к нему ухо, — над крымским походом смеются: «Крымский-де хан и ждать перестал Василия Васильевича, в Крыму, в Цареграде да и во всей Европе на этот поход рукой махнули. Дорого-де Голицыны обходятся царской казне...» Даже патриарх, бывший предстатель за Василия Васильевича, вдруг, оказалось, выкинул из церкви на Барашах ризы и кафтаны, подаренные Голицыным, и служить в них запретил. Василий Васильевич писал Шакловитому тревожные письма о том, чтобы недреманным оком смотрел за Черкасским, да смотрел, чтобы патриарх меньше бывал наверху у Софьи... «А что до бояр,—то извечно их древняя корысть заела, на великое дело им жаль гроша от себя оторвать...»

Скучные вести доходили из-за границы. Французский король, у которого великие послы Яков Долгорукий и Яков Мышецкий просили займы три миллиона ливров, денег не дал и не захотел даже послов видеть. Писали про посла Ушакова, что он и люди его вконец заворовались: в Гамбурге Ушаков бесчестил дочь английского воеводы, в Голландской земле хватался руками за дочь казначея, в Амстердаме люди Ушакова ухватили на дворе одну девку и повалили, да на том же дворе хотели у дворника жену обесчестить, и дворник гонялся за ними с протазаном. И во многих местах они пировали и пили и многие простые слова говорили, от чего царским величествам произошло великое бесчестие...

В конце мая Голицын выступил, наконец, со стотысячным войском на юг и на реке Самаре соединился с украинским гетманом Самойловичем. Медленно двигалось войско, таща за собой бесчисленные обозы. Кончились городки и сторожки Дикого поля,—вошли в степи. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в лазорево-горячем небе. По далекому краю волнами ходили миражи. Закаты были коротки,—желты, зелены. Скрипом телег, ржаньем лошадей наполнилась степь. Вековой тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста—ни дорог, ни троп. Передовые полки уходили далеко вперед, не встречая живой души. Видимо, татары заманивали русские полчища в пески и безводье. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. Здесь только матерые казаки знали, где достать воду.

Была уже середина июля, а Крым еще только мерещился в ослепительном мареве. Полки растянулись от края до края степи. От белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы. Ленивые

птицы слетались на раздутые ребра павших коней. Много телег было брошено. Много извозных мужиков осталось у телег, умирая от жажды. Иные брели на север, к Днепру. Полки роптали...

Воеводы, полковники, тысячки собирались в обед близ кургана, где чаще всего раскидывался полотняный шатер Голицына, с тревогой глядели на повисшее тряпкой знамя. Но никто не решался пойти и сказать: «Уходить назад, покуда не поздно». Чем дальше, тем страшнее, — за Перекопом мертвые пески.

Василий Васильевич в эти часы отдыхал в шатре: сняв платье, разувшись, лежа на коврах, читал по-латыни Плутарха, Цезаря, Тацита. Великие тени, поднимаясь с книжных страниц, укрепляли бодростью его угнетенную душу. Александр, Помпей, Сципион, Лукулл, Юлий Цезарь под утомительный треск кузнечиков потрясали римскими орлами. — К славе, к славе! — Еще черпал он силы, перечитывая письма Софьи: «Свет мой братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! Поддай тебе господи враги побеждати. А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься... Тогда поверю, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего... Что ж, свет мой, пишешь, чтоб я помолилась: будто я верно грешна перед богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей! всегда прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, на веки неисчетные...»

Когда спадал зной, Василий Васильевич, надев шлем и тканую золотыми грифами епанчу, выходил из шатра. Завидев его, полковники, тысячки, есаулы садились на коней. Играли трубы, протяжно пели рожки. Войско двигалось теперь по ночам до полуденного зноя.

Так было и сегодня. С высоты кургана Василий Васильевич окинул бесчисленные дымки костров, темные пятна войск, теряющиеся во мгле линии обозов. Мгла была особенная сегодня, пыльный вал стоял кругом окоема. В безветрии тяжело дышалось. Всегда прозрачный закат багровым мраком разливался на полнеба. Летели стаи птиц, будто спасаясь... Солнце, садясь, распухало, мглистое, страшное. Едва замерцали звезды, — затянуло их пеленой. Разгораясь по всему океану, мерцало дымное зарево. Поднимался душный ветер. Падала ночь. Яснее были видны пляшущие языки пламени, — они опоясали кольцом все войско...

У кургана остановилась кучка всадников. Один тяжелыми прыжками подскочил к шатру. Слез, поправляя высокую шапку. Василий Васильевич узнал жирное лицо и седые усы гетмана Самойловича.

— Беда, князь, — сказал он негромко, — степь подожгли...

— Татары.

Под висячими усами гетмана не видна была усмешка, тень падала на глаза:

— Кругом горит, — сказал он, показав нагайкой. Василий Васильевич долго всматривался в зарево.

— Что ж, посадим пеших на коней, перейдем через огонь...

— А как итти по пеплу? Ни корма, ни воды. Погибнем, князь.

— Отступать?

— Делай, как знаешь... Казаки не пойдут через горелую степь.

— Плетями гнать через огонь!.. (Василий Васильевич несдержан был в гневе. Забегал по кургану, вонзая в сухую землю железные каблучки.) Давно вижу, — казаки не с охотой идут с нами... И ты душой кривишь, знаю... Смешно глядеть на казаков, — в седлах дремлют... Крымскому хану, небось, бодрей служили... Поберегись, гетман. На Москве и не таких за чуб на плаху волокли... А ты — попович — давно ли свечами, рыбой торговал? Богат стал, противен...

Тучный Самойлович дышал, как бык, слушая эти речи. Но был умен и хитер, — промолчал на обиду. Сопя, взлез на коня, с'ехал с кургана, пропал за телегами. Василий Васильевич крикнул трубача. Хрипло запели трубы по дымной степи. Конница, войска, обозы двинулись через огонь.

На заре стало видно, что итти дальше нельзя, — степь лежала черная, мертвая. Только, завиваясь, бродили по ней столбы. Усилился ветер с юга, погнал тучами золу. Видно было, как вдали первыми повернули назад казачьи раз'езды. В полдень в обозе собрались воеводы, полковники и атаманы. Хмурый под'ехал гетман, сунул за голенище булаву, закурил люльку. Василий Васильевич, положив руку в перстнях на латы, сказал, смиряя гордость, со слезами:

— Кто пойдет против руки господней? Сказано: человек, смири гордыню, ибо смертен есть. Господь послал нам великое несчастье... На сотни верст ни корма, ни воды. Не боюсь смерти, но боюсь сраму. Воеводы, подумайте, проговорите — что делать?

Воеводы, полковники, атаманы, подумав, ответили:

— Отступать к Днепру, не мешкая.

Так без славы окончился крымский поход. Войска с большой поспешностью двинулись назад, теряя людей, бросая обозы, и остановились только близ Полтавы.

2

Еще в походе полковники Солонина, Лизогуб, Забела, Гамалей, есаул Иван Мазепа и генеральный писарь Кочубей, тайно прийдя в шатер Василия Васильевича, сказали ему:

— Степь жгли казаки, жечь степь посылал гетман. И вот тебе на гетмана донос, прочти и пошли в Москву, не медли, потому что нам не под силу терпеть его своевольство: разбогател, шляхетство разорил, старшине казацкой при нем нельзя в шапке стоять. Всех лает. Русским врет, с поляками сносится и им врет, а хочет он взять Украину в свое вечное владение и вольности наши отнять. Пусть из Москвы пришлют указ выбирать нам другого гетмана, а Самойловича ссадить...

— А для чего гетману не хотеть, чтобы я побил татар? — спросил Василий Васильевич.

— А для того ему не хотеть, — ответил есаул Иван Мазепа, — что покуда татары сильны — вы слабы, а побьете татар — скоро и Украина станет московской вотчиной... Да то все враки... Мы вам, русским, младшие братья, одной веры, и все рады жить под московскими царями...

— Добро сказано,—уставясь в землю, подтвердили сизоголовые, чубастые полковники. — Лишь бы Москва наши шляхетские вольности подтвердила.

Вспомнились Василию Васильевичу черные тучи праха, бесчисленные могилы, оставленные в степях, конские ребра на всех дорогах. С загоревшимися щеками вспомнил сны свои о походах Александра Великого. Вспомнил узкие переходы кремлевского дворца, где бояре, враги, будут кланяться ему, прикрывая пальцами рот, дабы скрыть усмешку...

— Так гетман зажег степи?

— Так, — подтвердили полковники...

— Хорошо. Быть по-вашему.

В тот же день в Москву поскакал о дву конь Василий Тыртов, зашив в шапку донос на гетмана. Когда подошли под Полтаву и разбили стан, прибыла от великих государей ответная грамота: «Буде Самойлович старшине и всему малороссийскому войску негоден, — великих государей знамя и булаву и всякие войсковые клейноты у него отобрав, послать его в великороссийские города под крепкою стражею. А на его место гетманом учинить когд' они, старшина, со всем войском малороссийским, излюбят...»

В ту же ночь стрельцы сдвинули вокруг гетманской ставки обоз и наутро взяли гетмана в церкви, бросив на плохую телегу, отвезли к Голицыну. Там ему учинили допрос. Голова гетмана была обвязана мокрой тряпкой, глаза воспалены. В страхе он повторял:

— Так то же брешут они, Василий Васильевич. Ей богу, брешут... То хитрости Мазепы, врага моего... — Увидев входящих Мазепу, Гамалея, Солонину и полковника Раича, он побагровел, затрясся:

— Так ты их слушаешь?... Собаки, того и ждут они — Украину продать полякам.

Гамалей и Солонина, выхватив сабли, кинулись к нему. Но стрелецкие сотники отбили гетмана. Ночью в цепях его увезли на север. Надо было поторопиться выбирать нового гетмана: казаки разбили в обозе бочки с горилкой, перекололи гетманских слуг, посадили на копье ненавистного всем гадяцкого полковника. По всему стану раздавались крики и песни, ружейная стрельба. Начали волноваться и московские полки.

Без зова в шатер Василия Васильевича пришел Мазепа. Был он в серой свитке, в простой бараньей шапке, только на золотой цепи висела дорогая сабля. Иван Степанович был богат, знатного шляхетского рода, помногу живал в Польше и в Австрии. Здесь, в походе, он отпустил бородку, как цап, стригся по-московскому обычаю. Достоинно

поклонясь, — равный равному, — сел. Длинными, сухими пальцами щипля подбородок, уставил выпуклые умные темные глаза на Василия Васильевича.

— Может, пан князь хочет говорить по-латыни?.. (Василий Васильевич холодно кивнул. Мазепа, не понижая голоса, заговорил по-латыни.) Тебе трудно разбираться в малороссийских делах. Малороссы хитры, скрытны. Завтра надо кричать нового гетмана, и есть слух, что хотят крикнуть Борковского. В таком разе лучше было бы не скидывать Самойловича: лютее для Москвы нет врага, чем Борковский... Говорю, как друг.

— Ты сам знаешь — мы в ваши малороссийские дела вмешиваться не хотим, — ответил Василий Васильевич, — нам всякий гетман хорош, был бы другом...

— Сладко слушать умные речи. Нам скрывать нечего, — за Москвой мы, как у Христа за пазухой... (Василий Васильевич, быстро усмехнувшись, опустил глаза.) Земель наших, шляхетских, не отнимаете, к обычаям нашим благосклонны... Греха нечего таить, — есть между нами такие, что тянут к Польше... Но то, корысти своей ради, чистые разорители Украины... Разве не знаем: поддайся мы Польше, — паны нас с земель сгонят, костелы понастроят, всех сделают холопами... Нет, князь, мы великим государям верные слуги... (Василий Васильевич молчал, не поднимая глаз.) Что ж, бог меня милостями не обидел... В прошлом году закопал близ Полтавы в тайном месте боченок — десять тысяч рублей золотом на черный день. Мы, малороссы, люди простые, за великое дело не жаль нам и животы отдать... Что страшно? Возьмет булаву изменник или дурак, — вот что страшно...

— Что ж, Иван Степанович, с богом, в добрый час, — кричите завтра гетмана. — Василий Васильевич, встав, поклонился гостю. Помедлил и, взяв за плечи, троекратно облобызал его.

В поле, у походной полотняной церкви, на покрытом ризой столе лежали булава, знамя и гетманские клейноты. Две тысячи казаков стояло вокруг. Из церкви вышел в персидских латах, в епанче, в шлеме с малиновыми перьями князь Голицын, за ним вся казацкая старшина. Василий Васильевич встал на скамью, держа в руке шелковый платочек, другую руку положив на саблю, сказал придвинувшимся казакам:

— Всевеликое войско малороссийское, их царские величества дозволяют вам по старому войсковому обычаю избрать гетмана. Скажите, кто вам люб, так и будет... Люб ли Мазепа али кто другой, — воля ваша...

Полковник Солонина крикнул: «Хотим Мазепу!» Подхватили голоса и зашумело все поле: «Мазепу в гетманы!..» В тот же день в шатер к князю Голицыну четыре казака принесли черный от земли боченок с золотом.

3

Построенная года два тому назад на Яузе, пониже Преображенского дворца, крепость этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера: стены расширены, укреплены сваями и железом, выкопаны глубокие рвы, на углах подняты крепкие башни с бойницами. Плетеные из ивняка шанцы и мешки с песком прикрывали ряды бронзовых пушек, мортир и единорогов. Посредине крепости поставили столовую избу человек на пятьсот. На главной башне, над воротами, играли куранты на восьми колоколах.

Шутки шутками, крепость — потешная, но при случае в ней можно было и отсидеться. На широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзертиции двух батальонов — Преображенского и Семеновского, — Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой. «Смирна — хальт!» — солдаты останавливались, отбивая правой ногой, замирали... «Правой плечь — вперед! Форвертс! Неверно! Лумпен! Сволошь! Слюшаааай!..» Генерал багровел индюком, сидя на рыжей рослой лошади. Даже Петр, теперь унтер-офицер, вытягивался, со страхом выкатывал глаза, проходя мимо него.

Из слободы взяли еще двух иноземцев: Франца Тиммермана, знавшего математику и обращение с астролябией, и старика Картена Брандта, хорошо понимавшего морское дело. Тиммерман стал учить Петра математике и фортификации, Картен Брандт взялся строить суда по примеру найденного в кладовой в селе Измайлове удивительного ботика, ходившего под боковым парусом против ветра.

Все чаще из Москвы наезжали бояре — взглянуть своим глазом, какие такие игры играют на Яузе, куда идет столько денег и столько оружия из Оружейной палаты... Через плотину они не переезжали, останавливались на том берегу речки, — впереди боярин в аршинной в сорок соболей шапке, как перина, сидел на коне, борода венником, щеки налитые, за ним дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более...

На этой стороне речки тянутся воза с песком, с фашинами; солдаты тащат бревна; на высокой треноге на блоках поднимается тяжелая колотушка, и — эх! — бьет в сваи; летит земля с лопат, расхаживают немцы с планами, с циркулярами, стучат топоры, визжат пилы, бегают десятники с саженьями. И вот, — о господи, пресвятые угодники! — не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву, нет! царь в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью по доскам везет тачку со щебнем...

Снимает боярин шапку о сорок соболей, снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны. И глядят, разведя руками... Отцы и деды нерушимой стеной стояли вокруг царя, оберегали, чтоб пылинки али муха не села на его миропомазанное величие. Без малого как бога живого выводили к народу в редкие дни, блюли византийское древнее

великолепие... А это что? А этот что же вытворяет? С холопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегают по доскам, бесстыдник, — трубка во рту с мерзким зелием, еже есть табак... Основу шатает... Уж это не потеха, не баловство... Ишь как за рекой холопы зубы-то скалят...

Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим гласом:

— Казни, государь, за правду, стар я молчать, — стыдно глядеть, срамно, небывало...

Как жердь длинный, вылезет Петр на плетеный вал, прищурится:

— А, это ты... Слышь... что Голицын пишет, — завоевал Крым-то он или все еще воюет?..

И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые немцы, а за ними и свои, кому не глотку драть, на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж, — все одно голова с плеч, — заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит: «Отца-де твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя, род-де наш от Рюрика, сами сидели на великих столах, ты о нашей-то чести подумай, брось баловство... Не уйду, в землю вросту, — одумайся, иди в баню, иди в храм божий...»

— Алексашка,—скажет Петр,—давай фитиль.—И, наведя, ахнет из двенадцатифунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман; весь в смеющихся морщинах, как печеное яблоко, трясется низенький, коренастый Картен Брандт. И все немцы и русские повыскочат на валы глядеть, как свалилась горлатная шапка, помертвев, повалился боярин на руки ближних дворян, шархнулись, брыкаются лошади. На весь день хватит смеха и рассказов.

Крепость наименовали — стольный город Прешпург.

4

Алексашка Меньшиков, как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был, бес, проворен, угадывал мысли: только кудри отлетали, — повернется, кинется и — сделано. Непонятно когда спал, — проведет ладонью по морде и, как вымытый, — веселый, ясноглазый, смешливый. Ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, —туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину, — ему нипочем. Начнет потешать, — умора: как медведь полез в дупло за медом да напоролся на пчел, как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню, накормила пирогами, или как поругались два зайки... Петр от смеха плакал, глядя — ну прямо — влюбленно на Алексашку. По началу все думали, что быть ему царским шутком. Но он метил выше: всё шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, скажем, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы. Петр от нетерпенья

грызет заусенцы,—Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и — скороговоркой, чтобы не прогнали:

— Так это же надо вот как сделать, — проще простого.

— Оооооо! — скажут генералы. У Петра вспыхнут глаза:

— Верно!

Раздобыть ли что-нибудь нужно наспех — Алексашка брал денег и верхом летел в Москву, через плетни, огороды, и доставал нужное, как из-под земли, мигом. Потом, подавая Никите Зотову (ведающему его в. г. ц. и в. к. всея В. М. и Б. Р. с. собственным потешным приказом) счетик, степенно вздыхал, пошмыгивая, помаргивая: «Уж что-что, а уж тут на грош обману нет...»

— Алексашка, Алексашка, — качал головой Зотов, — да видано ли сие, чтобы за еловые жерди плочено по три алтына? Им красная цена — алтын... Ах, Алексашка...

— Не наспех, так и алтын, а тут дорого, что наспех. Быстро я с жердями обернулся, вот что дорого, — чтобы Петра Алексеви́ча нам не томить ..

— Ох, повесят тебя когда-нибудь за твое воровство.

— Господи, да что вы, за что обижаете напрасно, Никита Мои-сеич...—Отвернув морду, нашмыгав слезы из синих глаз, Алексашка говорил такие жалостные слова. Зотов, бывало, махнет на него пером:

— Ну, ладно, иди... На этот раз поверю, — смотри-и...

Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру: «Мальчишка пойдет далеко, предан, как пес, умен, как бес». Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, — чем бы ни одаривали. Носил лефортовы кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик, огромный, рыжий, как огонь, надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Данилычем.

Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщевые портяночки:

— Мин херц ¹⁾ (так Алексашка часто звал теперь Петра), прикажи показать ему барабанную ловкость... Алешка, бери барабан...

Неспеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил, раскатился горохом, выбил сбор, зорю, походный марш, «бегом, коли, руби, ура» и чесанул плясовую,—ух, ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали — даже не видно.

Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал:

— В первую роту барабанщиком...

Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали коротки, гололедицей сковало землю, из низких туч посыпало

¹⁾ То-есть. mein Herz—мое сердце

крупой, — начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Через Алексашку немцы передавали приглашения царю Петру: на красивой бумаге — рамка из столбов и виноградных лоз, с одной стороны греческая богиня с веретеном, по другую пузатый голый мужик сидит на бочке, сверху голый же младенец стреляет из лука, снизу старец, опершись о песочные часы, положил около себя косу. Посредине золотыми чернилами выведены по-немецки вирши, что, мол, «с сердечным поклоном зовем вас на кружку пива и танцы», а если прочесть одни заглавные буквы, выходило «герр Петер».

Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь (верхом Петр ездить не любил, слишком был длинен). Вдвоем они закатывались на Кукуй.

— Давеча забегал в аустерию, мин херц, заказать полпива пять бутылок, как вы приказали, — видел Анну Ивановну... Обещалась сегодня быть непременно...

Петр, шмыгнув носом, молчал. Страшная сила тянула его на эти вечера. Кованые колеса гроыхали по обледенелым колеям, в тьме не разглядеть дороги, на плотине воют голые сучья. И — вон — приветливые огоньки. Алексашка, всматриваясь, говорил: «Левей, левей, мин херц, заворачивай в проулок, здесь не проедем...» Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики, голые плечи. Музыка. Кружатся пары. Трехсвечные с зеркалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени.

Петр входил не просто, — всегда как-нибудь особенно выкатив глаза: длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге... Дрожащими ноздрями втягивал сладкие духи, приятные запахи трубочного табаку и пива.

— Петер! — громко вскрикивал хозяин. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками, дамы приседали перед странным юношей — царем варваров, показывая в низком книксене роскошные плечи и груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контерданс Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой поре. Петр уже много знал по-немецки, и она со вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова.

Когда, звякнув огромными шпорами, приглашал ее какой-нибудь молодец-мушкетер, на Петра налетала туча, он сутулился на табурете, искоса следя, как разлетаются юбки беззаботно танцующей Анхен, повертывается русая головка, клонится к мушкетеру шея, перехваченная бархаткой с золотым сердечком.

У него громко болело сердце, — так желанна, недоступно соблазнительна была она.

Алексашка танцевал с почтенными дамами, кои за возрастом праздно сидели у стен, — трудился до седьмого пота, красавец. Часам к десяти молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились

ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками, чудной сладости и сытости, недавно завезенными из Бранденбурга,—картофель... Петр много ел, пил пиво, стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку. Снова свистал ледяной ветер в непроглядных полях.

— Была бы у меня мельница на слободе али кожевенное заведение, как у Тиммермана... Вот бы... — говорил Петр, хватаясь за железно тележки.

— Тоже — чему позавидовал... Держись крепче, — канава...

— Дурак... Видел, как живут? Лучше нашего живут...

— И ты бы тогда женился...

— Молчи, в зубы дам...

— Погоди-ка... Фу, дьявол,—опять сбились...

— Завтра опять маменьке отвечай... В мыльню иди, исповедуйся, причащайся, — опоганился... Завтра в Москву ехать, — мне это хуже не знаю чего... Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем, — ниже Соньки... У Ванечки-брата из носу воняет... Морды эти боярские, сонные, — так бы сапогом в них двинул... Молчи, терпи... Царь! Дурак ты последний, Алексашка... Они меня зарежут, я знаю...

— Да зря ты, чай, так это,—спьяну...

— Сонька — подколодная змея... Милославские — саранча алчная... Их сабли, копыя не забуду... С крыльца меня скинуть хотели, да народ страшно закричал... Помнишь?

— Помню.

— Васька Голицын одно войско в степи погубил, велено в другой раз итти на Крым... Сонька, Милославские дожидаться не могут, когда он с войском вернется... У них сто тысяч... Укажут им на меня, ударят в набат...

— В Прешпурге отсидимся...

— Они меня уж раз ядом травили... С ножом подсылали. (Петр вскочил, озираясь. Тьма, ни огонька. Алексашка схватил его за пояс, усадил.) Проклятые, проклятые! Ваську — на кол! Всех — на колья, на колесо...

— Тпру... Вот она где — плотина. — Алексашка хлестнул вожжами. Засвистали ветлы. Добрый конь вынес на крутой берег. Показались огоньки Преображенского.—Стрельцов, мин херц, ныне по набату не поднимаешь, эти времена прошли, спроси кого хочешь, спроси Алешку Бровкина, он в слободах бывает... Они сестрицей твоей тоже не слишком довольны...

— Брошу вас всех к чорту, убегу в Голландию, лучше я часовым мастером буду.

Алексашка свистнул:

— И не видать тебе Анны Ивановны как ушей.

Петр нагнулся к коленям. Вдруг кашлянул и засмеялся. Весело загоготал Алексашка, стегнул по лошади:

— Скоро тебя мамаша женит... Женатый человек, известно, на своих ногах стоит... Не долго еще, потерпи... Эх, одна беда, — что она немка, лютеранка... А то бы — чего проще, лучше... А?

Петр придвинулся к нему, с дрожащими от мороза губами силился разглядеть в темноте Алексашкины глаза... Сорвался голосом:

— А почему нельзя?

— Ну, захотел! Анну Ивановну-то в царицы? Жди тогда набата...

5

Прельстительные юбочки Анхен кружились только по воскресеньям, — раз в неделю бывали хмель и веселье. В понедельник немцы надевали вязаные колпаки, стеганные жилеты и трудились, как пчелы. С большим почтением относились они к труду, — будь то купец или простой ремесленник. «Он честно зарабатывает свой хлеб» — говорили они, уважительно подняв палец.

Чуть свет в понедельник Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картен Брандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская: Картен Брандт строил модели судов по амстердамским чертежам. Немцы-мастера и ученики-подмастерья, взятые по указу из ближних стольников и потешных солдат, кто половчее, строгаги, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии.

Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение и часто резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали, крестясь по темным углам. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец, в пристройку, и там в дымке ладана, под мерцание лампад все думала, молилась о Петрушке.

Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле: «Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится... Осетров ей навезли из Астрахани саженных, навалили полон чулан... И ведь хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка... Жадна стала, — слуг голодом морит...» Рассказывали, что, тоскуя по Василии Васильевиче, Софья взяла наверх ученого чернеца, Сильвестра Медведева, и он в роде как галант и астроном: ходит в шелковой рясе, в алмазной панагии, шевелит перстнями, бороду подстригает, она у него, как у ворона, и хорошо пахнет. Во всякий час входит к Соньке и они занимаются волшебством. Сильвестр влазит на окно, глядит в трубу на звезды, пишет знаки и, уставя палец к носу, читает по ним, и Сонька наваливается к нему грудью, все спрашивает: «Ну как, да ну как?..» Вчера видели, — принес в мешке человеческий след вынутый, кости и корешки, зажег три свечи, шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы... Соньку трясло, глаза выпучила, сидела синяя, как мертвец...

Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шопотом:

— Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?

— Темные, матушка царица, темные, истинный бог...

— Кудрявые?

— Именно — кудрявые... И все мы думаем: уж не нашего ли батюшки, Петра Алексеевича, волосы жег...

Про Сильвестра Медведева рассказывали, что учит он хлебопоклонной ереси, коя идет от покойного Симеона Полоцкого и от езуитов. Написал книгу «Манна», где глаголет и мудрствует, будто не при словах «сотвори убо» и прочая, а только при словах «примите, ядите» хлеб пресуществляется в Дары. В Москве только и говорят теперь и спорят, и бедные и богатые, в палатах и на базарах, что о хлебе: при коих словах он пресуществляется? Головы идут кругом, — не знают как и молиться, чтоб во-время угодить к пресуществлению. И многие кидаются от этой ереси в раскол...

По Москве ходит рыжий поп Филька и, когда соберутся около него, начинает неистовствовать: «Послан-де я от бога учить вас истинной вере, апостолы Петр и Павел мне сродичи... Чтоб вы крестились двумя перстами, а не тремя: в трех-де перстах сидит Кика бес, сие есть кукиш, в нем вся преисподняя, — кукишем креститесь...» Многие тут же в него верят и смущаются. И никакой хитростью схватить его нельзя.

От поборов на крымский поход все обнищали, говорят: на второй поход и последнюю шкуру сдерут. Слободы и посады пустеют. Народ тысячами бежит за Уральский камень, в Поволжье, на Дон к раскольникам. И те раскольники ждут ныне антихриста, говорят, — есть люди, которые его уже видели. Чтоб хоть души спасти, раскольничьи проповедники ходят по селам и хуторам и уговаривают народ жечься живыми в овинах и банях. Кричат, что царь и патриарх и все духовенство посланы антихристом. Запираются в монастырях и бьются с царским войском, посланным брать их в кандалы. В Палеостровском монастыре раскольники побили две сотни стрельцов, а когда стало не под силу, заперлись в церкви и зажглись живыми. Под Хвалынском в горах тридцать раскольников загородились в овине боронами, зажглись и сгорели живыми же. И под Нижним в лесах горят люди в срубках. На Дону, на реке Медведице, беглый человек Кузька называет себя папой, крестится на солнце и говорит: «Бог наш на небе, а на земле бога не стало, на земле стал антихрист — московский царь, патриарх и бояре—его слуги...» Казаки с'езжаются к тому папе и верят... Весь Дон шатается...

От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. Петенька веселился, забавлялся, не ведая, какой надвигается мрак на его головушку. Сонька уж волосы его жжет, следы вынимает. Народ забыл почитание и страх... Живыми в огонь кидаются, — этот ли народ не страшен!

Содрогалась Наталья Кирилловна, вспоминая кровавый бунт Стеньки Разина... Будто вчера это было... Тогда так же ожидали антихриста, Стенькины атаманы крестились двумя перстами. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки цветных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику...

Думала: «Женить надо Петрушку, — длинный стал, дергается, вино пьет, все с немками, с девками... Женится, успокоится... Да пойти бы с ним, с молодой царицей по монастырям, вымолить у бога счастья, охраны от Сонькиного чародейства, крепости от ярости народной...»

Женить, женить надо было Петрушу. Бывало раньше, — приедут ближние бояре, он хоть часок посидит с ними на отцовском троне в обветшалой крестовой палате. А теперь на все: «Некогда...» В крестовой палате поставили чан на две тысячи ведер пускать кораблики, паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом. Трон прожгли, окно разбили.

Царица плакалась младшему брату, Льву Кирилловичу. Тот вздыхал уныло: «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет... Вон у Лопухиных, у окольного Лариона, девка Евдокия на выданьи, в самом соку, — шестнадцати лет... Лопухины горласты, род многочисленный, захудалый... Как псы будут около тебя...»

По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом — человек сорок — прискакали в монастырь, набились полною церковь, — все худые, злые, низкорослые, глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом возочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке. Осмотрела. Повела в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю, тайно. Девка ей понравилась. Ничего в этот раз не было сказано, Наталья Кирилловна отбыла, — у Лопухиных горели глаза...

Одна радость случилась среди горя и уныния: двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска, из-под Полтавы, в самый день рождества правительницы стоял обедню в Успенском соборе мертвецки пьяный на глазах у Софьи; за столом ругал Василия Васильевича: «Осыамил-де нас перед Европой, не полки ему водить, — сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли», срамил ближних бояр за то, что «брюхом думаете, глаза жиром заплыли, Россию ныне голыми руками разве ленивый только не возьмет», в гневе порол ножом парчевую скатерть. И с той поры зачастил в Преображенское.

Глядя на постройку Прешпурга, на экзертиции преображенцев и семеновцев, не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похваливал. Осматривая корабельную мастерскую, сказал Петру:

— При Акциуме римляне захватили корабли морских разбойников, да не знали что с ними делать, — отрезали им медные носы, при-

били на ростры, сиречь колонны. Но лишь научась сами рубить и оснащать корабли, завоевали моря и — весь мир. Сие поучительно....

Он долго говорил с Картенем Брандтом, пытая его знание, и советовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в ста двадцати верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, и картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Для перевода книг подарил Петру ученого арапского карлу Абрама с товарищами Томосой и Секой, карлами же, ростом один — двенадцать вершков, другой — тринадцать с четвертью, одетых в странные кафтанцы и в чалмы с павлиньими перьями.

Борис Алексеевич был богат и силен, ума — особенной остроты, ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом — невоздержан к питию и более всего любил забавы и веселую компанию. Наталья Кирилловна вначале боялась его, — не подослан ли Софьей? С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но, что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета четверней, с двумя страшными эфиопами на запятках. Борис Алексеевич бежит первым долгом к ручке царицы-матушки. Румяный, с крупным носом, под глазами дрожат припухлые мешочки, от подстриженной бородки несет французскими духами. Глядя на зубы его, засмеешься, до того белы, веселы...

— Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам... Надоел, прости...

— Полно, батюшка, тебе всегда рады... Что в Москве-то слышно?

— Скучно, царица, да уж так в Кремле скучно... Весь дворец паутиной затянуло...

— Что ты говоришь! Да ну тебя...

— По всем палатам бояре на лавках дремлют... Ску-ука... Дела пло-охи, никто не уважает... Правительница третий день личика не кажет, заперлась... Сунулся к ручке к царю Ивану, — лежит его царское величество на лежаночке, в лисьей шубке, в валеночках, так-то пригорюнился: «Что, — говорит мне, — Боря, скучно у нас? Ветер что-то воеет в трубах, так-то страшно. К чему бы?..»

Наталья Кирилловна догадалась, наконец, — все шутит. Метнула взором на него, засмеялась...

— Только и приободришься, что у вас, царица... Доброго ты сына родила, умнее всех окажется, дай срок. Глаз у него зоркий, не спящий... Ну, прощай, наскучил...

Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящая синева, поманит солнцем. Значит непрочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят...

Петр полюбил Бориса Алексеевича, встречая, целовал в губы, советовался о многом, прашивал денег, и князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и карлами

гулять и шалить, выдумывал необыкновенные потехи. Платил за всех. Немцы на Кукуе принимали его с великим почетом. Не раз, разгоряченный вином, он вскакивал, — бровь нависала, другая задиралась, зло сверкали зубы, багровел нос:

— Будет вам по-собачьи-то! Вергилия раздумные вирши

И по-латыни читал: «Скосит нас беспощадная смерть, все уйдем туда, откуда никто не возвращается. Но огонь еще тлеет, и друзья сидят вокруг чаши. Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки и сердце — весельем, и душу — сладкой пищей...»

Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячи верст, — равнины, глушь, болота, — лишь где-нибудь задерет солому на курной избе, повалит пьяного мужика в сугроб — околевать от бездоля, да зазвонит мерзлым колоколом на покосившейся колокольне... Взлохмачены парики, красны лица, лоснятся стриженные под горшок головы, дым валит из длинных трубок, трещат свечи.

— Быть пьяному синклиту нерушимо! — крикнул Петр. Тут же приказал Никите Зотову писать указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться к Лефорту каждое воскресенье, соборно славить греческих богов». Так повелось без зова сходиться у Лефорта. Зотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шею. Алексашку голого, во всем сраме, сажали на бочку с пивом, и он пел такие срамные городские песни, что у всех кишки лопались от смеху.

В Москву дошел слух об этих сборищах. Бояре испуганно зашептали: «На Кукуе немцы проклятые царя вконец споили, кощунствуют и бесовствуют». В Преображенское приехал князь Приимков Ростовский, истовый старик, ударил Петру челом и с час говорил, — витиевато, на древне-славянском, — о том, как беречь византийское благолепие и благочестие, на коем одном стоит Россия. Петр молча слушал (в столовой палате играл с Алексашкой в шахматы. Были сумерки, воскресенье). Потом толкнул доску с фигурами и заходил, грызя заусенец. Князь все говорил, поднимая рукава тяжелой шубы, — длиннобородый, сухой... Не человек, — тень надоевшая, ломота зубная, скука! Петр нагнулся к Алексашкиному уху, тот фыркнул, как кот, ушел, скалясь. Скоро подали лошадей, и Петр велел князю сесть в сани, повез его к Лефорту.

За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов в бумажной короне, в руках держал трубку и гусяное яйцо. Петр без смеха поклонился ему, просил благословить, и архипастырь с важностью благословил его на питье трубкой и яйцом. Тогда все (человек двадцать) запели гнусавыми голосами ермосы. Князь Приимков Ростовский, страшась перед царем и великим князем показать невежество, тайно закрестился под полой шубы, тайно отплюнулся. А когда на бочку полез голый человек с чашей и царь и великий князь всея Великия и Малыя и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно:

«Сие есть бог наш Бахус, коему поклонимся»,—помертвел князь Приимков Ростовский, зашатался. Старика без памяти отнесли в сани.

С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архиереем бога Бахуса, а сходбища у Лефорта — сумасброднейшим и всепьянейшим собором.

Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина, Федора Юрьевича Ромодановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый. Докладывал правительнице:

— Шалостей и забав там много, но и дела много... В Преображенском не дремлют...

Ненавистью, смутным страхом зашло сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться, — подрост волченоч...

6

Неожиданно из Полтавы прибыл Василий Васильевич. Еще только брезжил рассвет, а уж в дворцовых сенях и переходах не протолкаться. Гул, как в улье. Софья не спала ночь. Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью платье, более пуда весом, бармы в лалах, изумрудах и алмазах, ожерелья, золотая цепь давили плечи. Сидела у окна, сжав губы, чтобы не дрожали. Верка, ближняя женщина, дышала на замерзшее стекло:

— Матушка, голубушка, — едет!

Подхватила царевну под локоть, и Софья взглянула: по выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка серых в яблоках, на головах — султаны, на бархатных шлеях — наборные кисти до земли, впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы, крича: «Пади, пади!», у дверей низкого, крытого парчей возка скачут сфицеры в железных латах, коротких епанчах. Остановились у Красного крыльца. Дворяне, в тесноте ломая бока друг другу, кинулись высаживать князя...

У правительницы закатились глаза, Верка опять подхватила ее — «вот соскучилась-то, сердешная!..» Софья прохрипела:

— Верка, подай корону...

Она увидела Василия Васильевича только когда всходила на трон в Грановитой палате. В паникадилах горели восковые свечи. Бояре сели по скамьям. Он стоял, пышно одетый, но весь будто потраченный молью: борода и усы отросли, глаза ввалились, лицо желтоватое, редкие волосы слежались на голове...

Софья едва сдержала слезы. Оторвала от подлокотника полную, туго схваченную у запястья холодную руку. Став на колено, князь поцеловал, — прикоснулся к ней шершавыми губами. Она ждала не того и содрогнулась, будто чувствуя беду...

— Рады видеть тебя, князь Василий Васильевич. Хотим знать про твое здоровье... (Она чуть кашлянула, чтобы голос не хрипел.) Милостив ли бог к делам нашим, кои мы вверили тебе?..

Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды, по уставу — блаженно тихие отроки в белом, в горностаевых шапках, с серебряными топориками—стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружали крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно, по древнему чину византийских императоров. Василий Васильевич слушал, преклоня колено, опустив голову, раскинув руки...

Софья отговорила. Василий Васильевич встал и благодарил за милостивые слова. Два думных пристава степенно подставили ему раскладной стул. Дело дошло до главного, зачем он и приехал. Пытливо и недоверчиво Василий Васильевич покосился на ряды знакомых лиц: сухие, как на иконах, медно-красные, злые, распухшие от лени, у всех наморщены лбы, открыты губы, иные подались вперед: будто вот-вот сейчас, — не дай боже прозевать, — скажет князь Голицын крючкотворное слово и—развязывай кошель... Но непривычным мозгам трудно было раскидывать мыслью. Бояре сопели, напрягаясь. У иных проступал пот. Василий Васильевич, зная все это, повел речь околицами... «Я-де раб и холоп ваш, великих государей, царей и великих князей и прочая, Васька Голицын с товарищи, бьем челом вам, великим государям, царям и прочее, в том, чтобы вы, великие государи, цари и прочая, мне бы, холопу вашему Ваське с товарищи, вашу, великих государей, милость, как и раньше, так и впредь оказали и велели бы пресвятые пречистые владычицы богородицы, милосердные царицы и приснодевы Марии образ из Донского монастыря к войску вашему, государеву, непобедимому и победоносному послать, дабы пречистая богородица сама полками вашими предводительствовала и от всяких напастей заступала и над врагами вашими преславные победы и дивное одоление являла...»

Долго говорил князь. От духоты, от боярского потения туман стоял сиянием над оплывающими свечами. Окончил про образ Донской богородицы. Бояре, подумав для порядка, приговорили: послать. Вздыхали облегченно. Тогда Василий Васильевич твердо заговорил о главном: войскам третий месяц не плачено жалованья. Иноземные офицеры, к примеру, полковник Патрик Гордон, обижаются, медные деньги кидают на землю, просят заплатить серебром, от крайности хоть соболями... Люди пообносились, валенок нет, все войско в лаптях, и тех нехватает... А с февраля — выступать в поход... Как бы опять сраму не получилось...

— Сколько же денег просишь у нас? — спросила Софья.

— Тысяч пятьсот серебром и золотом.

Бояре ахнули. У иных попадали трости и костыли. Зашумели. Вскакивая, ударили себя рукавами по бокам: «Ахти нам...» Василий Васильевич глядел на Софью, и она отвечала ему горящим взглядом. Влажные губы ее были красны. Он заговорил еще смелее:

— Были у меня в стану два человека из Варшавы, монахи, иезуиты. Есть у них грамота от французского короля, чтоб им верить. Предлагают они великое дело. Вам (привстав, поклонился Софье), пресветлым государям, от того дела быть должна немалая польза... Говорят они так: на морях-де ныне много разбойников, французским кораблям ходить кругом света опасно, много товаров напрасно гибнет. А через русскую землю путь на восток прямой и легкий — и в Персию, и в Индию, и в Китай. Вывозить, мол, вам товары все равно не на чем, купцы ваши московские безденежны. А французские купцы богаты. И чем вам без пользы оберегать границы, — пустите наших купцов в Сибирь и дальше, куда им захочется. Они и дороги порубят в болотах, и верстовые столбы поставят, и взъезжие ямы. В Сибири будут покупать меха, платить за них золотом, а ежели найдут руды, то станут заводить и рудное дело.

Старый князь Приимков Ростовский, не сдержав сердца, перебил Василия Васильевича:

— От своих кукуйских еретиков не знаем куда деваться... А ты чужих на шею накачиваешь... Конец православью!..

— Едва англичан сбыви при покойном государе, — сказал думный дворянин Боборыкин, — а ныне под француза нам итти?.. Неприлично будто бы.

Другой, Зиновьев, проговорил с яростью:

— Нам на том крепко стоять, чтоб их, иноземцев, древнюю пыху в конец сломить... А не на том, чтоб им давать промыслы да торговлю... Чтоб их во смирение привести, чтоб они за нами гонялись... Мы есть третий Рим... Нас бог выбрал...

— Истинно, истинно, — зашумели бояре.

Василий Васильевич оглядывался, от гнева глаза посветлели, дрожали ноздри...

— Не менее вашего о государстве болею... (Он повысил голос.) Грудь... (Он ударил перстнями по кольчуге.) Грудь изорвал ногтями, когда узнал, как французские министры бесчестили наших великих послов Долгорукого и Мышецкого... Поехали просить денег с пустыми руками, — честь и потеряли на том... (Многие бояре густо засопели.) А поехали бы с выгодой французскому королю, — три миллиона ливров давно бы лежали в приказе Большого Дворца. Иезуиты клялись на евангелии: лишь бы великие государи согласились на их проект и Дума приговорила, а уж они головой ручаются за три миллиона ливров, кои получим еще до весны...

— Что ж, бояре, подумайте о сем, — сказала Софья, — дело великое.

Легко сказать — подумать о таком деле... Действительно, было время после великой смуты, когда иноземцы коршунами кинулись на Россию. Захватили промыслы и торговлю, сбивали цены на все. Помещикам едва не даром приходилось отдавать лен, пеньку, хлеб, живность. Да они же, иноземцы, приучили русских людей носить испанский бархат, голландское полотно, французские шелка, ездить в каретах,

сидеть на итальянских стульях. При покойном Алексее Михайловиче скинули иноземное иго, — сами-де повезем морем товары. Из Голландии выписали мастера Картена Брандта, с великими трудами построили корабль «Орел», — да на этом и замерло дело, людей способных к мореходству не оказалось. Да и денег было мало. Да и хлопотно. «Орел» сгорел. И опять лезут иноземцы, норовят по локоть засунуться в русский карман... Что тут придумать? Пятьсот тысяч рублей на войну с ханом выложи, — Голицын без денег не уедет... Ишь, ловко поманил тремя миллионами! Вспотеешь, думая...

Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:

— Наложить бы еще какую подать на посады и слободы... Ну, хошь бы на соль...

Князь Волконский, острый умом старец, отвечивал:

— На лапти еще налогу нет...

— Истинно, истинно, — зашумели бояре, — мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей, — вот и побьем хана...

Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу. Перехитрили Василия Васильевича. Он не сдавался, — нарушив чин, вскочил, застучал тростью:

— Безумцы! Нищие, — бросаете в грязь сокровище, кое нашли... Голодные, — отталкиваете руку, протянувшую хлеб... Да что же, господь помрачил умы ваши? Во всех христианских странах, — а есть такие, что и уезда нашего не стоят, — жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей... Лишь мы одни дремлем непробудно... Как в чуму, розно бежит народ, отчаянно... Леса полны разбойников... И те уходят куда глаза глядят... Скоро пустыней назовут русскую землю! Приходи швед, англичанин, турок, — владей...

Слезы чрезмерной досады брызнули из синих глаз Василия Васильевича. Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась с трона, — у самой дрожали щеки.

— Французов допускать незачем, — густо проговорил боярин князь Федор Юрьевич Ромодановский. Софья впилась в него взором. Бояре затихли. Он, покачав чревом, чтобы сползти к краю лавки, встал: коротконогий, с широкой спиной, с маленькой приглаженной головой, ушедшей в плечи. Холодно было смотреть в раскосые темные глаза его. Бороду недавно обрил, усы были закручены, крючковатый нос висел над толстыми губами. — Французских купцов нам не надо: обдерут, последнюю рубашку снимут... Так... Вот недавно был в Преображенском у государя... Там слезы не льют... Посмотрел, — разумно. Там потеха, баловство... Верно... Но и потеха случается разумная... Немцы, голландцы, мастера, корабельщики, офицеры... Дело знают... Два полка — Семеновский, Преображенский, — не нашим чета стрельцам. Вот как... Купцов нам не надо, а без иноземцев не обойтись... Заводить у себя железное дело, полотняное, кожевненное, стекольное... Мельницы

ставить под лесопилки, как на Кукуе. Заводить флот, — вот что надо. Спать бросить... А что приговорим мы сегодня налог на лапти... а, да ну вас, — приговаривайте, мне все одно...

Он, будто рассердясь, мотнул жабрами, закрученными усами, попятился, сел на лавку... В этот день боярская Дума окончательно ничего не проговорила...

7

В морозный вечер много гостей собралось в аустерии. Дурень слуга все подбрасывал березовые дрова в очаг. «О, и жарко же у тебя, Монс!» — гости играли в зернь и карты, смеялись, пели. Иоганн Монс откупорил третью бочку пива. Он сбросил ватный жилет и остался в одной фуфайке. Шея его была сизая. «Эй, Иоганн, ты бы вышел постоять на морозе, у тебя много крови». Монс рассеянно улыбался, сам не понимая, что с ним. Шум голосов доносился будто издалека, на глаза наворачивались слезы. Подхватил было десять кружек с пивом, — не смог их поднять, расплескал. Жалкая истома полезла по телу. Он толкнул дверь, вышел на мороз и прислонился к столбику под навесом. Высоко стоял ледяной месяц в трех радужных огромных кругах. Воздух полон морозных переливающимися игол... Снег на земле, на кустах и крышах. Чужая земля, чужое небо, смерть на всем. Он часто задыхался... Что-то с невероятной быстротой близилось к нему... Ах, только бы еще раз взглянуть на родную Тюрингию, где уютный городок в долине меж гор над озером!.. Слезы потекли по его щекам. Режущая боль схватила сердце... Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей показались пепельными. Грудь всколыхнулась, выдавила вопль, и он упал...

Так умер Иоганн Монс. Горем и удивлением надолго поразила его смерть всех немцев. После него осталась вдова Матильда, четверо детей и три заведения, — аустерия, мельница и ювелирная лавка. Старшую дочь Модесту этой осенью, слава богу, удалось выдать замуж за достойного человека, поручика немецкого полка Федора Балка. Оставались сиротами Анна и двое маленьких, Филимон и Виллим. Как часто бывает, дела после смерти главы дома оказались не так уж хороши, обнаружили долговые расписки. Пришлось отдать за долги мельницу и ювелирную лавку. В это горестное время много помог Лефорт деньгами и хлопотами. Дом с аустерией остался за вдовой, где Матильда и Анхен день и ночь проливали горькие слезы. На танцевальные вечера Анхен больше не показывалась...

8

— Маменька, звали?

— Сядь, ангел Петенька...

Петр ткнулся на табурет, с досадой оглядывал матушкину опочивальню. Наталья Кирилловна, сидя против него, ласково усмехалась.

Ох, уж и грязен, платье порвано. Палец обвязан тряпкой. Волосики — вихрами. Веки — пепельные, глаза беспокойные...

— Петруша, ангел мой, не гневайся — выслушай...

— Слушаю, маменька...

— Женить тебя хочу...

Стремительно Петр вскочил, размахивая руками, забежал от оза-ренных ликом святителей до двери и назад и вкось. Сел. Дернул головой... Большие ступни повернулись носками внутрь...

— На ком?

— Присмотрена, облюбована уж такая лапушка,—голубь белый...

Наталья Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам, хотела заглянуть в глаза. У него густо залились румянцем уши. Вынырнул из-под ее руки, опять вскочил:

— Да некогда мне, маменька... Право, дело есть... Ну, надо — так жените... Не до того мне...

Задев плечом за косяк, сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам, вдалеке хлопнул дверью.

(Продолжение следует)

Г р у з и я

МИХ. ГЕРАСИМОВ

Такой прозрачный и невинный
Девически-магнитный взор,
Ты, Грузия, вся в лозах винных
Раскинулась по склонам гор.

Телесным жаром неслучайно
И наготовю пышешь ты:
В изгибах скал плантаций чайных
Глядят душистые цветы.

«Мушою» изогнула спину
Нагруженная льдом гора.
Свергаясь вниз, ревет в турбинах
Неукрощенная Кура.

И, бросив на мгновение силу
Неповоротливым валам,
С мурлыканьем игривым билась,
Ласкаясь скользко к валунам.

Над безднами и над туманом,
Где плачут ледники со скал,
Пойдут электро-караваны
Через Сурамский перевал.

Над глыбой серой инженеры
Склонили острые умы,
В грядущее с упрямой верой
Упорные устремлены.

Они пронзительною силой
Сквозь наслоения и кусты
Провидят золотые жилы
И нефтеносные пласты.

В долине, где Кура с Арагвой
В процессе трудовом слились,
Налитый весь живой отвагой
Чугунный Ленин смотрит в высь.

Единственный в подлунном мире
Земли великой часовой.
Полуразрушенные «Мцыри»
Седой поникли головой.

На радостной горе Давида,
Где виноградная луна,
Чудесным, небывалым видом
До тайного взволнован дна.

Тифлис зеленый не забуду
И синий шолк твоих небес.
Вон щедро бриллиантов груды
Рассыпал золотой Загэс.

Я вижу: в гроздьях опьяненных
Спят кахетинские сады,
И манит Грузия влюбленных
В объятия роз, в цветочный дым.

А сумерки душистым хлебом
Мне веют теплою волной.
Из опрокинутого неба
Цветут сосвездья подо мной.

Тифлис, 1929.

И г р а

Рассказ

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Имя его точно неизвестно, да оно и ненужно, пожалуй, потому что имя впоследствии все равно будет забыто. Ну, если не через тысячу лет и не через две, а через десяток тысяч, но все же забыто будет, и обида еще в том, что потом кто-нибудь из любопытствующих, найдя еле заметный след позабытого человека, назовет его своим особым именем, странным и нелепым даже для того времени. Конечно, попрежнему будут жить тихие летние вечера, и звезды будут светить все такие же печальные; может быть, останутся еще песни.

Каждый человек хорош для своего времени, и тогдашнему будут милы его песни и понятны далекие звезды.

Человек жил. Ум у него всеобъемлющий, мысль острая, но по утрам, когда было солнце и крыши домов плавали в теплом серебряном тумане, он подходил к окну, и все тело его, большое и нескладное, вытягивалось. Человек прислушивался и все ждал, не заиграет ли шарманка.

Была у того человека любовь, такая непохожая на него (он был уверен, что любовь должна как-то походить на внешность влюбленного). Сам он делал смелые дела, и даже не только смелые, — это слово неподходяще совсем, потому что дела человека были невиданно огромные. Любовь же его была стыдлива и немножко слезлива даже, но ему в его положении мудреца и стыдиться и плакать нельзя было. Находясь когда-то долгое время в одиночестве, он дерзко мыслил, потом он записал эти мысли, и оттого стали они как-будто живыми и еще более смелыми. Но человеку не удалось побороть в себе обыкновенного человека и обыкновенной слабости, и всегда хотелось ему встретить такую женщину, которая прикоснулась бы к нему и сказала:

— Ты сильно устал, милый, пойдй ко мне и отдохни. Сейчас буду я говорить совсем немудрые слова, простые и прекрасные, точно нарождающееся утро весеннего дня.

Никто, конечно, не думал даже говорить ему так, но все же сам он всегда отзывался на это, прислушивался к мыслям своим и отвечал:

— Простых слов у людей слишком мало и всегда их нехватает. Нет, ты помолчи, так будет лучше. Молчи и только думай для меня, потому что в мыслях слова твои будут чище.

Кричат куры, дымятся назмы, в молодых листьях тополя дерутся воробьи. Любовь далека, — та, о которой думалось, — а любовь сегодняшнего дня казалась до того пыльной, что походила на затасканную тряпку, случайно найденную в углу чулана, и пахло от тряпки скучной будничной прелью. Все было понятно: в шумливой бестолочи и работе дни не оставляли человеку часа для себя, но когда улицы города дышали холодной тленью, неясно думалось тогда, что хорошо было бы поплакать о человеческой сиротливости. Прелесть соблазна заключалась в том, что никто и не догадывался о слабости его сердца, и возможность поплакать казалась человеку удачной кражей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Профессор Половиков, Никанор Иванович (обратите внимание на будничное имя и фамилию, совсем не подходящую к гению и ученому) мучился оттого, что постоянно чувствовал себя как постороннего человека. Ему казалось, будто он всегда, ежечасно и ежеминутно пребывает вдвоем, то-есть носит в себе двух Никаноров Половиковых. Мучительство заключалось еще в том, что один из Никаноров носился с высокими мыслями в голове, а другой только и делал, что смеялся и ничего не хотел знать, кроме обычных человеческих потребностей.

Сегодня профессору Половикову напомнили, что у него лекция по политической экономии. Да, так это и было. Зазвонил телефон, и восторженный молодой женский голос прокричал:

— Товарищ Половиков. Да? Это вы и есть?

— Могу пред'явить документы, — посмеялся профессор. — Что надо вам?

— Вы нас не забыли, товарищ профессор? — продолжал захлебываться восторженный голос. — Ну вот, если не забыли, то, пожалуйста, приезжайте к нам. Помните, вы нам обещали? Как приедете, спросите Зину Сенокосову.

«А ведь я действительно позабыл! — ужаснулся Половиков. — Первый раз со мною такое. И все он виноват...»

Тут профессор отмахнулся, будто его мысль встала за плечами живым человеком и человек тот преследовал язвительными словами.

«Поедешь поучать, будешь рассказывать об образовании человеческого общества, о возникновении государства. Понятно, понятно! Человек говорит о всем человеческом. А все человеческое — это мешанина преступлений, желаний, страданий, вожделений и...»

— Конечно, одному мне очень трудно, — неожиданно для самого себя вслух произнес Половиков. — Одному трудно, а с кем-нибудь — скучно, — добавил он, подумав.

Так оно и есть. За двадцать пять лет ученой деятельности профессору основательно прискучило изрекать истины, отвечать на вопросы, писать письма... Ах, как тщательно скрывал это профессор Половиков! Но однажды он сделал открытие, что прискучили ему не столько сами люди, сколько их слова, всегда одни и те же, повторяемые бесконечное число раз. Слова, казалось, перестали передавать в точности и полностью человеческие мысли, и люди помогали словам жестикуляцией, игрой глаз, улыбками, гримасами, кривлянием.

Половиков, Никанор Иванович (не профессор, а просто Никанор Иванович, что и странно) давно следил за тем, как и для чего употребляются человеческие слова...

Вечером в библиотеке клуба Половиков нашел Зину Сенокосову. Пятидесятилетний человек увидел ту самую девицу, с которой говорил по телефону. Сам-то профессор Никанор Иванович об этом и не догадался бы, — девица объяснилась первая. Она подошла к Половикову, сунула ему в руку свою узкую ладонь и заговорила быстрыми и шумливым говорком:

— Вот как хорошо, что вы не обманули, товарищ профессор! Нас ведь постоянно обманывают, обещают — и обманывают. Мы ждем, ждем... А вы знаете, ведь это я самая Сенокосова Зина и есть, которая с вами говорила по телефону. Вот теперь мы и познакомились!

Половиков слушал, но отвечать не хотелось ему на многословие девицы Сенокосовой. Сейчас он следил за ее словами и даже считал про себя, сколько раз она повторила «что», «который», «потому», «как»...

А Зина Сенокосова совсем не следила за словами и, конечно, не считала их.

— Вас все читают и изучают, — спешила сообщить она, — и мы все думали, что вы седой и большой старик. Честное слово, так и думали и даже боялись вас.

Сенокосова теребила полы профессорова пиджака, хватала Никанора Ивановича за руки, обегала его раза четыре кругом, и все это выходило у нее по-детски просто, но все это очень приближало, и Половикову стоило больших усилий, чтобы удержаться от соблазна. Ему уже казалось естественным и необходимым ее приближение к нему. И даже было желание: взять Сенокосову на руки, спрятать под полый пиджака и унести с собой. Никанор Иванович сознавал, что ему лучше молчать и слушать. Девица предупреждала все его слова. Может, она имела их большой запас, и вот все слова к нему, к Половикову. И еще было заметно, как Зина Сенокосова боялась, что ей не дадут высказаться в этот хороший, редкий случай встречи с ученой знаменитостью. Проходя комнатами, залами и коридорами клуба, Сенокосова опять-таки ухитрялась обегать Половикова то справа, то слева и даже забегала вперед, пятясь задом, чтобы не терять профессорских глаз.

Лицо Сенокосовой поднималось, падало, уходило и приходило. Было лицо чистое и необычайно подвижное, и хорошо шел к лицу глад-

кий зачес густо-черных волос, сложенный на затылке в большой узел из строгих кос.

«Конечно, обо мне иначе и говорить нельзя, как о большом и седом старике и еще как о пророке, пожалуй» — думал Половиков, слушая девицу.

Появление профессора в зале было встречено аплодисментами (двадцать пять лет уже во многих городах Европы и России встречают профессора аплодисментами, и всегда громкие приветствия осыпались как бы за стеной, не доходя по-настоящему к Никанору Ивановичу).

Обычные слова и речь обычная, построенная по старому плану, не мешали профессору думать совсем о другом и очень далеком от того, о чем читал он:

«Классический мир за время своего существования несомненно успел развить познавательную деятельность».

И:

«Идеологическое творчество оторвалось от жизни и витало в возвышенных сферах, далеких от презренного труда».

За речами, за словами, чужими и своими, прошла жизнь. Ах, разумеется, осмысленная, конечно же, строгая, чистая и честная, как накрахмаленный передник старой девы. В жизни профессора все было отлично взвешено, все организовано и дисциплинировано. Вот и книги его точно так же кричат о дисциплине, о труде, о движении масс, и в буквенной армии нет места ни кривой мысли, ни даже просто кривой строке. Книжные истины не допускали послабления к человеку, который бы вдруг вздумал увильнуть в сторону.

Ах, все это так и все это как-будто бы не так. Никанор Иванович (не профессор, а просто Никанор Иванович) останавливает свое внимание на строгой связке кос девицы Сенокосовой (какая, на самом деле, глупость!).

Язык — это говорливый хвостик мысли, и хвостик этот, к ужасу профессора Половикова, вильнул-таки и понес какую-то несуряницу о том, что человек — очень капризное животное, часто бунтующее даже против явно хороших распорядков, дисциплин и справедливых законов.

И:

«Но по мере развития разделения труда и усложнения хозяйства организаторский труд совершенно обособляется от труда исполнительного».

В городе с пахучими тополями, с тихими бульварами хорошо осенью, когда в золотых деревьях вызванивают свои песни синицы. До начала школьных занятий всего каких-нибудь две недели, и вот эти-то недели самые такие, которые короче одного дня. Утром ты еще свистишь вместе с синицами, а к двенадцати часам мать разыскивает уже запыленный ранец и примеряет сыну новую фуражку с блестящей бронзовой кокардой.

Когда ехал профессор на трамвае мимо вокзалов и дальше, по бульварам, и она, Зина Сенокосова, не видя, должно быть, никого в вагоне кроме профессора, продолжала вызванивать по-синичьи о том, как им, профессором Половиковым, увлекаются слушатели и как его любят, — он, пятидесятилетний Никанор Иванович, слушая ее, все пытался решить простым человеческим умом, почему нельзя ему сказать ей, вот этой несколько легкомысленной и наивной девице, о том, чтобы она сейчас же, как только они выйдут из вагона, пошла к нему. Вот так вот, то-есть совсем просто, позабыв о дисциплинах, законах и о чем еще там?..

«Этой девице, должно быть, не больше девятнадцати лет, — соображает Половиков, — именно девятнадцати, а не двадцати даже».

Конечно, Никанор Иванович — ни слова о своем желании. Да и как бы он ей сказал об этом? Он, чьи портреты во всех учебных заведениях, чьи книги не залеживаются на полках библиотек...

Его борода трясется перед губами Зины Сенокосовой, и руки его тянутся к ней.

«Нет, — думает профессор Половиков, — плохо быть профессором, знаменитым ученым и прочим и прочим. Ведь ей никак не расскажешь, что прошли пятьдесят лет сухоумья, затерялись в книгах, и ни о каких синицах думать не разрешалось».

Наконец, трамвай был оставлен, и тишина позднего вечера дохла подбодряющим холодком. Профессор Половиков, дерзко мыслящий, совершавший великие экономические перевороты за письменным столом, подумал было взять руку Сенокосовой, чего ему очень хотелось, но тут же, оглядевшись по сторонам, сообразил, что его могут увидеть с девицей знакомые почитатели, и вообще, как же он, мировая известность, почти пророк, может делать все точно так же, как делают другие?

Профессор искренне пожалел о провинциальном городке, о золотых осенних деревьях, о синицах и о простой жизни.

С площади свернули в переулок, и тут пришла мысль: а не скажет ли Сенокосова сама о том, что бродит в голове Никанора Ивановича? Девица же, не переставая, говорила, толкалась на ходу, заглядывала в лицо и, казалось, готова была следовать за профессором куда угодно, такая восторженная и увлекающаяся девица.

Бегут поезда, пересекают степи, уходят за горы. Остаются в стороне одинокие деревеньки. Паровоз прокричит и умчится, а в деревеньке останется тот, кому некуда ехать и даже идти некуда дальше своей деревни. Еще что? Страшно было сознание, что через два квартала уйдет все и нельзя будет ушедшего повторить. Так оно и случилось, и мучило это в течение остатка ночи. Но, может быть, так бы и прошло, как вдруг, уже перед утром, Никанор Иванович к ужасу своему сделал открытие, что он что-то позабыл, потерял какую-то большую мысль.

— Устрой-ка мне, Платон, чайку, — сказал профессор очень просительно своему слуге, другу и старому товарищу, тоже пятидесятилетнему холостяку.

И чай был подан, но три стакана его крепкого настоя не освежили профессорской головы, и позабытое ушло как - будто бы еще дальше. Тогда профессор начал хитрить, повторяя вчерашнее Платону Сачкову, слуге и товарищу, привыкшему выслушивать и терпеть все.

— Первичным идеологическим явлением была речь, — скучно заговорил Половиков, — которая начала складываться в тот отдаленный период жизни человека, когда он стал выходить из зоологического состояния.

— Понимаю, — покорно произнес Платон Сачков и тут же, всхлипнув носом, уснул, откинув голову к спинке кресла.

Девушка Сенокосова Зина уже отошла и мучило только позабытое. К шести же утра выяснилось окончательно, что позабытое хранит такую необычайную истину, которая разрешит человеку очень многое, и, что удивительно, от этого не нарушится порядок жизни и, разумеется, никому не будет вреда.

Но в этот именно момент опять возникла мысль о девушке Сенокосовой. Тогда Никанор Иванович освирепел и рассказал о своем мучительстве спящему Платону Сачкову. Он передал ему скрытые в уме стыдные подробности, мучительно краснея, однако, наказывая себя, продолжал говорить о строгих косах и о гофрированной короткой юбке, которая возбуждала, о своем желании привести девушку на квартиру и об ожидании чего - то необычайного.

В тот утренний час проснулась Зина Сенокосова. Она вспомнила вчерашнюю лекцию профессора Половикова, вспомнила ласковую бороду, пробегающую влагу черных глаз и соскочила с постели. За окном в размашистых деревьях сада позванивали синицы.

«Какая же я дуреха — мысленно упрекнула себя Зина Сенокосова. — Он, наверное, и не помнит обо мне».

Она попробовала улыбнуться саду и синицам, но из этого ничего не вышло. За девятнадцать лет она в первый раз почувствовала неясную тоску осенней печали, узнала о нерастраченных щедротах своих и подивилась тому, что человек прошел мимо нее, осмелился пройти с обидным пренебрежением ученого. Тут открылась Зине Сенокосовой освобождающая людей истина, может быть, та самая, которую позабыл профессор Половиков, и все же не могла Зина пойти и рассказать об этом ему.

За стеной неожиданно грохнул молодой бас соседа студента. Зина испуганно взмахнула руками, быстро оделась и, смеясь и не видя ничего, побежала на голос...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Платон совсем не слышал, о чем говорил Половиков, он привык к его размеренным речам, к его дисциплинированной упорядоченной жизни и не тосковал, не возмущался, а просто исполнял потихоньку свои обязанности завхоза в холостой квартире профессора и жил невозмутимой растительно-созерцательной жизнью. Когда Платон протер глаза, он увидел профессора лежащим на диване перед окном. Борода профессора торчала нелепым комом, рот был приоткрыт. Платон понял, что профессор и не думал спать. Человек лежал на спине, перешвыривая пальцами бороду, и молчал.

«Опять книгу замыслил, должно быть» — сообразил Платон, выбираясь бесшумно в соседнюю комнату и со страхом оглядывая полку с книгами.

Здесь необходимо сказать, что Платон ошибался, но сам Платон, конечно, не допускал этого, — он привык до того к Половикову, что, пожалуй, без особого труда угадывая его мысли, мог бы разговаривать с посетителями и отвечать на их вопросы за самого профессора.

На самом деле ученый Половиков никакой книги не замыслил (вот уж удивился бы Платон!) и был далек от этого. Профессора занимала одна единственная мысль о вчерашнем позабытом. Теперь уже малейшего сомнения не было в том, что позабытое унесло с собой разрешение всех вопросов жизни.

Платон выспался, поднялся и ушел, и Платон профессором замечен не был вовсе.

Именно в этот день осеннего бодрящего дуновения семидесятилетняя старушка в тихом провинциальном городке с пахучими тополями на бульварах вспомнила о сыне. В старческой памяти встал молодой человек со смелыми глазами, и, разумеется, никакого бородатого профессора старушка не знала, и слава его не прикоснулась к ней, и того не знала она, что жизнь ее подчинена тем самым законам экономики, которым были посвящены многотомные труды ее сына. Сейчас старушка обмывала теплыми слезами хорошую радость своего давнишнего греха, своего дерзновения, которое явилось причиной рождения на свет знаменитого сына, и было еще особенным удовольствием воспоминаний чувствовать свою ненаказуемость, ибо муж, банковский чиновник, вот уже пятнадцать лет как лежал в земле, а на фотографии продолжал улыбаться уверенной улыбкой властелина. В такую радостную минуту вдова чиновника Половикова кликнула старую подругу свою Клавдию, жену покойного садовода Сачкова, Платонову мать, и вот обе старушки, полные невинного лукавства, весь осенний недолгий день пили чай, делясь воспоминаниями, и ласкала чиновница Половикова старческим взглядом подругу свою Клавдию, как бы искупая преступление свое перед ней за грех тот, совершенный с ее мужем, садоводом, молодцом рабочим. И Клавдия, роняя из морщин лица обильный пот, улыбалась в ответ и все поглядывала на укрупненную

фотографию барина чиновника, который всегда был добр и ласков с ней, молодой Клавдьюшей, и, поглядывая на фотографию барина, видела в его лице своего тихого нравом сына Платошу и дивилась божьему соизволению.

Пили чай старушки, и были обе счастливы грехом, совершенным пятьдесят лет назад.

Вызванивали синицы беспечные песни, падали желтые листья тополей под ударами солнечных лучей. В городе Москве, в своей квартире лежал на диване профессор Половиков, знаменитый ученый, дерзко мыслящий, и все никак не мог восстановить в памяти забытое. Заходил Платон и напомнил тихонько, что время уже два часа пополудни. Никанор Иванович отмахнулся только, оставив на минуту тереть густую свою бороду. Теперь ему казалось, что если он не вспомнит утерянного памятью, то произойдет какое-то невиданное крушение человеческих умов и что сам он, знаменитый ученый, почти пророк, упадет до ничтожества.

Второй раз заходил Платон, и опять не отозвался профессор. А вечером, когда неожиданно заюжал остервенелый ветер, Никанор Иванович выбрался через окно в глухой тупик, и, бормоча про себя: «Сию минуту мы разберем, какое место занимает любовь в экомонике», скрылся в темноте.

Ничем необъяснимое поведение профессора удивило Платона, и старался Платон простым умом своим отыскать ученому другу оправдание, относя все к тому, что Никанор Иванович замыслил новую книгу.

Улицы плыли в свете электрических фонарей, разрезая бульвары, стекая в котловины площадей. Чтобы сделать лицо свое непонятым, сбрил профессор бороду и усы в первой парикмахерской, и вот, как бы там ни говорили, какая-то доля мудрости упала вместе с бородой на пол затоптанной цирюльни, и математически точный ум профессора оробел, отметив в зеркале бездарную плоскость человеческого лица.

Вышел Никанор Иванович от парикмахера неузнаваемым и, ступив на мостовую, порадовался этой неузнаваемости, рассчитывая про себя уберечь профессора от наказания за хождения бритого Никанора Ивановича. Эта хитрая ребяческая мыслишка толкнула его в двери трактира-подвала с вином, с музыкой, с хором цыган. Безрассудно перешагнув порог кабака, сбросив пальто на руки швейцара, Никанор Иванович позволил официанту отвести себя к столику, накормить сборной рыбной селянкой и напоить вином. Бритая физиономия подгулявшего человека улыбалась цыганкам на эстраде и окружающим посетителям-завсегдатаям. Заколебались на столиках цветы, расплылись физиономии окружающих, и вдруг появилась одна широкая физиономия, заслонив стены, потолок и самый пол. Физиономия кривила жирные губы, смеялась даже тогда, когда Никанор Иванович попирали ногами растекавшиеся губы. В точках глаз вихрил разноцвет-

ный шелк юбок, потных плеч и подрагивающих ног. Тогда же Половиков закричал, запел, затопал. К удовольствию своему он отметил, что с ним поют все, так что голоса его никто не отличает, а самое главное — он тут оказался обезличенным и с удовольствием гоготал безответственным гоготом пьяного животного. Вдруг оказалось много знакомых, то-есть если Никанор Иванович обращался с вопросом: а не знают ли собеседники городка с тихими тополями над рекой?— ему незамедлительно передавали о городке этом многие подробности, о которых и не подозревал сам Никанор Иванович Половиков, и о профессоре Половикове, знаменитом ученом, тоже немало порассказали, и, пьянея, Никанор Иванович слушал эти рассказы о себе как о постороннем и даже раза два ругнул вслух самого себя, обозвав старым ослом, не знающим жизни.

Дальше началось несуразное. Появился откуда-то Платон.

Из всей истории этой Никанор Иванович помнит одно, — что молодым утром ехал он на извозчике по Тверской и, тщательно отбирая сложнейшую матерщину, сыпал ею под широкие метлы веселых дворников, но и тут мучила профессора мысль, что даже для ругательств нет у него новых, поражающих слух слов, что бедность языка чувствовалась даже в этом. Как только мелькнула такая мысль, так сейчас же и ругаться перестал, потому что стало невыносимо тоскливо, а тут еще, издеваясь, принялся глумиться второй Половиков, и раздвоенность эта была мучительна до крика. Начал второй Половиков с того, что, дескать, безбородое лицо не вернет Никанору Ивановичу молодости, что хитрить такому мудрецу, каким считался профессор, в его годы глупо и мерзко. Вообще же никто не виноват, если человек прозевал собственную жизнь ради тщеславия, ради того, чтобы удивлять человечество, которое за все про все не даст ему житья, если он рискнет оскорбить своей любовью хотя бы ту же Сенокосову Зину.

— Чепуха! — неистово заорал профессор, пытаясь освободиться из рук Платона и выскочить из пролетки.

«Да что там девица Сенокосова!—слышит, холодея, Половиков.— Тебе даже не простят того, что ты сбрил бороду». Упорство тайного внушения привело в бешенство Никанора Ивановича, он вырвался-таки из рук Платона. Все же время было упущено, бежать было некуда. Извозчик как раз в этот момент остановил свою клячу, профессор ткнулся в извозничью спину и, моментально отрезвев, дал вести себя в квартиру и уложить на диван.

Новый день не принес перемен. Никанор Иванович проснулся около шести вечера, мазнул привычным движением руки по лицу, но бороды не нашел и, потеряв нить первоначальной мысли, неожиданно вернулся к тому мучительному, что позабыл и не мог припомнить до сего дня. Теперь было ясно: за чертой позабытого скрывалась исключительной простоты и величия истина.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Друзья и почитатели профессора Половикова решили, что таким его нельзя показывать на народе и надо отправить человека в бессрочный отпуск. В разговорах они действительно уделили немалое внимание сбритой бороде, и увидел Никанор Иванович через неделю после тех разговоров загородный дом, отгороженный липами и кленами от постороннего любопытства.

— Вот, — сказал Никанор Иванович, поднимая широкий лист клена и показывая его Платону, терпеливому слуге и другу, — какой он. Я его вчера видел и теперь тоже...

— Ладно тебе! — сурово оборвал Платон. — Вишь ты какой памятный, через сорок лет вспомнил.

— Ты ничего не понимаешь, Платон, — снисходительно улыбается профессор, расправляя лист на ладони. — Видишь, какие морщины тут? Этим морщинам миллион... нет, что я говорю, надо сказать — сто миллионов лет!

— Ну, ну, ври больше! — отмахивается Платон и, сокрушенно вздыхая, добавляет: — До чего человек дошел. А я всем говорил: профессор книгу замыслил.

И так оба горевали. В особенности Платон, для которого поведение профессора становилось окончательно непонятным, что очень огорчало преданного человека, ибо было такое сознание, что ничем уже нельзя услужить своему ученому другу, который свихнулся по неизвестной Платону причине и удален теперь от людей.

У профессора было другое: он постепенно стал забывать обычные человеческие слова и часто путал их значение. Он молчал целыми неделями: когда же ему случалось говорить, он после того болезненно морщился, убегал вглубь парка и принимался тяжело и глухо выть. Потом он виновато объяснял Платону, что его пугает ужасающее однообразие и скудость слов, и вот даже человеческие лица ему казались такими же: то-есть получалось так, если точно передавать содержание его объяснения, будто слова служат людям для определенных, весьма ограниченных целей: для порабощения человека человеком, для выражения скаредной любви, для изъяснения лакейства и для бездарного поучения. Никанор Иванович произносил слова особенно отчетливо, чтобы Платон прислушался и понял, как отвратительно звучат они.

Кстати надо заметить, что обычное, распределенное на часы и минуты время было утеряно Половиковым. Он не тосковал, не скучал, не радовался. А в это время рдели осины, прятались в дупла синицы, играл под террасой ветер, заволакивались дождевыми туманами дали.

Всю тяготу одиночества принимал на себя Платон, и по этой именно причине появились на кухне две собаки, лохматый сибирский кот и с перешибленным крылом скворец.

С профессором кончено, остался настоящий Никанор Иванович, слабенький человечек без дерзких мыслей, без особых желаний, безразлично принимающий все.

Веснами Никанор Иванович открывал окна и долго прислушивался, не заиграет ли шарманка. В душные летние вечера он выходил в парк, сгребал вечернюю влажную пыль и жадно вдыхал ее тяжелый, удушающий тлен.

Так прошло пять лет и наступила, наконец, минута просветления. Никанор Иванович, пересыпая с ладони на ладонь пахучую пыль, неожиданно открыл, что те самые законы экономики, которые он утверждал когда-то, продолжают жить, и что он сам, Никанор Иванович Половиков, подчинен им. Тут, не в добрый час, должно быть, неожиданно заиграла шарманка.

И еще прошло пять годов, но Никанор Иванович уже умер и ничего не знал о них, об этих пяти годах.

Никанора Ивановича сожгли. Это была последняя почесть, отданная ученому. Сожгли под рыдающие звуки похоронной мелодии, и чорт его знает, как это случилось — по неопытности служителей или просто по российскому нашему разгильдяйству, — ухитрились рассыпать прах знаменитого ученого, и в урну угодил разный посторонний сор, так что Платону, по совести, не над чем было даже поплакать.

С профессором Половиковым кончено.

Между прочим, книги Половикова пылятся на полках библиотек (время ведь изменчиво), а девица Зина Сенокосова давно замужем и ребеночка имеет от того самого басовитого студента, и все, конечно, идет обычным порядком, и людские слова остаются прежними, и значение их и назначение — все то же.

Расплата

Рассказ

Л. СЕЙФУЛЛИНА

I

ЭТО было уже четвертое место, где приятели встречали новый год. Ярославцев оглядел большой зал бывшего барского особняка, проговорил унылым баском:

— А ты ручался, говорил, здесь обязательно весело. Вот тебе и обязательно!

Жилистый, скуластый и длинный критик Карягин ударил ладонью себя по запавшей груди.

— Я говорил? Это я говорил? Ты, пьяная морда, ты это говорил! Мне на чужое веселье наплевать, я сам в себе веселюсь. Мне все равно, что как, что вокруг, я веселюсь!

Ярославцев поднял на него очень печальные во хмелю круглые глаза.

— Напрасно я с тобой связался. Новый год надо встречать весело. А у тебя морда, как у незадачливого разбойника. Нет, ты мне... хороший, ты мнеинтересный человек.

Карягин подбоченился, придвинулся близко к Ярославцеву. Дыша на него сверху густым перегаром водки, пива, вина, переспросил проникновенным, трепетным голосом:

— Это вы проо кого, товарищ Ярославцев? О ком вы это говорите? А? Нет, позвольте! Позвольте узнать, это вы про кого?

Он придвигался к Ярославцеву все плотней, вытеснил его в межкомнатный коридор. Ярославцев, пятясь, задел спиной мясистое плечо проходящей женщины. Она оттолкнула его короткими пухлыми ладонями, низким голосом негодуяюще произнесла:

— Это уж называется нахальство! Смотреть надо.

Ярославцев тяжело повернулся, посмотрел на ее толстые ноги в светлых чулках, видные до колен из-под короткого платья, горестно отозвался:

— Смотреть? А... по-моему неприятно смотреть...

Он загородил женщине дорогу. Широким искренним движеньем протянул к ней обе руки.

— Уверю вас! Дру-ужески вас уверю! Голубушка, милая, хорошая, поезжайте домой, наденьте длинную юбку, а? Ну, пожалуйста, я вас прошу, я вас умоляю! Я знаю, вы — хорошая женщина, наплевать вам на ноги, не в ногах для вас счастье! Ей-богу! Родная моя! Чудесная! Ро... родительница!

Складки на обнаженной шее женщины затряслись, побагровели, подбритые в шнурочек подмазанные брови задвигались над низким лбом, густой ее голос взгудел фальшивым высоким звуком.

— Помогите! Уберите этого хулигана! Что за безобразие!

Из зала, из буфета, из всех комнат, из дверей и арок, выходящих в коридор, показались люди, стеснились вокруг Ярославцева и обиженной дамы.

Она заплакала с придыханьями, с вскриками, ее обняли женщины, увели в дальнюю комнату. На Ярославцева, сильно робея, наскочил один из ответственных распорядителей, звонкоголосый старичок с крашеной бородкой и выпуклыми синими глазами.

— Попрошу вас, товарищ, удалиться.

Из толпы выдвинулся Карягин. Наступая на струсившего явно распорядителя так же плотно, как только что налегал на Ярославцева, он бесстрастно и неотвязно вопрошал:

— То-есть, как удалиться? Это вы про кого? Вы отдаете себе отчет, кого нужно удалить? А? Нет, скажите точно, вы понимаете, кого требуете удалить?

Белокурая, кудрявая актриса с мальчишечьим привлекательным лицом ударила со смехом в ладоши.

Глубокий душевный бас из толпы удовлетворенно утвердил:

— С новым годом, товарищи! Скандальчик номер первый. Ура-а! Десятка полтора голосов, с преобладанием звенящих и пьяных женских, подхватило:

— Ура-а!

Подвижной старичок-распорядитель приподнял плечи, растерянно развел руками и скользнул в толпу.

Дальнейшее Ярославцев помнил смутно. В тумане, от которого очень легким и безответственным ощущался дух в непослушном теле, он, окруженный неизвестными ему, но удивительно дружелюбными людьми, ходил в зал, слушал, как заканчивал играть оркестр. Усталые музыканты, привыкнув к диссонансам, удало и неверно трубили, дудели, стучали в свои инструменты. Под звуки пьяной музыки охмелевшие люди шаркали ногами, обнимались, в объятьи двигались похотливо и немощно.

Гладко выбритый, пахнувший смесью коньяка и сильно душистого мыла человек увел писателя в уборную под кран холодной воды, дал ему нашатырного спирта, потом уложил на широкой мягкой тахте. Сон был краток, неверен, прерывист, но, когда Ярославцев встал с тахты, ноги его ступали тверже, в глазах не стало пляшущего, крутящегося тумана. Он сел у столика в дальнем углу буфетной комнаты, жадно

пил содовую воду. Он не видел, как сзади подошла Анна, положила на его плечо узкую, длинную ладонь. Он сильно обрадовался.

— Аня! Милая! Как я по тебе соскучился.

— Я только что приехала, искала тебя. Я знала, что ты колобродишь в этом притоне.

Пригнувшись через столик к ее лицу, Ярославцев спросил:

— Где ты была? Я всюду искал тебя. Я тосковал по тебе! Все время о тебе думал.

Анна усмехнулась, приподняла брови, пригладила бескровными пальцами волосы на висках.

— Искал? Будя, паря, дурака валять! Ты же мне написал, что видеть меня больше не желаешь. Но я знаю, эта лирика пущена тобой по должности. Профессиональный жест, так сказать. Почему нам не видеться? Мы друг друга не обижали. Угости, кавалер, папиросочкой. А что ты пьешь? Уже отрезвительную? Мне спроси вина. А, впрочем, посиди, что-то ты, сынок, здорово размяк.

Она подошла к буфетной стойке, выбрала бутылку, расплатилась, вернулась к столику с сумочкой подмышкой, с бутылкой и бокалом в руках.

Из зала доносился еще не сникающий многоголосый говор. Где-то в дальней комнате без аккомпанемента хорошо пела женщина тягучую песню. В соседней биллиардной щелкали шары, слышались короткие восклицанья игроков. Здесь, в буфете, оставалось уже мало народу. За буфетной стойкой раздатчики снеди, лакомств, папирос и вина отдыхали, ели и начинали пить. Официанты с салфетками на руках, специально приглашенные в клуб на этот вечер, столпились у крайнего пустого столика, скучливо переговаривались между собой. Густо и низко стлался над столами табачный дым. Его запах сливался с запахами еды, залитых вином скатертей, духов, разомлевшего человеческого тела. Душная смесь снова затуманила голову Ярославцева. От скверного вкуса во рту, от тяжести в плечах, от надсадного биения сердца, утруженного почти непрерывным курением и хмельным волнением крови, мучила его, как приступ хвори, тоска. Есть одна спасительная точка, его последний упор в желаньи жить, она, его друг, любовница, понимающая его Анна.

Анна рассеянно слушала его, оглядываясь по сторонам, потом посмотрела на него в упор и покачала головой:

— Душка, Васенька, пьяный ты становишься в последнее время слюняво нежен. Скажи что-нибудь веселенькое, пожалуйста.

— Неужели, Аня, за эти две недели ты ни разу не встосковала обо мне по-настоящему, любовно?

Она тихонько присвистнула.

— Ты забываешь, друг, что я не беллетристка. Какая любовь? Что ты, глупенький!

Докурив папиросу, она зажгла от нее другую, закурила и выпила один за другим два бокала вина сразу.

Он низко свесил голову, вздохнул.

— Нехорошо ты со мной разговариваешь.

— Тю-ю! Что нехорошо? Миленький, ты себя насилуешь, ты искусственно налаживаешь себя на настроенье «разбитой жизни». Этого делать не надо.

Она снова налила себе вина, подняла бутылку, посмотрела на свет, много ли еще осталось.

— Вот это класс! Чуть на донышке. Одна всю бутылку усидела. Ты знаешь, я с четырех часов дня пью и никак опьянеть не могу. Сегодня охота мне выпить в дым, а хмель не берет.

Но она уже заметно опьянела. Губы маленького строгого рта стали влажны, распустились. На темных бровях выступил мелкими капельками пот. Глаза замутнели, стали светлей, зрачки пригасли, сузились. Она замедленно выговаривала слова и неверными пальцами стряхивала пепел с папиросы на скатерть, мимо пепельницы. Проходил около них с озабоченным служебным лицом непьющий официант. Он искоса поглядел на Ростовцеву, быстро отвернулся.

Ярославцев смотрел на мокрые ее губы, на обезволившую руку, видел их плохо.

— Аня, я тебя люблю. Я очень тебя люблю, милая, прекрасная моя женщина!

Она широко, пьяно усмехнулась, качнула головой.

— Ну, вот: «люблю», «моя»! Ни к чему разоряешься, мне этого не надо. Слушай-ка, я втюрилась. Да не в тебя! Право, втюрилась. В одного прохвоста, ты с ним незнаком, покажу как-нибудь. Лба у него почти нет, волосы чуть не от самых бровей растут, и глаза бездумные. Но кожей свеж, и мускулы—хо! Мускулы что надо! Вообще изумительно сложен, потрясающе глуп и бесчестен. Вчера у меня из сумочки три червонца слямзил.

— Ты ломаешься, Аня. Выдумываешь гнусности про себя. Но все-таки... Ах, зачем эта пакость с каким-то кретином! Ты меня мучаешь. Что ты делаешь с собой, со своей жизнью, со мной? Ну, что ты делаешь?

Анна покачала головой, высвободила руку.

— Какой ты дурак! Прямо умилительно глуп. Эх, ты, писатель, вития!

У Ростовцевой язык все больше заплетался. Стул казался ей шатким. Она облокотилась на стол локтями и грудью, почти легла.

— Я не выдумываю, я услаждаюсь, насколько меня хватает. Но скажу тебе, друг ты мой единственный, скажу тебе по секрету. Плоть моя... хилеет. Ты не подумай, нет! К докторам насчет... насчет социальной безопасности я нне хожу. Ннет! Судьба счастливая, ни разу не напоролась. Но я, друг... я за... заабортировалась. Например, плодотвореню—крышка, понимаешь? Сказывается удалое холостяцкое житье. Хотя это мне не тин-ти-ли-ли... ли, куда? Зачем мне потомство? Ннет, вру, почему-то обидно! Ну, чорт с ним, с ди...тяттей. Не в этом

дело, вообще, изнашиваюсь, недомогаю. Скриплю, вот и тороплюсь. Что ж, кому что? Мне мой сппособный мерзавец и выпивка. А тебя я люблю... душой ллюблю.

Ярославцеву было тяжело слушать Анну. Обидно за нее, за себя самого, за свою большую страсть к ней, но обиду пересиливал тайный, плохо осозанный профессиональный интерес. Вперемежку с горькими мыслями о личном занимали его деловые наблюдения. Он даже взглянул на Ростовцеву прояснившимся взглядом и подумал:

«Она говорит о потомстве, не о материнской любви, а о потомстве. Она приспособилась понимать по-мужски».

От двери окликнул Ярославцева Карягин.

— Василий Александрович! Эй, Ярославцев!

Писатель, сдвинув брови, сердито отозвался:

— Ну, иди сюда. Чего орешь? Что надо?

Преувеличенно широко и твердо шагая, Карягин подошел к ним, тяжело сел на стул рядом с Анной.

— Здравствуйте, мадам. Беллетрист, скажи, где же пролетарий? Дай мне хоть одного пролетария. Ты знаешь, я сейчас откуда? Я ездил в рабочий район, в пивную. Я хотел слышать, о чем и как он будет рассуждать. Ездил я в пивнуху... Надо знать, как он разговаривает.

Ярославцев угрюмо перебил:

— С тобой, наверно, коротко: матом. Чорт тебя понес...

Карягин стукнул кулаком по столу.

— Я хочу разговаривать с пролетарием, понимаешь? Ну, что ты понимаешь? Как ты понимаешь, об'яснись! Я хочу мое веселье с ним делить, а не с тобой и не с мадам, не с вами, мадам.

— Ну, и отвяжись от нее и от меня. Зачем пришел?

Карягин уныло взглянул на него и укоризненно произнес:

— Ты совершенно ничего не понимаешь, ты—пьяный. Я опоздал, все пивные уже закрылись.

Он заскрипел стулом, всем корпусом повернулся к Ане.

— Я расстроился, сударыня-барыня. А вы что тут сидите, о чем разговариваете?

Анна приподняла совсем позеленевшее лицо, ответила тусклым голосом без всякого выраженья:

— О женском вопросе. Я протестую, ре...решительно протестую.

Она поднялась, пошатнулась, снова опустилась на стул. Карягин подвинулся, совсем пригнулся к ней.

— Это как понимать? Это какое же такое заявленье? Об'яснитесь, мадам. Оказывается, я правильно вас классифицировал. Вы—мадам. Об'яснитесь.

Анна жалобно ответила:

— Меня тошнит. Вася, около тебя лимон, дай-ка. Сейчас немножко передохну, пойдемте ддомой.

Ярославцев подал ей лимон, поднялся, расправляя плечи.

— Не приставай к ней, Карягин. Надо уходить. Почти никого не осталось.

— Я не пристаю. Но «лимон», «домой»—это не объяснения. Надо уметь отвечать после подобных заявлений. Эта женщина гражданка СССР или нет? А? Я же с ней знаком, она не иностранка.

Анна, сморщившись, бросила на стол обсосанный лимонный ломтик, достала из сумочки пузырек с нашатырным спиртом, глубоко вдохнула и, щурясь от едкой слезы, ответила:

— Правильно! И я не иностранка, а советская гражданка на мужчине положении. Поедем ко мне, кофе выпьем, там поговорим.

Ярославцев быстро обогнул стол, приподнял ее за локоть. Карягин поддержал Анну с другой стороны. Она сморщилась.

— Ничего. Я не так пьяна, дойду.

Но на обоих тяжело оперлась, почти повисла.

В зале уже притушен был свет, но негустая темнота таилась только в углах.

На улице выпавший ночью снег был непримят, пухл и чист. Там, где крыши высоких домов мягко багровели, золотимые озареньем еще скрытого солнца, отблескивало внизу по снегу неяркими переливами погожее утро. Холодный воздух ежил кожу, бодрил кровь, но от него ощутимей, противней стало мутное брожение хмеля, биенье в висках. Анна в изнеможении прислонилась к углу.

Старик-извозчик, в ветхом кафтане с новым зеленым по-форме воротником, чмокнул на кведую гнедую лошаденку, тронулся к ним с противоположной стороны улицы. Но, грохоча по рельсам, примчался, встал трамвай. Милиционер на углу поднял красную палочку. Извозчик замедлил. Анна, скривив лицо, промычала:

— Ну, где же извозчик? Не могу, мне скверно.

Извозчик под'ехал. Когда усаживались в сани, Анну стошнило. Старик слез с козел, хозяйственно вытер снегом полость, сморщился еще сильнее и качнул сожалительно головой.

— Неаккуратно как выпивате, гражданочка. Я этого чего-то не уважаю.

Кряхтя, забрался на козлы, примирительно добавил:

— Ничего, за хлопоты накинете. Нонче за ночь третий пассажир у меня блюет. Все новый год встречали. Н-но, двигай, вислогубый, н-но!.. Я, може, и сам бы с праздничком-то поблевал, да дорого стоит. А он, воң, овес-то, нынче тоже кусается. Н-но!..

Анна совсем с'ежилась на коленях у Ярославцева. Он плотней прижал ее к себе рукой, но тело ее казалось ему сейчас тяжелым и близость его была неприятна.

II

Ярославцев часа два просидел за своим письменным столом, не написав ни слова. Он курил, вздыхал, потягивался, кашлял, отдувался, смотрел в окно. Бессолнечное, набухшее облаками небо нависало тя-

жело. Снег на крышах и у стен домов был белый, без блеска. В тождестве холодного унынья сливалась с ним белая, без чернильных отмет бумага на столе. Так было и вчера и третьего дня, всю неделю со встречи нового года. Каждое утро он долго томился за столом, потом уходил из дому, возвращался на рассвете сильно во хмелю. Он будил Ирину. Тоненькая женщина в длинной прозрачной рубашке покорно садилась рядом с ним на кушетке. Он рассказывал ей долго, бестолково, тоскливо о себе, о людях, о задуманных им повестях и романах. Она слушала, вздыхала, иногда сердилась, стучала маленьким кулаком, требовала, чтоб он лег немедленно спать. Хмельной, противный сон со всхрапом, сопеньем, с гримасами от горькой слюны валил его где попало, на кушетке, на полу. Часто засыпал он за Ирининым письменным столиком, уронив голову на руки. Проснувшись через час, через два, дико озирался, мучительно силился вспомнить, как он заснул, что было до этого момента? Порой за окном уже стояло утро. В его свете, ненужный и бледный, горел в комнате ночной свет непотушенных ламп. Жена спала, дыша ровно и тихо. Но лицо у спящей редко бывало ясным. Изогнутая бровь или в печали сжатый плотно рот вызывал у Ярославцева жестокую сердечную тоску. За последние годы чрезвычайно редко испытывал он к Ирине супружескую страсть. Он жаждал многих других женщин, добивался их, как счастья. И внутренняя ее жизнь мало интересовала Ярославцева. Настолько хорошо он знал, что она скажет или подумает по любому поводу, что все ее качества, недостатки стали неприметны, как его собственные ему самому. Но Ярославцев любил Ирину. Думая о ней, он как-то написал: «Я жену люблю. Так человек, попавший не по своей воле в чужую страну, не знающий ее языка, любит соотечественника». Написанное ему не понравилось, он его зачеркнул. Слова не выражали того крепкого, полного ощущения родства с Ириной, которое было у него. Все-таки каждый раз именно эти слова назойливо лезли в голову, когда он смотрел на спящую жену в мучительный час похмельного пробужденья. От их навязчивости он острее ощущал бессилье найти другие, полновесные, которые он мог бы сказать уверенно и просто. Дневная работа была уже испорчена этой тайной боязнью словесной немощи.

Вчера он возвратился не поздно и трезвым. Встретив сначала удивленный, потом испытующий взгляд жены, сильно обозлился. Они безобразно разругались. Жена визгливо кричала ему в лицо:

— Ты ленивое, толстое животное, больше ничего! Ты истаскался по кабакам и по своим бабам. У тебя уже нет никакого таланта. Ты—ничтожество! А может, у тебя его никогда и не было. Ты—грязный, мелкий человечешко. Припомни, какой ты—трус...

Он, втянув голову в плечи, двинулся к ней. Ирина, выставив вперед ладони, попятилась, но не замолчала, не дала ему сказать ни слова.

Со взвизгиваньем, с ненатуральным смехом, с неожиданным противным всхлипыванием она без удержу кричала об его отношении

к женщинам, к людям вообще, и об его подленьком разврате, умственной ограниченности. По-женски напоминала самые мелкие житейские, оттого особенно пошлые подробности их совместного существования. Самое едкое в ее истерическом монологе было то, что Ирина не выдумывала, не лгала. Но перечисляла она одни отдельные житейские факты без фона, без обстоятельств, без спасительного обобщения. Если бы таким способом рассказать жизнь Христа, Ньютона, Льва Толстого, Достоевского, то получилось бы впечатление, что некоторые из них были импотенты, другие — Иудушки Головлевы или жалостные извращенцы. В своем бабьем гневном оплевывала науку, искусство, мораль, человечество, всю жизнь. И эта визгливая глупая женщина сама была сопричастна к области духа! Она стала известной в столицах раньше Ярославцева. На клубных сценах она ставила спектакли, о которых пресса возвещала захлебываясь, негодуя или торжествуя. Когда она кричала, ее подурневшее от покрасневших век, от искривившегося рта лицо показалось ему отвратительным. Ярославцев схватил ее за руку, не помня себя. Он бы ударил, избил ее, но она вырвалась, истерически взрыдала, выбежала из спальни, с треском хлопнув дверью. Утром Ирина ушла из дому до его пробуждения. Злясь и совестясь, он расспрашивал домашнюю работницу, куда могла уйти жена так рано. Катя сделала вид, будто ничего ей неизвестно о безобразной супружеской перебранке, о том, что жена не захотела воспользоваться диваном в кабинете мужа и заночевала кое-как в столовой на сдвинутых стульях. Но когда подавала она ему кофе, Ярославцев подметил дважды любопытный и немного злорадствующий взгляд. А проходя коридорчиком в свой кабинет, нечаянно услышал, как она сообщала кому-то в кухне:

— Оба ученые, каждый при своем деле, а все равно как и мы. Подняли ночью содом, батюшки! Как пьяные напьются, одинаково что наш брат, что ученые — свиньи и больше ничего.

Да! Пакостно. Хоть и врет Катя. Он не был вчера пьян. Сегодня понятно, почему он не может писать. А относительно того, что скончался он как писатель, — ложь. Ирина сама этому не всрит. Кричала со злости. Вернее, из ревности. Она чрезмерно тревожно приняла его последнее увлечение Анной. Неважно, что Ирина ушла куда-то спозаранку. Не может быть, чтоб не вернулась. Придет. Но какая гадость уйти, морально отхлестав близкого человека по щекам, незаслуженно, в пылу вздорного бабьего гнева. Она говорит, что Ярославцев не работает. Она считает листы напечатанных произведений, барыши. А вот это разве не работа?

Ярославцев передернул плечами, подумал, выдвинул средний ящик стола и принялся разбирать втиснутый в него ворох исписанной бумаги. Пожелтевший сложенный вдвое лист почтовой бумаги большого формата остановил его внимание. Смутно припоминая, что это такое, он его развернул и стал читать. Тонким узким без нажимов жен-

ским почерком на листке было написано: «Договор Ирины Малютиной и Василия Ярославцева».

«Мы, муж и жена, после двухлетнего сожительства сочли за благо продолжать совместную жизнь, и на третьем году ее заключаем договор, каждый пункт которого обязуемся исполнить честно и неуклонно.

Пункт 1-й

Ни один из нас не имеет права посягать на убеждения, стремления, склонности и вкусы другого, поскольку они не приносят вреда нашей жизни, здоровью и чести.

2-й

Каждый из нас пользуется неограниченной свободой в заключении знакомств, приобретении друзей обоего пола, посещении знакомых и друзей и приема их у себя, в нашей общей квартире. За каждым остается право отстраниться от знакомства или дружбы того или иного лица, если одному из нас это знакомство будет ненужным, но обязуемся не мешать ни дружбе, ни знакомству, ни посещениям нашей общей квартиры лиц, которых один из нас хочет видеть у себя.

3-й

Рассказы о душевных переживаниях, скорбях, радостях, мечтах и разочарованиях могут быть только по доброй воле каждого из нас. Никакому выпрашиванию, подглядыванию, требовательной пытливости в нашей совместной жизни не должно быть места.

4-й

Корреспонденция одного неприкосновенна для другого. Только добровольно будем показывать письма друг другу.

5-й

Обязуемся хранить друг к другу полное доверие. Никаких ревнивых намеков, колкостей, слезки быть не должно.

Но оба мы обязуемся не унижать друг друга тайной изменой, никогда не лгать один другому. Если один из нас почувствует, что является другая любовь, он обязан об этом другому сказать и, в случае измены, непременно уйти.

Ирина Малютина.
В. Ярославцев».

Написано в тысячу девятьсот двадцатом. Восемь лет назад. Какая давность! И далеко уездный тот город, где они с женой занимались столь наивным сочинительством. Лучше всего о неприкосновенности личной переписки и это: «в случае измены непременно уйти». Непременно! Решительные тогда они оба были. Должно быть,

с голоду и холоду. Ярославцев припомнил, что в том же году Ирина писала сестре: «Живем с Васей мы голодно, холодно, но хорошо». Он сморщился, погладил занывший вдруг левый висок. Что ж, тогда действительно они хорошо жили. А вернее, это в отдалении кажется. И тогда уже существовало то нехорошее, что оскверняет сейчас супружескую их жизнь. Он тогда изменил, кажется, не один раз и не с одной, но ни разу не подумал «непременно» уйти. Лгал, никогда в этой лжи не сознавался жене и не мучился ложью. Ирина вскрывала все его письма, искала их в его карманах, в столе, так же визжала в припадках острой ревности, грозила самоубийством. Но все-таки оба они были лучше. Этот наивный, неуклюжий словесно договор составили в прекрасный чистый час, когда чтили человека друг в друге. Это Ярославцев помнит. Он вздохнул, встал не сразу, с ощущением тяжести в плечах.

III

В коридоре послышался шум женского вхождения. Открылась дверь в спальню, она же комната Ирины. Ярославцев поморщился: жена вернулась не одна. Но тайно он обрадовался. Не надо немедленно начинать объяснение с женой, и новое явилось внешнее препятствие его труду. Женщины разговаривают обычно без промежутков раздумчивой тишины. В его комнате и через столовую все слышно. Какая мысль может преодолеть помеху детского или женского упоенного говоренья? Вот голос Ирины, такой теплый, чудесный. Трудно даже представить, что это она так противно визжала в ночной перебранке с мужем. И говорит, как пишет. Красота!

— Может быть, мир существует вне восприятия эмоционального... Я не знаю, я — невежда в философских проблемах. Но для нас важно, что цвет пера на шляпе, вскрик, полоска света в темноте и глубокая волнующая мысль — все это в своем соединении равноценно. Для слушателя и зрителя равноценно!

Ярославцев ядовито усмехнулся. Третьего дня или раньше, вообще на этой неделе, она прочитала ему вслух ту же мысль. Она украла ее из чужой, вероятно, хорошей книги, приспособила для нетрудного разговора об искусстве, выдает за собственную. Милая тля. Пьет чужие соки. Ну да, она талантлива. Но всякая темпераментная женщина может написать стихи, рассказ, статью только потому, что восприимчивы и переимчивы они, как обезьяны. В них веками воспитывали гений приспособленчества. Они хорошо понимают сущность славы, как внимания большего количества людей, и умеют по мелочам урывать, накапливать это внимание. Это нашествие талантливых воришек. При равноправии полов оно может грозить расхищением, разбазариванием культуры в дешевку. Ярославцев поспешно записал свои мысли и стал уже заинтересованно, воровато прислушиваться к разговору в соседней комнате.

Вдруг он насторожился. Ирина разговаривала с приятельницей, молоденькой артисткой. В их беседу вступил третий голос. Конечно, это Анна. Ярославцев не мог ошибиться. Каким образом Ростовцева могла оказаться здесь? Они были с Ириной знакомы, но никогда не бывали друг у друга. Ирина ревновала и ненавидела Анну. Что за чепуха! Откуда они об'явились вместе? Тоненький голосок об'явил скоро:

— Ну, вечером забегу, сейчас мне пора. Пока.

Ирина проводила артистку в переднюю. Как только захлопнулась за ней дверь, жена громко позвала:

— Василий Александрович!

Ярославцев вышел на зов.

— В чем дело?

— Я и Анна Семеновна хотим поговорить с тобой. Можно к тебе?

Не дожидаясь его ответа, она открыла дверь в спальню, сказала так же повышенным голосом:

— Ну, идем в кабинет. Он ждет.

Вошла она первая, высоко приподняв лицо, с решительным видом. Но, встретив его удивленный взгляд, Ирина мгновенно вспыхнула, опять побледнела и опустила глаза. Ростовцева вошла за ней с обычным своим скучающим лицом, кивнула ему головой и сразу опустилась на диван. Ирина посмотрела на нее, помедлила, села рядом и заявила:

— Со мной ты уже не можешь разговаривать. Ты не слышишь, не понимаешь, не чувствуешь, что я говорю. Пусть Анна Семеновна тебе скажет, что дальше так продолжаться не может.

Ярославцев спросил оторопело:

— Это что еще за комедия? Что за комедия, я спрашиваю, — повторил он уже со злостью.

Глядя на него в упор широко раскрытыми глазами, сильно волнуясь и спеша, чтоб ее не перебили, Ирина продолжала:

— Дальше не может продолжаться наша совместная жизнь. Ты меня ненавидишь и, вероятно, от этого пьянствуешь и не работаешь. И я, и я... с тобой не живу, а мучаюсь, и тоже не могу работать, превращаюсь в жалкую истеричку...

Ярославцев побагровел, в бешенстве стукнул кулаком по столу:

— Зачем это... театральное представление?

У Ирины задрожали губы. Стараясь задержать выступившие в глазах, как влажный блеск, слезы, она не смогла ответить. Ростовцева унылым голосом проговорила:

— Никакой театральщины нет. Человек искренне страдает, мечется, что вы, не видите? Как можно...

Ярославцев перебил ее насмешливо и злобно:

— Простите меня. Но... при чем вы здесь?

Анна невеселой усмешкой подавила смущение.

— Произошло маленькое недоразумение, Василий Александрович. Ваша жена...

Ирина горячо, с большой искренностью вскрикнула:

— Вася, мне все-таки жалко тебя... Ты меня ненавидишь, а я... Не хочу я так уходить! Тебе надо изменить твою жизнь, пусть Анна Семеновна тебе объяснит. Я сама ее просила.

Ярославцев взмахнул рукой, хотел крикнуть, выругаться и, ничего не сказав, тяжело опустился на стул. Ирина испуганно подалась было к нему, но не встала и закончила уже тихим неуверенным голосом:

— Я всю ночь не спала, думала только о тебе, не о себе. И потом, по улицам утром когда бегала, все думала, что же случилось, чем тебе помочь...

Ярославцев покачал головой.

— Неужели ты не чувствуешь всей нелепости этой сцены? Чорт знает! Ты успокойся, приди в себя, тогда поговорим.

— Вася, ты прости меня, ты гибнешь. Я не знаю, в чем дело. Из-за того ли, что пьешь, что жиреешь, но только так нельзя. Ты ничем и никем не интересуешься. Подожди одну минуточку! Я знаю, ты любишь Анну Семеновну. Я по-бабьи не хотела сдаваться, уступать. Я, когда шла к Анне Семеновне, еще не знала, может быть, я ее только оскорблю или ударю и уйду... Но она сразу поняла...

Ростовцева встала.

— Василий Александрович, конечно, смешно, что Ирина Сергеевна пришла без вашего ведома уступать вас мне. Минутку, надо кончить разговор. Ваша жена еще не знает, какие мы с вами... негордые. Она думает, что мы еще умеем не только блудить, но и любить.

Ярославцев передернул плечами, дрожащими пальцами закурил папиросу, сплюнул, пробормотал:

— Пошлейшая комедия!

Он с острой ненавистью, как-будто впервые увидев, смотрел как в разговоре Ростовцева нервически кривит маленький рот, на ее крашенные волосы, на ее большие, но унылые, как стоячая вода, глаза. Она усмехнулась в ответ на его взгляд, пошла было к двери, но тряхнула головой, вернулась, спокойно села на диван и закурила. Ирина сначала виновато, потом недоумевающе смотрела то на мужа, то на Анну. Ярославцев нахмурился, произнес сквозь зубы:

— Ирина Сергеевна — истеричка, ее надо лечить. Но зачем вы пришли сюда? Виноват, я вас наслушался. Неужели тоже о любви разговаривать? Простите, раз вы остались... Разве с вами говорят о любви?

Ростовцева засмеялась, ладонью хлопнула по дивану.

— Вот. Положим, говорят. И вы вчера у меня слюнявили что-то про любовь... Но...

— Нет, простите, неужели вы думаете, что кто-нибудь с вами заговорит о любви?

Анна покачала головой.

— Товарищ писатель, даже проститутки думают об этой возможности...

Ярославцев криво усмехнулся.

— Почему — «даже»? Вам не следует говорить «даже»...

Анна выронила папиросу, сильно побледнела. Ирина сорвалась с места.

— Не смей! Ах, какой ты стал негодяй! Что же это такое! Не смей больше ни слова, я ударю тебя. Такая подлость! Ведь это я привела Анну Семеновну.

— С тобой мы потом поговорим.

Ирина в отчаянии затрясла головой, замахала руками.

— Никогда, ни о чем я с тобой больше не буду говорить! Ты не знаешь, что это для меня значит... Вот именно теперь что значит, ты не понимаешь, что ты при мне оскорбил женщину.

Она запуталась в словах, беспомощно, беззвучно заплакала и упала на диван. Ростовцева погладила ее вздрагивающее плечо.

— Василий Александрович, — сказала Юна очень просто, — мы очень честно поговорили сегодня с Ириной Сергеевной. Я не знаю, почему так вышло, но вышло. Я пришла к ней, не к вам. А потом, тоже не знаю как, поверила, что у вас ко мне, конечно, не любовь, но большое доверие... Поэтому я и явилась на это...

Она усмехнулась.

— Собеседованье.

Ярославцев, утупив глаза в стол, молчал.

— Вам о своей жизни я рассказала чересчур подробно. В... как это сказать! Ну, в брачном отношении, что ли, она, если хотите, ну, неопрытна. Но я не проститутка. Впрочем... не в этом дело. Успокойте Ирину Сергеевну, я пойду...

Ирина вскочила. Вытирая ладонями мокрое от слез лицо, она твердила:

— Нет, нет, я не останусь. Нет, нет, я тоже с вами. Нет, я ухожу.

Ростовцева пожала плечами, взяла Ирину под локоть, они ушли. Ярославцев положил голову на стол и долго просидел неподвижно. Ему казалось, что если он сделает хоть одно движение, его задушит отвращение ко всей жизни, особенно к женщинам. Как мерзок мир, стиснутый этой половой возней!

IV

Ирина временно поселилась у Ростовцевой. Ярославцев считал, что это уже не только смехотворно, а гнусно по отношению к нему. В их литературно-театральном мирке, как в уездном городе, все знали друг друга и любили разговаривать об интимной жизни знакомых. Жена ушла от мужа к его любовнице, — это было в новинку. Некоторые из друзей обеих женщин давали этому переселенью мерзкое объяснение. Тем более, что Анна вдруг налегла на работу, проводила многие вечера без гостей, без мужчин, дома. Она была журналисткой. На ряду с блестящими фельетонами писала скучные,

пошлые, нередко подхалимские, часто малограмотные, но никогда качеством их не бывала обеспокоена. Просто выгоняла выработку. И вдруг принялась усидчиво работать. Каждый раз, когда Ярославцев появлялся теперь в редакции, в ресторане, в театре или в гостях, ему казалось, что за его спиной шушукуются. Часто на улице чей-нибудь сторонний смехок заставлял его злобно, дико озираться. Поэтому он тоже проводил теперь большую часть времени дома. Работа не только не шла, а просто не начиналась. Порой на ходу, в трамвае, иногда ночью во сне хорошо работала творческая мысль. Создавались сюжеты, являлись убедительные образы и выразительные слова. Во сне он писал целые рассказы, законченные произведения. Проснувшись, ощущал только, что это было очень хорошо написано, но вспомнить что и как — не мог. Ощувив где-нибудь вне дома цепкость мысли, а, главное, то особенное обострение всех чувств, которое бывает только в большой цельной плотской страсти и во вторичном ее изъятии — в искусстве, он спешил, почти бежал домой, пугаясь встреч и остановок.

Стоило ему сесть за стол, положить перед собой бумагу, — он обессиливал. Мысли становились пустышками, но от них странно тяжелела голова. Тогда он доставал из-под стола бутылки водки, коньяку, вина, пил, почти не закусывая, хмелел и писал. И опять ему казалось, что пишет он прекрасно. Пьяный бред был причудлив, остер, картинен в момент его изживанья. А утром, после отрезвления, кривые, пьяные строки на бумаге оказывались беспомощными и несвязуемыми. Ярославцев чувствовал, что это уже недуг, быть может, полная инвалидность. Каждый день собирался пойти к невропатологу и все откладывал на завтра. От родителей-крестьян он унаследовал крепко сбитое выносливое тело. Он редко хворал. За тридцать восемь лет своей жизни лишь дважды долго пролежал больным. Лечиться он не привык, а нервных, душевных болезней боялся необъяснимым мистическим страхом, как боится психики всякое слишком здоровое существо. Поэтому мысль о болезни он отгонял. Ярославцев упрямо думал, что вся творческая немощь из-за Ирины. Он никак не может забыть об ее предательском, скверном уходе. Он бесчестил, проклинал ее в мыслях, вдруг начинал неожиданно бешено по ней тосковать. Эта горячая тоска совершенно лишена была вожделья. Он никогда не вспоминал об их прежней страсти, но навязчиво о том, как Ирина улавливала его мысль прежде, чем он успевал ее договорить, о том, как ей важнее всего в жизни было его состояние, моральное и материальное. Она часто и нетрудно забывала обиды, наносимые ей. За него была злопамятна. Она целый год ежедневно, мелочно, неустанно добивалась квартиры в Москве. Клянчила в соответствующих учреждениях, совала подачки дворникам, скандалила, копила деньги, потихоньку таскала их из бумажника у него. В полученной, наконец, квартире сама работала в спальне в уголке, для него обставила эту единственную большую и удобную комнату. После

своих горячих вспышек, по правде сказать, всегда обоснованной ревности, как она мучилась, каялась, что испортила ему рабочее настроение. Он забыл, что именно этой заботливостью, слишком сильной преданностью она часто докучала ему, раздражала. Без Ирининых маленьких ласковых рук, всегда готовых мимо всех ее друзей, родственников, единомышленников протянуться к нему, к мужу, Ярославцев вдруг узнал, какое безмерное бывает у человека ощущение одиночества. Как могла она его так предательски, нелепо и непонятно оставить? «Очевидно, у самой большой женской любви нет верности без отдыха. Если не временный отдых, измена, — то утомление и уход» — написал он в письме к ней. Письмо было горестное. Ярославцев страдал, когда писал его. Но то, что смог его разом написать, принесло ему душевное облегчение.

Он простой коротенькой записки не умел в эти дни написать без тягостной медлительности. Ярославцев повеселел и сам понес свое письмо в почтовый ящик. На улице стоял неяркий, с набегающими облаками, но нехолодный день. Ярославцев прошел к Большому театру и сел на скамью в сквере против него. Очевидно, был какой-то церковный праздник, не освобождавший от службы. Звонили во многих церквях. А люди проходили мимо с портфелями, саквояжами, корзинками, сумками деловитой походкой. Мосторг и видимые из сквера магазины за ним были открыты, непрерывное движение с треском, звоном, гуденьем, в трамваях, автомобилях, с понуканьем и окриками с извозчичьих козел, с разговором, доносящимся к Ярославцеву от проходящих мимо старых, юных, пожилых, малолетних людей, — вся хлопотливая суета большого города, в котором он давно не был, сегодня была ему приятна. Он бездумно следил за ней. Мимо прошли трое иностранцев в добротной ловкой одежде. Они негромко переговаривались на своем языке, пристально осматривали зданья, площадь, встречных с таким видом, как-будто вокруг них было на миг воссоздано неверной рукой и вот-вот исчезнет.

Недействительный, от жизни только отраженный мир, который Ярославцев пытался воссоздать в своих писаньях, измучил его. Длительная неудача в работе убивала позыв к новым попыткам. И сейчас он почувствовал большое успокоение в мире простой повседневной действительности. Вон человек повернул к магазину. Он знает, что купить. Полотеры прошли с ведром, со щетками. Они знают, что им сделать, и сделают положенное на сегодня. Снег лежит. Ему время быть плотным и лежать. Проходящие люди не замечают, каков он, поскрипывает или нет. У каждого своя, определенная часом дня, точная забота. Она установлена опытом уже воссозданной, утвержденной жизни. Едва ли многие из этих движущихся людей думают сейчас об искусстве. Конечно, кроме илотов его. К чорту! И ему, Ярославцеву, лучше всего бросить литературу, поступить на службу, жить трезвой установленной жизнью. Лучше всего уехать куда-нибудь

в провинцию. Конечно, с Ириной, только с Ириной. Об искусстве забыть. Или нет, зачем, оно останется, как у большинства хороших, полезных ежедневной насущностью людей, на часы праздности. На нем тогда уже не будет проклятья добывать его, как хлеб, в поте лица. Хорошо. И это надо сделать. Обязательно. Ярославцев представил себе в подробностях, как он будет жить. Целые картины быта скромного интеллигентного труженика сцеплялись одна с другой в его воображении. Радости, обида, любовь, болезни, семья. И он не заметил, как взгорчались его мечты. Он беспокойно заменял одно событие другим. Представление общественного поведения его самого в новой обстановке Ярославцеву никак не давалось. Он кривил губы, хмурился, страдал. На Карягина посмотрел осоловелыми глазами, точно спросонок. Карягин и неизвестный невысокий человек в суконном черном пальто с барашковым воротником, в теплой шершавой кепке подошли незаметно.

— Смотрю и думаю: задремал или загордился, не узнает. Здравствуй. Пойдем с нами, с пролетариями, в пивнуху, а?

Незнакомый человек деликатно усмехнулся.

— Я насчет пивной редко интересуюсь, но в хорошей компании в свободное время — можно.

Ярославцеву было неприятно видеть Карягина. Он лучше других знал Ирину и Анну. Отказаться все же постеснялся. Хмуро ответил:

— Что ж... Пойдем.

Они заняли столик у окна. В пивной было темновато, но не душно и опрятно. Малоллюдно в дневной час. Сквозь жесткую кружевную занавеску в половину оконного стекла маячили людские фигуры, как тени. Медлительный низкорослый старичок в белом фартуке подал три больших кружки пива, кусочки воблы с протемневшей икрой и горох. Карягин крякнул и попросил:

— Пожалуйста, еще бутылочку нарзану и стаканчик для него.

Старичок понимающе усмехнулся, подал просимое и быстро отошел в сторону. Карягин оглянулся на него, вынул из портфеля нарзанную бутылку, поданную положил на ее место.

— Ну-с, будем знакомы! Пиво на водочку хорошо ложится. Познакомьтесь: Ярославцев — ишь, какая удалая фамилия, — а это Митяшин, товарищ Семен Иванович.

Митяшин приподнялся на стуле, через стол протянул руку Ярославцеву:

— Очень приятно познакомиться.

Карягин налил всем в стопочки водки из нарзанной бутылки. Митяшин тихонько кашлянул, вежливым тихим голосом заявил:

— Извиняюсь, принужден отказаться. Потребляю кое-когда, ясно, ну, сегодня не могу. Я вот пивца.

Карягин приподнял плечи, развел руками.

— Ну, товарищ... Вспрыснуть наше знакомство, как же?

Митяшин решительно затряс головой.

— С пивом развезет, сегодня я — никак... Ночная работа. В четверг у нас вышел конфуз с одним приятелем моим. Пришел не пьяный, а водочкой разит. Мастер учуял, ты, говорит, пьяный. Тот, конечно, возмутился. Оно, конечно, вышло недоказано, а все-таки. Нет, извиняюсь.

Ярославцев скупчиво посмотрел на его мало приметное лицо с жесткими седыми волосками в коротко подстриженных усах, выпил залпом обе стопки — свою и Митяшина.

Карягин смущенно засмеялся, хлопнул Ярославцева по плечу.

— Ухватка хороша! Ну, как же, что же мы одни.

Митяшин просительно приподнял руки над столом.

— Пожалуйста, прошу вас, очень попрошу, не стесняйтесь. Ведь, как говорится, курица, и та пьет. Я — пивка за компанию.

Карягин долго искательно его упрасивал. Ярославцев, не дожидаясь их обоих, пил водку и пиво. Карягин вдруг спохватился.

— Это ты что же, один все улакаешь? Ннет, брат, ответственность пополам. Ну, за твое здоровье, товарищ Митяшин! Обидел ты меня.

Митяшин прижал обе ладони к груди.

— Зачем неправильно объясняете? Очень вас уважаю.

Ярославцев уставился на него захмелевшим тупым взглядом.

— У меня мамаша тоже крестьянка. В Сибири, на Лене с братом, земле... землепашцем живет. Вы что думаете, если писатели, так буржуи?

Митяшин приподнял брови, ясно усмехнулся.

— Что? Насчет буржуазного происхождения не интересуюсь как-то я, товарищ. И вообще был бы хороший человек. А наших советских писателей мы уважаем. Книги составляют, это надо.

Ярославцев оперся обоими локтями на стол. Он вдруг возненавидел этого уважающего его труд городского пролетария и с обидой в голосе спросил:

— А книжки наши вы читали? Нет?

Митяшин, взглянув Ярославцеву прямо в глаза, любезно улыбнулся.

— Как же, как же. Очень уважаем. Правда, времени на чтение мало...

Карягин восторженно перебил его:

— О, ты не задавайся, Васенька, с этими читателями свысока не разговаривай. Я у него на заводе в литгруппе работаю, знаю. Эти, брат, вам очки протрут.

Ярославцев выпил остатки водки и залпом кружку пива; захмелел. Его сердил подобострастный тон Карягина. Что он нашел в этом непамятного вида человечке? И на рабочего-то непохож, прилизанный какой-то конторщик. Карягин как-будто угадал его мысли или сам подумал одновременно о внешности Митяшина. Он перегнулся через стол и вцепился ему в руку повыше локтя.

— Вот посмотри, ведь он не производит впечатленья сильного человека. А пощупай-ка!

Митяшин с готовностью согнул руку в локте и застенчиво сказал:

— Ничего нет удивительного, я — носак. Десять лет носаком работал. Это знаете что? Тяжести на заводе подымал.

Ярославцев хмуро пробубнил:

— Ну, грузчик, понятно.

Митяшин покачал головой.

— Нет, носак, это несколько другое. Ну, в общем, дело неинтересное, не по вашей специальности. У вас вон руки-то какие мягкие, прямо архиерейские, а мои и в праздник не отмоешь. У нас к вам другого сорта обращение есть. Насчет вечера на заводе.

— Какого вечера?

— Вечер критики, теперь на многих заводах устраивают, и нам товарищ Карягин посоветовал.

Карягин спросил:

— А ты дома не живешь, что ли? Тебе бумажку посылали?

Ярославцев быстро, подозрительно взглянул на него, — не намек ли это на его семейную историю?

— Живу, почему ты?.. Кажется, есть, я забыл сейчас.

— Дак вот, брат, приготовься. Сообщаю в порядке товарищеской дисциплины, выступить придется обязательно. Тебе там начешут.

— Чесаный уж, не боюсь. Весь этот год ругают. Твою статью я недавно прочитал.

Карягин засмеялся, отрыгнул плохо прожеванную воблу и, пережевывая, неразборчиво спросил:

— Не понравилось, не любите, когда против шерстки гладят?

Он запил пивом затрудненную закуску и проговорил нравоучительно:

— Не хорохорься, время осмотреться. Они тебе покажут, они сами все писатели.

Ярославцев посмотрел на улыбчивого тихонького Митяшина.

— Вы тоже писатель?

Тот махнул рукой.

— Времени нет. Один разок побаловался, составил рассказец о рабочем изобретении, припер в литгруппу, ребята раскритиковали в чистую в отставку.

Карягин удивился.

— Это когда же? Я что-то не помню.

Митяшин махнул рукой.

— Ну, так вы у нас еще недавно. Это еще при товарище Лелевиче было. Я-то помню, вогнали меня в пот. Об'ясняю: «Что ж, товарищи, мы не Гоголи какие-нибудь, у нас времени нет. Вот что сразу написал, то и сдал». А самому досадно и совестно.

Ярославцев пристальнее взгляделся в доверчивые серенькие глаза Митяшина и уже заинтересованно спросил:

— Больше не писали?

Тот весело засмеялся.

— И не тянуло, прочистили, как клистиркой, никакого сомненья не осталось. Не по плечу это занятие.

Карягин погрозил ему пальцем.

— Товарищ, товарищ, для настоящего человека критика не должна быть страшна. Она, как врач, лечит из'янцы...

Ярославцев, взвеселев, толкнул его в бок.

— Так вы же коновалы! От вашего леченья человек на тот свет может отправиться.

— Кто — коновалы?

— Вы, критики.

— И я?

— И ты, конечно. Ты в первую очередь, что ты понимаешь...

— Нно, но, товарищ Ярославцев, полегче! Всю советскую критику в моем присутствии?.. Па-алегче!

Митяшин обеспокоился.

— Ну, какие разговоры, что вы, товарищи. Это пройдет, это вы под хмельком.

— Что ты меня пугаешь? Чего пугаешь?

— Я тебя не пугаю, но как же ты смеешь про мою работу, про всех нас, советских критиков, так говорить? Если ты сам дерьмо, так нечего на критику пенять.

— Я не про себя говорю. Пускай я — дерьмо, так ищи ты золото, а чем ты искать будешь? Каким местом? Ни знания, ни чутья...

— Я каким местом? А ты каким местом пишешь?..

Перебранка была внезапная, бестолковая, но Ярославцев и Карягин жалили друг друга по-настоящему обозленными жаркими глазами. Митяшин испугался, встал.

— Граждане, если вы так неприятно будете об'ясняться, я уйду. Знал бы, так не рассказывал...

Карягин схватил его за руку.

— Постой, постой... Да куда? Эх, ты, какой вспыльчивый! Сядь, ну, сядь. Васька, ты зря, извинись.

— Ты уж ищи других, которые тебя боятся.

— Я тебя тоже не боюсь! Щербатая копейка, и то царской чеканки, тебе цена.

— Отпустите меня, товарищ Карягин, мне и некогда, да и что смотреть...

— Стой, стой, садись. Погоди, Васька, в другой раз поговорим. Я бы тебе сказал словечко...

— Ну, и скажи, скажи! Чего же ты боишься?

— Я-то ничего не боюсь, а ты бы помолчал. Жена, и та ют тебя сбежала.

Ярославцев вскочил, уронив стул, широко размахнулся, но Митяшин схватил на пути его руку и стиснул выше локтя. От боли Ярославцева прошиб пот, он в изнеможеньи опустился на стул. Старик половой подбежал в беспокойстве.

— Граждане, граждане, поаккурятней.

Митяшин махнул ему левой свободной рукой.

— Не сомневайся, товарищ, мы маленько пошутили.

Он выпустил руку Ярославцева и погладил его по плечу.

Карягин, восхищенно оскалив зубы, спросил:

— Ну, что? Я тебе говорил, цопнет, так пригнет.

— Сволочь ты, я с тобой еще поговорю.

Карягин с широким размахом протянул ему руку.

— Давай мириться, я, ей-богу, не со зла. Про жену сбрыхнул, что слышал. Моя от меня раз пять бегала, эо диво, вернется.

— Не смеешь! Твоя личная жизнь меня не касается, мою не смеешь...

— Да, конечно, не смею, что ты, брат! Ну, извиняюсь, ну, давай мириться. Ей-богу, это даже неинтересно, я тебя всегда любил.

Митяшин отстранил его.

— Ну-ко, товарищ, двигайте на мое место, я тут присяду.

Карягин, привстав, протягивал через Митяшина обе руки Ярославцеву.

— Вася, прости. И ты и Иринushка — мои друзья, и мы еще втроем выпьем. На что ты рассердился? Вон ты всю советскую критику обидел...

Ярославцев вдруг сразу обессилел. Он с утра ничего не ел, его сморили хмель и пережитая вспышка гнева.

— А ну тебя к чорту! Вот только постороннего человека не хочется втягивать в скандал...

— А человек-то, Вася, какой он хороший, ты посмотри! Ну, ну, садись с ним рядом, Иван Семеныч, пускай он на тебя поглядит.

— Идите, идите на мое место, рядом вам не стоит, а на меня что смотреть... Ну, вот. А слабые оба вы на выпивку, я никак не предполагал, удивительно! И с чего завозились?

Карягин стукнул рукой по столу, заказал еще пива. Старик, озираясь то на заведующего за буфетной стойкой, то на Митяшина, заказ выполнил не сразу. Когда он подошел с пивом, все трое уже дружно разговаривали. Ярославцев и Карягин согласно уговаривали Митяшина написать еще рассказ. Тот смеялся, покачивал головой.

— Ну, и чудачки вы люди, прямо умора с вами. Мне нежелательно больше писать, я литгруппу посещаю для образования. Ведь я что написал — об самом об себе, вот и все. Как раз мое изобретенье тогда тормозили, я замучился. Куда пойдешь, с кем поспоришь?

Карягин стукнул рукой по столу.

— Ты слышишь: изобретенье. Что? А ты говоришь.

Ярославцев вяло спросил:

— Какое изобретенье?

Митяшин приободрился, глаза у него засияли, точно разом расцвели на пожилom неотметном лице.

— Как рассказать, это по нашей специальности, вы, пожалуй, не поймете. Я сконструировал и сам сделал приспособления и станок для обработки коммутаторных рамок. И вот в чем дело, в них можно обрабатывать отдельные эбонитовые части. Это важно для механизации эбонитовых изделий. У нас на заводе от восьмимесячного заказа получилось экономии семнадцать тыщ рубликов. Да, суммочка.

Карягин торжествующе помахал рукой перед лицом Ярославцева.

— Во-от, понимаешь?

Ярославцев досадливо отвел его пальцы.

— Отвяжись, импрессарио. Да, это я понимаю.

Из рассказа Митяшина он уловил только, что перед ним изобретатель и понравившееся ему по звуку слово «эбонитовый». То и другое преисполнило его горячей симпатией к Митяшину. Он повернулся всем корпусом к Митяшину, стал его расспрашивать об его жизни, о семье, о зароботке. Митяшин неторопливо и просто рассказал ему, что за изобретенье получил он не так много, двести рублей, но ничего.

— Слов нет, досадно, ну дак ведь на то и шли. Поскулишь, да утверждаешься. Детей у нас много, извиняюсь, шестеро. Жена бегаёт, бегаёт, то за провизией, то за мануфактурой, в школу ребятишек устраивает. Придет, чертыхается, и я с ней расстроюсь. Да, неважнецки у нас во многом, что говорить. Но вседаки справляться надо.

— Вы — коммунист?

— Нет, все как-то размышляю, но все-таки считаю по-времени эта песня. Стараться надо.

О политических его убежденьях Ярославцев больше ничего не узнал. Он не таился, но рассказывал как-то раздумывая, а не утверждая. Они расплатились и вышли на улицу. На перекрестке преградили им путь школьники в парах. Они пели ломкими детскими головами:

Так громче песня, так ярче пламя,
Нам тяжело, но мы поем!
Мы — кузнецы! Идите с нами!
Мы счастье миру создаем!

Митяшин широко усмехнулся.

— У меня свои такие певуны. Один комсомолец, две пионерки. Сердитые!

Ярославцев и Карягин тащили его с собой, он решительно отказался.

— Рад бы душой, компания ваша, спасибо, понравилась мне. Ну, ночная работа.

Прощаясь, он задержал руку Ярославцева в своей.

— Спорить не стану, безобразия у нас хватает, по маковку! И все-таки на повороты уж не свернешь. Вожаки у нас — коммунисты.

Карягин обнял его и, причмокивая, расцеловал, Ярославцев ничего не ответил, посмотрел на небо, вокруг по улице и вздохнул. Митяшин напомнил:

— Так в середине вечер. Объявление пущено, не подведите.

Карягин и Ярославцев обедали в ресторане, потом опять перекочевали в пивную. На рассвете они ужинали в какой-то мансарде. Там стояли некрашенные скамьи. На ничем непокрытых деревянных, сколоченных из досок столах стояли липкие стаканы и несвежая еда. В углу, у хорошего рояля на ковре мужчина в бархатной куртке читал нараспев под аккомпанемент прекрасного пианиста:

И было восемь глав
Печальной повести рассказано
О том, как верил некий граф
Фальшивым запонкам со стразами.

Ярославцев, трудно шевеля языком, говорил Карягину:

— Нне слушай. Там — ерунда. А вот у Блока помнишь: «Я пригвожден к трактирной стойке».

Он вдруг заплакал, слюняво и беспомощно прошептал:

— А ты, душа... душа глухая...
Пьяным пьяна... пьяным пьяна.

Карягин икнул и сказал:

— Дурак ты. Вернется жена, куда денется? Моя уходила, я ликовал, а... а... она взя-яла да вернулась.

V

Ярославцев неловкими, неверными пальцами распечатал письмо.

«Беда твоя в том, милый ты мой Васенька, муж мой дорогой, что жизнью ты не владеешь, а она тебя мечет, кидает, как птицу, заблудшую в далеком перелете в непогоду. Над этой фразой ты будешь смеяться, я знаю, осмеешь и все мое письмо. Ты не любишь чувствительных слов, ты боишься всего, что касается сентиментальной старушки души. Я вот сейчас думаю, что в этом твоя писательская беда. Пожалуй, из боязни театральщины, сентиментальности ты сократишь их запас до мычанья. «Простое, как мычанье». Не сердись, родненький ты мой, единственный мой любимый в жизни. За восемь лет нашей,— понимаешь, милый, нашей,— жизни я много раз видела тебя нечестным, неумным, нечистоплотным, трусом и все-таки любила и люблю тебя. Как тебе объяснить моим бедным, не писательским языком, что я любила тебя всего, человека Василия Ярославцева, с его плотью и кровью и мозгом. Каждый из нас обречен в жизни и на трусость, и на бесчестье, и на безобразия, пожалуй, в большей степени, чем на добро, красоту, справедливость. И ни отец, ни мать, ни сестры, ни братья не знают так до точки голого плотского человека, как муж жену и жена мужа. В этом и лихость брака. Превжней ли это цепной брак долголетний, до могилы, теперешнее ли свободное сожителство— все равно. Пока существует половой инстинкт, брак существует для деторождения и сообщества. Отсутствие одного из этих условий делает его несчастным и неверным. Детей мы оба не захотели иметь.

Я по недомыслию, ты, конечно, по расчету. Это беда поправимая. Еще можем мы их родить, хоть и старенькие мы оба, не годами, а душой. Но теперь они нас уже не свяжут, распалось наше сообщество. Ты умный, ты можешь понять, что я не хочу тебя оскорблять в этом письме, но, вероятно, не захочешь понять. Ты чудовищно эгоцентричен. В этом сила твоей личности, ее субстрат, за который я люблю тебя, по-моему, вечной любовью и ни на кого пока не променяла и уверена, что и не променяю. Но отсюда твоя тяжелая трагедия и трудность для тебя счастья. Понятно, вещи для себя ты требуешь только полновесные, без ущерба. А таких не бывает в нашей людской, обреченной изъясам, болезням, подлости, смерти жизни. Пока шла у тебя такая жизненная полоса, которая бывает у всякого человека, что сокровенными остаются ущербы лиц, событий, вещей, ты был счастлив, здоров и хорошо работал. Но иллюзии—приданое молодости. Твоя молодость и так продолжалась дольше, чем у многих, потому что ты слишком здоров. «Слишком» я написала, когда подумала о твоей профессии. Полнокровье иногда вредит художнику, лишает его перспектив, потому что он в таком случае цельно доволен настоящим, существующим. Но вот ты уже перешагнул и пору мужества, ты уже идешь по склону. Тебе надо и оглядываться и смотреть, что впереди. Там ведь конец. А ты не хочешь этого сделать. Как молодящаяся кокетка, и к старости, и с тоской в душе, носишь розовые платья. Прости меня, милый, я люблю тебя, я думаю о тебе, потому так нелицеприятно пишу. От тебя зависело сделать наш брак таким или иным. Ты выбрал без детей и с обоюдной самостоятельностью. Ну, последнее, правда, во многом предопределилось эпохой. Но так как ты любишь полновесные вещи, то, не будучи матерью твоих детей, я для тебя перестала быть женой, пошла за любовницу. И для любовницы я для тебя слишком ясна, известна до предела. Слава богу, восемь лет. Я не смею винить тебя сейчас, хоть много раз винила и проклинала. Очевидно, это мы, женщины, как кошки, любим обжитое. И то, вероятно, не все и не всегда. Ты уж слишком люб мне во всех отношениях. Мне оставалось жить при тебе не вдовой, не замужней, даже не другом — и в этом я пресна для тебя, я ведь чувствовала, значит, только сообщницей. Но, Васенька, милый, любимый, ты разочаровался в жизни, опускаешься с каждым днем все ниже и ниже, пьянствуешь до потери человеческого облика, а я не могу тебя удержать, спасти. Я могу быть только сообщницей твоей гибели. Родной, как же я могу? Я очень ревновала к Анне, ненавидела ее. Вероятно, из-за ненависти я преувеличивала. Враг казался мне выше ростом, по существу, и душой и женской обаятельностью. И я пошла вас соединять. Со смертельной сердечной тоской пошла. Ну, а дальше очень трудно объяснить. Я женщина, она тоже, мы почти однолетки. Эпоха, победительная и очень трудная для женщин, соединила нас, как сестер, своим чревом. Вот я написала «победительная», а ведь, победив, победитель должен жить на пожарище победы. Ты подумай: представленья о любви, о семье, о самой

нашей женской роли — все сгорело. Надо заново собирать, созидать. А выросли-то мы ведь до пожара. Мамка, нянька, старшая сестра привили нам вкус к старому. Ты думаешь, легко? Вот когда я поговорила с Анной, то увидела, что мы обе несчастливы по одной и той же причине. Я теряла мужа, с которым хотела прожить до старости, до могилы. Она его вовсе не нашла, а нам обеим, по нашей позапрошлой годней душе, он нужен. Как застенчивый человек в чужом обществе в испуге вдруг заговорит нахально, так Анна водку пьет, мужчин меняет, живет подло и беспринципно. Она не умеет чувствовать в теперешнем, хоть и верит в него и хочет его. Я тоже. Обе не умеем, каждая по-своему, но в этом мы — сестры. Вот почему я не могла допустить, чтоб ты ее оскорблял, считай это кривляньем, театральщиной, чем угодно. Я знаю: один весьма уважаемый поэт распустил слух, что мы — лесбиянки. Мне не противно и не стыдно это повторить, потому что это неправда. Жить в одной комнате с Анной обеим нам неудобно, мы слишком разные по характеру. Ничего не поделаешь, никак не могу найти комнату. Анна — талантливый человек, но такой же эгоцентрик, как и ты, а для самостоятельной женщины это еще трагичней, чем для мужчины. Мне ее очень жалко, я стараюсь ее подтянуть. Это легче, чем тебе помогать в жизни, потому что тебя я люблю безумно и никак не могу даже в мелочах с тобой поставить на своем. Васенька, я не Пилат, я ушла не для того, чтобы умыть руки. Но я невольно способствую твоей гибели, потому что и в пакости ты для меня — Верховное Существо. Я очень по тебе тоскую, часто ночью просыпаюсь в слезах. Но хоть, может быть, ты сочтешь это душевной черствостью, — я должна тебе сказать, что сейчас без тебя хорошо работаю. Я — маленькая, я только популяризатор, но ответы надо тоже принимать и передавать дальше. Вот для этого у меня есть и ум, и чутье, и талант. Ничего, вырастем и мы, Васенька, а, может, наши внучки заберут себе в актив наш рост, нас со счета спишут, неважно. Грубо что-то вышло, у Анны переняла. Вася, ну... Вася, если тебе нужно, я приду, но ведь ни страсти, ни окрика ты от меня не захочешь? А нужны тебе только они. Васичка, целую тебя, родной мой, любимый до могилы. Хоть, может, изменю, но всегда буду только твоя.

Ирина.

Р. С. Васютка, Васик, милый, Вася, позови меня домой».

Ярославцев дочитал письмо, вцепился пальцами в волосы, заплакал непривычно, по-мужски, без слез, низким по звуку, глухим стенаньем.

VI

Библиотекарь, ответственный за устройство в клубе вечера критики, встретил Ярославцева и Карягина у лестницы в зал. Лицо у него было растерянное и потное.

— А, товарищи, пожалуйста, пожалуйста, скоро начнем.

На пятой ступеньке он виновато оглянулся на них и тихим голосом сообщил:

— Уж если публики соберется не очень много, извините, прошу вас. Мы не рассчитали, сегодня получка.

Карягин приостановился, внушительно спросил:

— Вы чего же нас сюда вызвали? Пострадать, что ли? Я непугливый, но, пожалуй, Ярославцев, давай повернем назад.

Библиотекарь испугался.

— Что вы, что вы, товарищи! Афиши чуть ли не за неделю расклеили, книгоноши оповещали в жилищах. Никак нельзя.

Ярославцев хмуро подтолкнул Карягина в спину.

— Иди.

Начало было объявлено в семь часов вечера. До половины девятого Карягин, Ярославцев и три поэта слонялись за кулисами большой клубной сцены. Ярославцев, заложив руки за спину, ходил и думал о своем. Он не смотрел на часы, не сразу заметил, что долго на начинают. Карягин шумно вздыхал, ерошил волосы, раз пять задиристо объяснялся с библиотекарем, потом уныло потрогал задние занавесы-сукна, глубокомысленно всмотрелся в несхожий с Лениным его гипсовый бюст, посудачил с помощницей библиотекаря о богатых волосах Карла Маркса. Наконец, за занавесом в зале послышался густой гул голосов, женский смех и одинокий ребячий вскрик. На сцене появились Митяшин и худощавый кротколицый человек в черной толстовке, со вциковским значком над правым карманом. Голосом, не допускающим разговоров, он пригласил:

— Товарищи писатели, пожалуйста на сцену.

Стол был покрыт красным сукном с золотой бахромой. На столе стоял графин с кипяченой водой, один стакан, лежали неширокие короткие листы бумаги и карандаши. Занавес был уже поднят, когда они вошли на сцену. Человек со вциковским значком привычным жестом отодвинул центральное дубовое барское кресло и, держась за его спинку, объявил:

— Товарищи, вечер рабочей критики в нашем клубе объявляю открытым.

Он неторопливо сел и сразу начал что-то писать. В желтом зрительном зале шумливо усаживались люди. В первых рядах визгливо заплакал ребенок. Потный, совсем обескураженный библиотекарь пригнулся к Ярославцеву и жарким шопотом сообщил:

— Семьсот человек по подсчету контроля. Пьяных не обнаружено.

Ярославцев выпрямился, сел тверже на стуле и напряженно стал всматриваться в зал. Он всегда заявлял друзьям—и не хвастал,— что не любит выступлений с чтением своих произведений, но никогда их не боится. Все же каждый раз, когда он выходил на освещенное возвышенное пространство над толпой, неразличимой сразу, но жи-

вой массой зрительного зала, холодок ежил кожу у него на спине. Неровно, взметами билось сердце, потели ладони рук. И в то же время особая уверенность, как в ощущении счастья, поднимала его голос и взбадривала кровь.

Председатель пописал, подождал, чтоб утихли в зале, встал и тем же привычным громким голосом без модуляций, гладкими, незапоминающимися фразами сообщил о значении вечеров рабочей критики. Переведя дух, он возгласил:

— Слово о современной советской литературе, в частности о писателе Ярославцеве и поэтах Бездомном, Можарове и Кранц, предоставляется товарищу Карягину. Товарищи, подавайте записки с вопросами и с вашей критикой, желающие говорить, записывайтесь во время речей тоже записками, после них можно вслух. Потом будут прения.

Карягин встал, поглаживая затылок, строя наивные смешные гримасы. В зале послышался сдержанный смех. Карягин осклабился в ответ. Это была его обычная и почти всегда хорошо принимаемая дурашливая манера выступления перед рабочей аудиторией. Он встал у кафедры, пошмыгал носом, заново широко усмехнулся и начал:

— Товарищи! Мы—рабочие критики, не Айхенвальды какие-нибудь, то-есть вообще не буржуазные многодумцы...

Председатель, опять строчивший тезисы к своему имеющему быть завтра докладу, не поднимая головы, крикнул:

— Товарищи, в зале курить нельзя. Извиняюсь, товарищ Карягин, продолжайте.

Ярославцев, прикрыв ладонью глаза, напряженно всматривался в зрительный зал. Он искал лица, которые должен был увидеть для сродства с этим залом. И, как всегда, сначала запомнились глухие, без отклика. Пожилая женщина в пуховом платке что-то жевала и озиралась по сторонам. Безусый хлипкий парнишка низко наклонился над толстенькой девушкой с подстриженной чолкой. Она смотрела на него кокетливо исподлобья и ежилась. Два немолодых интеллигента поочередно тихонько переговаривались, приставив ладони к губам. В третьем ряду дремал, то сникая на грудь головой, то резко выпрямляясь, седой мужчина в рабочей блузе. У Ярославцева захолонуло сердце. Ему сейчас не надо было ни Ирины, ни другой женщины, даже страстно любимой, ни обеспечения, ни дружбы, никакого стороннего счастья кроме вниманья и доверья этих неизвестных людей, собравшихся в зале. Он мучился тем, что из этой толпы его никто не ищет глазами, никто не ждет нетерпеливо, никто о нем не думает, наверное, даже его не знает, а главное, не хочет узнать. Вот из-за этих мучительных минут глухого равнодушия живого, реализованного читателя он и не любил, действительно, публичных выступлений. Он не боялся, как избалованный в чистую подсудимый, которому уже нечего скрывать, не боится суда, но он так же тайно, бессознательно мучился пыткой надежды на оправданье. Именно потому, что

литература была его ставкой на жизнь, хотя он всегда это отрицал, он не мог с легким сердцем читать публично свои произведения. Вдруг в первом, яснее видном ряду он поймал дружелюбный внимательный взгляд бритолицего человека в военной шинели. Потом, — может быть, ему, взбодрившемуся, уже чудилось, — то здесь, то там он отмечал напряженное внимание к Карягину, к нему, ко всем, поднятым на просмотр над зрительным залом. Карягин, часто прикрываемый доброжелательным смехом, кончил речь. Ему шумно и долго аплодировали. Откуда-то издали мальчишечий голос крикнул: «Браво! Бис!» Председатель взглянул на часы, вздохнул и невесело возвестил:

— Слово для чтения собственного произведения предоставляет товарищу Ярославцеву.

В зале дружно зааплодировали, но Ярославцеву хлопки показались отрывочными, случайными. Он усмехнулся, неторопливо достал из портфеля книжку и подошел к кафедре. В зале снова зааплодировали. Он высоко приподнял лицо. Теперь ему казалось, что хлопают иронически, чтоб затянуть перерыв между двумя выступлениями. Читал он привычно вятно и громко, но ему представлялось тихо. Он не слышал своего голоса, зато каждое покашливанье, одинокий мгновенный шопот казался ему многочисленным и непрерывным.

После перерыва, затянувшегося вместо десяти на сорок минут, началось обсужденье. Начали с Ярославцева. Он сидел с равнодушным скучающим лицом. Не притворялся, просто устал волноваться и успокоился. Первым сразбегу вскочил на сцену без лесенки черноглазый легкий юноша. Засунув руки в карманы, он расхаживал по сцене, старался говорить степенно и басовито, но голос его то и дело становился высоким и звонким.

— Товарищи. Коммунистическая партия через Октябрьскую революцию указала нам путь. Это есть путь научного марксизма...

Он долго говорил вступление. Председатель прервал его.

— Товарищ, ваше время истекает.

Он снисходительно оглянулся на президиум, приподнял брови.

— Да! Очень трудно в такое маленькое время, ну, сейчас кончу. Товарищ Ярославцев, конечно, попутчик, но все норовит свернуть в сторону. Заметьте, товарищи, у него про революцию как-то незаметно. Потом названья улиц московских старые. Потом старик Величкин у него про бога ни к чему все загибает, такой, сякой, да милостивый, да поможет. Мы с вами знаем теперь все дословно про бога, нет его, и крышка! Потом насчет партизана голословно пересолил. Таких партизан не бывает, чтоб на эдаких шикарных штучках женились, да еще им поддавались... Извиняюсь, товарищи, наши партизаны некоторые теперь...

Председатель безучастным тоном перебил:

— Товарищ Шилин, ваше время истекло.

— Да? В общем и целом надо товарищу Ярославцеву выправить классовую линию и вообще заняться рабочим бытом и правильно

осветить, а то хоть попутчик, а есть в нем некоторое сомнение. Я кончил.

Говорили охотно. На сцене быстро сменялись мужчины пожилые, молодые и подростки. Большинство из них хвалило Ярославцева то тепло и просто, то претенциозно и непонятно за что. Вдруг председатель заинтересованным взвеселевшим голосом объявил:

— Слово товарищу Карповой. Наконец, женщина заговорила. Товарищи женщины, высказывайтесь, не отставайте. Товарищ Карпова, пожалуйста на сцену.

Женский, очень смущенный, прерывающийся голос из глубины зала ответил:

— Нет, уж разрешите, я с места, я туда не пойду. Я буду громко, всем будет слышать.

Председатель попробовал настоять на обычном порядке выступлений, потом уступил. Ярославцев усиленно рассматривал лицо стоящей в дальнем ряду женщины. Но оно смутно белело в полумраке. Он разглядел только гладко причесанную нестриженную голову. Голос был молодой и звонкий.

— Товарищи, что я хочу сказать. Конечно, может быть, неприлично при самом писателе, ну только очень скучно читать. Вот как возьмешь из библиотеки старого писателя, Тургенева, например, Достоевского или Потапенко, даже если иностранного какого, так интересно. Про всю жизнь описано, а тут что-то мелькнет, а дальше непонятно, почему он такой-сякой. Вот у него Люба свободная женщина, будто бы передовая. А что же, если мужчин меняет, так это и раньше было. Какая тут больно передовая. Про такую и в старой литературе есть. Потом очень уж откровенно выражается, это тоже надоедает. Что же всякую пакость выписывать. По-моему, надо писать интересно и повежливей. Вот. Все.

Ей хлопали долго и громко. Поднялся на сцену отмеченный Ярославцевым еще в рядах бритолицый человек в шинели. Ярославцев обрадовался ему, как родному.

Он начал не сразу, подумал, вздохнул, потом, четко выговаривая слова, сказал:

— Товарищи, вот здесь было сказано, что неинтересно читать. К сожаленью, правильно было сказано. Но не потому неинтересно, что не размазано, не растянуто. А вот почему, — по одной все линии вытянуто. Красный цвет, товарищи, он, ведь, никогда не бывает на чисто красный. В нем и желтинка есть и затемнение. Я, товарищи, металист. Так вот на что крепкая вещь сталь, и та сдает, брак-то бывает. Конечно, многое надо отнести в этом браке за счет рук человеческих. Ну, а сам человек? Давайте отнесем за счет общественных условий или нездоровья, ну, мало ли объяснительных причин. Да ведь важно, что живого человека без изъяна нет. И неинтересно читать про человека без задоринки, который не сомневается, а если сомневается, так на скорую руку, безвредно.

Ярославцев вдруг вспомнил, как однажды Ирина ему сказала:

— Пускай Дмитрий у тебя в лес, что ли, пойдет. Чтобы один побыл и подумал. Очень хорошо написано, только почему-то они у тебя никогда одни не остаются и не думают.

Он поник головой, перестал слышать человека в шинели. После него многие защищали и хвалили Ярославцева, он и этого не слышал. Слышал, как дружно засмеялись на слова молоденькой девушки в красном платочке:

— Все мне нравится, а вот Люба в прочитанном рассказе не нравится. Вульгарная какая-то женщина. Но я думаю, что потому она так выведена, что в гимназии училась.

И слова девушки и смех Ярославцев услышал, но сейчас же забыл. С ним творилось что-то странное. Сердце забилось неровно, с натугой, словно в биении зацеплялось за какую-то помеху. Глаза то видели, то вдруг их застилала мельтешащая мириадами блесков темнота. Председатель вторично уже с недоумением окликнул его:

— Товарищ Ярославцев, ваше заключительное слово.

Ярославцев тяжело поднялся и неверными шаркающими шагами подошел к кафедре. Он посмотрел в зал мутным взглядом и глухо выговорил:

— Товарищи. Я ничего не могу... Я заболел.

В зале зашептались, загудели, тоненько хихикнула женщина в первом ряду. Ярославцев пошатнулся, положил руки на кафедру и медленно опустил на них голову. Сзади его подхватили чьи-то руки. Он услышал многоголосый шум, отдельные выкрики:

— Доктора!

— Это что такое? Что, что это с ним?

— Да, может, он пьяный! Понюхай его.

Дальше начались мучительные схватки в сердце. Оно то замирало до ощущения небытия, то всполошно стучало. Его отвезли в больницу. Провожал Карягин. Доктор подробно его расспрашивал об Ярославцеве, потом сказал:

— Ну, гражданин, так пить с утра до ночи и с ночи до утра, так не припадка сердечного надо ждать, а полного отравленья. Смерти.

VII

Из больницы домой везла Ярославцева Ирина. Он был бледен, измучен, но спокоен. Непривычно кроткий рассудительный его голос заставлял Ирину сильно страдать. Она бы предпочла самую бешеную вспышку. Возвратившись домой, он спал целыми днями, сильно обрюзг и постарел. Порой она со слезами думала, что надо принести ему вина, пусть напьется, но только бы ожил, шумел, волновался. Он не просил ни водки, ни вина, как-будто даже не жаждал привычного алкогольного возбужденья. А она боялась и не знала, что ей делать. Подчи-

ниться докторскому запрещению «ни в каком случае ни рюмки» или послушаться Карягина. Он уверял:

— Если человек долго пил и запоем, то ему нельзя сразу обрывать. Надо постепенно. Уж поверьте мне. Я знаю случаи, когда от такого резкого обрыванья человек умер.

Мучимая страхом за жизнь мужа, Ирина как-то странно сразу утратила веру в точность знания. Как ее бабушка и прабабушка в испуге за жизнь дорогого существа утрачивали надежду на реальную помощь, молили и ждали мистической помощи, милосердия откуда-то из недр непознаваемого, она готова была обратиться к знахарям, к молитве. Как же быть, если доктора не помогают? Ходила она к знаменитому невропатологу. Большеглазый коротенький человек долго с ней беседовал. В заключение сказал:

— Картина ясная. Резкое понижение интеллекта на почве алкоголизма. Понимаете, разложение личности. Надо лечить. Можно попробовать гипнозом.

Ничего она не понимала или все перестала понимать, кроме желанья спасти, поднять мужа. Пойти к невропатологу Ярославцев отказался. Отказ свой повторял вяло, но неуклонно. Ирина боялась его оставлять одного. Уходила только, когда он спал теперешним своим длительным глухим сном. Уходя, запирала его на ключ. Однажды он робким голосом попросил:

— Не сторожи меня, Ирина. Тяжело, как в психиатрической больнице. Дай мне побыть на свободе, я еще не сумасшедший.

Ирина с плачем кинулась ему на шею, целовала со страстной тоской его тусклые глаза, волосы, в которых пробились седина, руки с приметно трясушимися пальцами.

— Милый мой... Любимый, все, что хочешь, только выздоравливай... Мальчик мой, не говори только таким неживым голосом.

Он бледно улыбнулся.

— Хорош мальчик. Старик я, смешная ты, Ира.

Она была счастлива этой тенью усмешки на его лице, ожила, щеки ее заалели, засияли глаза. Сжимая его руки, она радостно повторяла:

— Я уйду сейчас, уйду. Побудь один. Как хочешь, я так и сделаю.

Он нерешительно протянул:

— Я пойду, я давно на улице не был. Ты не беспокойся, я скоро вернусь.

— Вася, а как же ты один? Сможешь по улице итти один, а?

Он покачал головой.

— Ира, я ведь только утомлен. Я здоров, я не безумный, не идиот. Ты не ходи, не следи за мной, а то я боюсь. Правда, начинаю чувствовать себя лишенным разума.

— Вася, миленький, что ты, да разве я когда-нибудь... Вася! Но если я беспокоюсь.

— Я скоро вернусь, честное слово. И вернусь благополучно, не напьюсь. Еще ведь есть у меня честное слово, да?

— Васенька! Я ни на минуту не усомнилась... Вот, вот мне нечем клясться кроме тебя... Я ни на один миг не сомневаюсь, даже в тайных помыслах, в том, что ты талантливый, умный, как прежде. Ты только очень сильно прихворнул.

Он прикоснулся холодными неприятными губами к ее лбу и неторопливо стал одеваться. Она следила за ним. Тревога и недоверье терзали ее, но она чувала, что нельзя ему противоречить. Может быть, это ею выстраданное его, Васиного, спасенье. Может быть, да! Это оно.

Она проводила мужа до двери, крепко пожала ему руку.

— Погуляй и повеселей. Я чувствую, что ты уже здоров.

Прошло с полчаса после его ухода, как вдруг ее затомила тоска. Невропатолог говорил: разложение личности. Ну, он дал честное слово, а вдруг он уже неответственен ни за слово, ни за поступки. Как можно было так рискнуть? Она в смятении небрежно, неряшливо одевалась и думала:

— Если б знать, что его так поразило? Карягин сначала сказал, что раскритиковали на вечере. Потом сам же, и безусловно искренне, отказался от этого предположенья. Критиковали слабо, больше хвалили. В статьях разве так ругали...

И сам Ярославцев подробно, обстоятельно рассказал ей в больнице о своем выступлении. Совершенно спокойно. Да и вообще из-за литературной критики разве кто-нибудь заболел душевным недугом? Нет, нет, чепуха. Алкоголь... Но сейчас он не пьет, и что же? Не сразу, конечно, не сразу... Куда он мог уйти? Скорей, скорей!

Она чуть не упала на лестнице, плохо ощущая ногами ступени. Выбежала на улицу. Конечно, нет! Ах, эта слюнявая щепетильность! Надо было немедленно кинуться следом за ним! Она, сгорбившись, вернулась домой.

Ярославцев доехал на трамвае до Чистых Прудов. Поблизости жил Карягин. Но идти к нему Ярославцев вдруг раздумал. Пошел по бульвару. Был конец марта. Пахло талым снегом и взопревшей под ним землей. В воздухе, свежем и влажном, распрямившиеся, еще голенькие ветви деревьев выглядели наивно и беззащитно. Ярославцев с глубоким наслаждением вдохнул запах таянья, российского марта и присел на скамейку. Хорошо! О чем он думал? Это было что-то сложное, но не мучительное. Без всякой связи с прерванными мыслями он вдруг вспомнил картинку прошлого, детства. Отец, зажиточный крестьянин, привез его, единственного сына, в город готовиться к поступлению в реальное училище. Отдал он его «на хлебы» к учителю... Как его фамилия? Ах, да, Пантелеев. У него во дворе был садик, а за разлапистым кустом сирени тесовая чистенькая уборная. Вот почему-то сейчас вспомнилось: сидит он там, сквозь щели расползаются играющие солнечные зайчики. Дурного запаха не слышно. Его заглушает сирень и сосновые ароматы слезы на стенах маленького помещеньица. И очень хорошо: веселый свет, сирень. И мальчишка сидит и радуется и облегченному желудку и всему ласковому миру.

Ярославцев улыбнулся мечтательно и замедленно. Но почему это он вспомнил? Ах, да! Запахи земли. Вот в чем дело. Первые его, писателя Ярославцева, произведения была отмечены большой плотской радостью бытия. Плодоносящая, плотная, как грудастая кормилица с бездумным маленьким лбом и прекрасным кровообращением, земля была опорой, основой их всех. Его изображения людей, природы, событий, исторических и отдельных, частных, из личной жизни героев, лишенные прозрений и ослеплений, стояли на грани тупости. Да, тупости. Но их спасало победоносное, торжествующее здоровье. Читатели обрадованно приняли отплеск животной здоровой бодрости. В этих книгах революция, разящая побежденных зачастую с омерзительной жестокостью, была не страшней, чем динамитный взрыв, необходимый для прокладки новых рельс через горы и доли страны. Ну, что ж, он взорвал лесистые склоны и загубил тысячи тварей, в лесах обитавших, так надо для утвержденья новых путей. Если б Ярославцев раньше встретил Митяшина, он был бы рад и творчески полон, а теперь Митяшин с его полезностью не удовлетворил его, вызвал, повидимому, смутное недоверие. Работа Ярославцева в прошлом не была ни бесчестной, ни лживой. Нет, нет. Но, положившись на одну плотскую силу здоровья, для себя лично, как творца культурных ценностей, он избрал опаснейший путь. Вот теперь погибает. Тот, кто взялся творить, воссоздавать жизнь, не может воспроизводить только шаг победителя, хотя бы его победа была самой существенной, разумной и непреложной в свете истории науки и жизни. Победителя не судят, это выдумал раб. А друг, собрат, соплеменник, ровесник обязан судить именно победителя. И дело не в самом суде, а в профессии. Творец воссоздания текущей жизни в застывших на многолетье художественных страницах не смеет отделять жизнь здоровой торжествующей плоти от жизни того, что одни определяют словом дух или мозг, нервы, смотря на умонастроенью. Можно сказать так: жизнь тела и того, чему еще нет такого определенного названья, как, например, олеум рицини. Так вот: нельзя расчленять здоровую плоть и дух. Вот Ирина написала ему, мужу: «слишком здоров». Она просто-душно уязвила его в открытую уже рану. Работа совести всегда болезненна. И опять не в том дело! Человек интеллигентного труда должен быть слит с общественностью. А у него ее нет, этой осязаемой, как родство, общественности. Его работа сейчас в отделе излишков, но не сущности. Если рассуждать только в интересах злободневной пользы, то его, Ярославцева, роль ясна. Он может взять героем Митяшина. Он делает реальное, большое дело. Но в писательском утвержденьи эпохи Митяшинных недостаточно. Ах, многоперстое это существо — жизнь! Он считал, что Ирина ушла от него с пошлым истерическим криком, а по существу она была права. И крики ее — отображенье трагедии, а не веселенького водевиля. Жизнь двулика, двустрастна, и творцу, воссоздающему ее, нельзя быть одноглазым. Ярославцев поднялся с заминкой со скамьи.

— А вернее всего, что я болен, схожу с ума. А зачем домой? А-а, честное слово.

Ярославцев вернулся истомленным и печальным. Но, встретив его, Ирина скрестила руки на груди и облегченно вздохнула. Он долго разбирал бумаги в своем столе. Взял какой-то клочек и задумался над ним.

Заполночь сон Ирины стал тревожным, потом мучительным. Она со стоном открыла глаза. В раме освобожденного от замазки раскрытого окна стоял Василий. Она дико вскрикнула и немедленно, тут же, Ярославцев метнулся в пролет окна. Последние слова, которые он осознал в предсмертном пробуждении, были выкрики Ирины:

— Что же ты наделал? Что же это ты...

Он перестал слышать, закрыл глаза и умер.

На его письменном столе Ирина нашла записку:

«Родная моя Ира, прости меня. Я не могу больше быть и тебе и себе в тягость.

Василий».

А под ней вырванный из письма клочек: «Могу тебе сообщить, Вася, что видел я в Ерофеевке твою родительницу. Она мне рассказала, что гостила у тебя нынешней осенью, и много радовалась на твою теперешнюю жизнь. Лицо ее во время этого рассказа то и дело орошалось обильными слезами, но текли они исключительно от приятного волнения радости. Говорила она, что и в снах не видывала, что из села Ерофеевского в далекой Сибири, где одно протяжение — Лена, доберешься ты до проживания в Москве, в центре нашей культурной и государственной жизни. И я, твой друг детства, Венька Моргунов, тоже искренне за тебя порадовался».

В заштатном городе

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ

В деревянном городе
с крышами зелеными,
Где зимой и летом
улицы глухи,
Девушки читают
выцветшие «рôманы»
И хранят в альбомах
нежные стихи.

Украшают волосы
молодыми ветками
И на восемнадцатом году
Скромными записками,
томными секретками
Назначают встречи
вгородском саду.

И, до слов таинственных охочие,
О кудрях мечтая золотых,
После каждой фразы
ставят многоточия
И совсем не ставят
запятых.

И в ответ на письма,
на тоску сердечную
И навстречу сумеркам
и тишине

Звякнет мандолиной
сторона Заречная,
Затанцуют звуки
на густой струне...

Небеса над линией —
чистые и синие,
В озере за мельницей —
теплая вода...
И стоят над озером,
и бредут по линии,
Где проходят скорые
поезда.

Поезда напоминают
светлыми вагонами,
Яркими квадратами
бемского стекла,
Что за километрами
да за перегонами
Есть совсем другие
люди и дела.

Там плывут над городом
фонари янтарные
И похож на музыку
рассвет...
И грустят на линии
девушки кустарные,
Девушки заштатные
в восемнадцать лет.



Крымская коллекция

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

I.-СЕВАСТОПОЛЬ.

Он в Евпатории — золотой,
В Алушке сизый, в Алуште рыжий,
В Гурзуфе лилово-густой,
В Ялте лиловый пожиже.

Но в Севастополе даже загар
Сер, как серы его броненосцы:
Целыми днями — гарь,
Огонь по ночам проносится.

Пьешь ли кондитерский оранжад,
Фланируешь ли с телефонной барышней, —
Бьют орудийные башни,
Акулы в небе жужжат.

И в мирной прохладе меж кедром и пихтой
Вдруг будоражит могильный стон:
«Здесь был 7-й бастион»,
«Здесь была батарея таких-то».

И Севастополь хозяйственно копит
Каждой пули музейный опыт:
Он бронелитен, вмурован, клькаст,
Он по команде: в бой! — раз-два —
В дым взорвется, но не отдаст
Самого мирного государства.

II. ФОРОС

Сквозь лавр и тамариски
Меж восковых магнолий
Внизу летают брызги.
То чайки или море?
Внизу летают бризы;
Но гноем тлеет ладан...

То пахнут кипарисы?..
 Иль это стиль укладки?
 Вот эти канарейки .
 Под куполом на рейке?
 Вот эти стаи зыбкие
 Золотой рыбки?
 Иль это пахнут будни .
 Казненного века,
 Их поступи, опутанные
 Паутиной веток;
 Их голоса, застрявшие
 По готикам ущелий,
 Знамен былых ржавщина,
 Вмурованная в щели.

III. СИМЕИЗ

Щелбня скрежет и ропот.
 Белых гребней разбег.
 Игрушечною Европою
 Раскинулся проспект,
 Где под небесной замшей
 На сотую долю версты —
 Каралловые замки,
 Сахарные дворцы.
 Но это только видится —
 Здесь море и высь,
 И крымским сфинксом выставлена,
 Ветром пересвистана
 Огромная пятнистая
 Каменная Рысь.

IV. АЛУПКА

Ай-Петри и ковыль
 Окрестности

В аллее

Мраморные львы,
 Играющие евреев;

В парке сосна,
 корабельная, статная,
 В сердце пронзена
 Какою-то датой.

«Здесь были Сосина
 И Петя Маркин» —
 Говорит сосна
 В черном парке.

О ты, о Сосина,
И Маркин Петя!
Вас, видимо, от сна
Воззвал Ай-Петри.

Он вдунул на ветру
Бактерию на подвиг!
На творчество! На труд!
И вот вы, вот вы...

Года наперечет:
Пройдут и нет их.
Придет и ваш черед...
Исчезнуть в недрах...

Придет пора менять
Грим человечесий, —
Но ваши имена
Пребудут вечны!

Но ваши имена
Прочней, чем сутки,
Многообразны, как гимнаст,
Бессмертны, точно Уткин,

Бессмертны до тех пор, —
Пока в лице нерв,
Покуда будет нужен спорт
Революционеров.

V. ЯЛТА

В номере сорок четыре
Шагаю туда и обратно.
Что-то взгрустнулось. В обоях дыря.
Стол неопрятный.
Чайник.

Океанские пароходы,
Стерильные, как палата,
Как белое облако, плавно подходят
За кормом и платой,
Как чайки.

В окно видны афиши
С именами балетных граций.
Внизу чадят шашлыки, а выше
Дымятся, курятся
Горы.

Раскуривайтесь, великаны!
Здесь внизу еще лето...

А там уже осень в запевшем камне,
Фиолетовая,
Фантасмагорья.

В такое время года
Сам самовар пузатый
Хотел бы быть большим парходом,
А если нельзя, то
Чайкой.

А я? Не того ли жажду?
И, пожав ему правую ручку,
Сажусь и, снявши его старушку,
Пою свою жажду
Чаем...

Наука и жизнь

ПУТЬ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ

Г. Фурман

Антиалкогольное движение в СССР—одно из самых молодых общественных движений. Оно возникло полтора года назад и совершенно стихийно выросло в мощную организацию, насчитывающую свыше 200 филиалов, охватывающих своим влиянием 250 тыс. человек. Это движение питалось не циркулярами из центра,—центр зачастую отставал от периферии,—а основывалось на жизненной необходимости вести упорную борьбу с алкоголизмом. В значительной своей части антиалкогольное движение захватило фабрично-заводские предприятия, оставляя в стороне советские учреждения. По своему составу ячейки о-ва борьбы с алкоголизмом на местах,—сплошь пролетарские.

В своей массе кадры ячеек и обществ составляют главным образом рабочие, при чем это рабочие квалифицированные, с одной стороны, и зрелые, по возрастному признаку — с другой. Антиалкогольное движение в СССР надо признать как «выражение здоровой тревоги основного кадра рабочих», которые пришли к выводу о необходимости ликвидировать развитие алкоголизма. Опираясь на этот основной кадр, ячейки и общества строили и развивали свою работу на местах. Там работа шла самобытным порядком, изыскивались способы и методы, до многого доходили «своим умом» и опытом, по своему разумению обходили «скользкие места», боролись с препятствиями, равнодушием окружаю-

щих организаций, профсоюзов и хозяйственников.

Бывало и так, что образовавшаяся ячейка создавала свой кадр активистов, приучала их к работе, а потом местком или какая-либо другая из общественных организаций отвлекала этот кадр на свою, более широкую и живую работу. Вопрос о кадрах—один из наиболее существенных вопросов в деле развития деятельности противоалкогольных обществ, несмотря на то, что наряду с основной массой рабочих в ячейках принимают заметное участие женщины—домашние хозяйки и дети.

Как и в каждом движении, в антиалкогольном имеется в наличии необходимость проводить кропотливую, мало заметную на первый взгляд работу. Речь идет об обследовании быта алкоголиков, об установлении связи между диспансером и семьей алкоголика и т. д. Эту хлопотливую и чрезвычайно важную работу с успехом выполняют кадры обследовательниц. Они увязывают наркиспансеры и ячейки общества тысячами связей с бытом городских окраинных, промышленных районов. Их работа не поддается учету, она скрупулезна в отдельности и значительна в совокупности. Участие детей в антиалкогольном движении не прошло незамеченным советской общественностью. Наша печать живо реагировала на детские антиалкогольные манифестации, проведенные в ряде городов; печать отмечала

рост детского движения за трезвость. Дети несли в семью зачатки трезвой жизни, влияли на родителей и т. д.

Таким образом, движение за трезвость, несмотря на свою «молодость», захватило не только рабочих, но и их семьи: рядом с квалифицированными рабочими в этом движении участвует и домашняя хозяйка и подрастающее поколение.

* * *

Что мешает развитию антиалкогольного движения?

Прежде всего равнодушие окружающих организаций, и профсоюзных в первую очередь. На недавнем всесоюзном пленуме общества борьбы с алкоголизмом делегаты почти в один голос указывали, что профсоюзы не только не помогают трезвенному движению, но зачастую даже мешают и препятствуют проводимой работе. Как общее правило, профсоюзы и их низовые ячейки делают вид, что антиалкогольное движение их не касается. Об образовании ячейки общества они узнают едва ли не последними. Так было в Ашхабаде, Калуге, на Украине, в ряде других мест. Так дело происходит и в Москве, где медсантруд пожертвовал «от щедрот своих» пятьдесят рублей в виде вступительного взноса в юридические члены общества. Если в центре профсоюзная организация вносит 50 рублей, то на местах просто не оказывается «свободных» денег. Дело доходит до курьезов, когда профсоюзы заявляют, что вступить юридическим членом они, пожалуй, и вступят, но «насчет взносов ничего не могут сделать, за отсутствием кредитов на этот предмет».

Хозяевам ситуации за редким случаем полностью придерживаются той же точки зрения: «Я не я, и лошадь не моя». В значительном количестве случаев ячейки и общества на местах предоставлены самим себе, средств на работу ниоткуда не получают и немалую долю своей энергии должны тратить на преодоление профности и инертности близстоящих профсоюзных организаций и хозяйственных учреждений. Только этим и объясняется,

что у местных ячеек денежные средства насчитываются в размере... 93 коп. (Ашхабад), что все они нуждаются в материальной поддержке центра (Ленинград, Украина, Калуга и т. д.).

Значительно хуже бывает, когда та или иная организация на словах обещает золотые горы, а на деле ничего не дает. Так было в Туркменистане, где съезд здравотделов вынес ряд чрезвычайно благожелательных резолюций, а на деле к вечеру того же дня часть делегатов съезда была пьяной. Можно ли рассчитывать на осуществление какой бы то ни было программы от людей, у которых слово расходится с делом?

Равнодушие профсоюзных организаций к антиалкогольному движению являлось уже темой специального письма ВЦСПС к периферическим органам. Как видно, циркуляр до последнего времени не оказал еще влияния на изменение этого отношения профсоюзов. Правда, под напором общественности профсоюзы кое-где, в очень редких случаях, начинают менять свое отношение к этому вопросу. Там, где рабочая общественность буквально тычет в нос профсоюзным организациям результаты отрезвления рабочих,—уменьшение прогулов, излечение алкоголиков, повышение производительности,—там профсоюзы снисходят к этому движению, ассигновывают средства на культуру и заинтересовываются этим движением. К сожалению, немногие делегаты пленума могли похвалиться таким единодушием профсоюзов с обществом борьбы с алкоголизмом.

* * *

Если взглянуть в суть вопроса, почему профсоюзная общественность равнодушна к антиалкогольному движению, то приходишь к выводу, что корень в неправильном освещении размеров алкоголизации населения. Существует взгляд, что в СССР в последние годы пьют меньше, чем в царское время. Если это так, то размеры алкоголизма, стало быть, не внушают опасений, и весь шум поднят вокруг этого вопроса совершенно зря.

Ошибочность такого оптимизма заключается в том, что в этом случае размер довоенного выпуска водки в царской России (104 млн. ведер, 1.279 млн. литров) сравнивается с нынешним выпуском водки (42 млн. ведер, 516 млн. литров). Сопоставление этих двух величин говорит, что в настоящее время в СССР выпускается только 40 проц. довоенного потребления водки. Здесь совершенно очевидно допущены две ошибки: во-первых, территория СССР не равна б. царской империи, а во-вторых, в царской империи не был в употреблении самогон, размер которого существенным образом увеличивает потребление алкогольных напитков. По данным Госплана СССР потребление водки до войны в 1913 г. на нынешней территории СССР составлял 88,5 млн. ведер, 1.088 млн. литров. К цифре современного потребления водки (516 млн. литров) надо прибавить то количество самогона, которое изготавливается в деревне. По обследованию ЦСУ, в РСФСР в 1927—1928 г. было потреблено 600 млн. литров самогона, на Украине и в Белоруссии не менее 180—240 млн. литров. Общее же количество по всему СССР доходит до 800 млн. литров, что вместе с потреблением 40° водки дает 1.880 млн. литров сорокаградусного напитка (на 25 проц. больше довоенного).

Говорить после этого о незначительном размере алкоголизма в СССР вовсе не приходится, тем более, что есть показатели об усилении потребления на отдельных участках, главным образом в деревне. По данным последнего отчетного 1927/28 г. потребление в деревнях достигло 150 проц. довоенного потребления, при чем рост этого потребления шел главным образом за счет развития самогонварения. Если в 1913 г. на территории СССР было продано в деревнях 720 млн. литров водки, то в 1927/28 г. водки было продано 306 млн. литров и самогона около 768 млн. литров. Самогонварение характеризуется в последнее пятилетие своим непрерывным ростом. Если при введении в продажу водки потребление самогона достигало 480 млн. литров, то в 1927/28 г. оно колеблется от

780 до 840 млн. литров. Эти цифры с достаточной ясностью определяют размеры алкоголизации населения в СССР. Значит та тревога рабочего класса, о которой говорилось выше, не была необоснованной. Больше того, она была своевременна, и совершенно неслучайно, что общество борьбы с алкоголизмом народилось в период, когда мы перешли к реконструкции, к выполнению пятилетнего плана. Перед тем как выяснить вопрос, поддается ли уменьшению этот размер алкоголизма в СССР, остановимся в частности на одной детали: насколько рентабельна вообще борьба с алкоголизмом в СССР.

* * *

Тов. Ларин определяет количество алкоголиков-рабочих, излечившихся от алкоголизма и не пьющих после излечения в течение не менее одного года, в 20.000 человек. По данным исследователей эти вновь возвращенные к производству рабочие принадлежат к квалифицированному составу пролетариата. «Это видно из того, что средняя сумма, которую они пропивали в месяц, составляла 63 руб., а общая их зарплата была почти вдвое больше. Если пьют чернорабочие, то ими на предприятия не дорожат, а квалифицированным рабочим дорожит каждое предприятие, несмотря на пристрастие рабочего к алкоголю». Среднее количество прогулов у каждого такого излечившегося алкоголика было в прошлом от 7 до 8 в месяц. Число прогулов у каждого из этих рабочих в течение года достигало до 100, что составляет для всех этих 20.000 рабочих 2 млн. прогульных дней. В последний год эти 2 млн. прогульных дня излечившиеся алкоголики работали, и государство, следовательно, имело от них значительную сумму дохода, которого раньше оно не имело.

К этим цифрам надо прибавить доход государства, полученный от общего уменьшения прогулов, тем более, что самый факт уменьшения числа прогулов отмечают и хозяйственники и профсоюзы.

Эти значительные суммы дохода, полученные государством благодаря частичному—чрезвычайно малому еще—отрезвлению рабочего класса, надо сопоставить с расходами, связанными с лечением алкоголиков. Эти расходы в последний год достигают максимально 2 млн. рублей по всему СССР, включая сюда и оборудование наркодиспансеров, и содержание врачебного персонала, и другие затраты, необходимые для лечения алкоголиков.

Вывод из этого сопоставления напрашивается сам собой: надо усилить лечение алкоголиков. Необходимо, чтобы в каждом промышленном центре, в каждом городе были устроены специальные противоалкогольные диспансеры, трудовые колонии для особо тяжелых алкоголиков, медицинские вытрезвители и т. д.

Рентабельность антиалкогольного движения совершенно очевидна, и надо во что бы то ни стало всемерно развивать лечение алкоголиков.

* * *

Пятилетний план уделил внимание и антиалкогольной проблеме. Характерно, что еще не так давно планирующие органы проектировали рост реализации алкогольных напитков. В 1929 г. Госплан предполагал довести продажу хлебного вина в 1930/31 г. до 836 млн. литров. Развитие винокуренной и пивоваренной промышленности по этому первоначальному плану намечалось в темпе, одинаковом с остальными видами промышленности. Свои позиции Госплан сдал не сразу. Специально образованная комиссия пришла к выводу, что при доходе государственного бюджета от акцизов на спиртные напитки в размере около 900 млн. рублей убытки государства можно считать приблизительно равными цифре в 1.270.000.000 рублей, как это определяет в своих подсчетах тов. Дейчман. На основании этих цифр комиссия выдвинула следующее положение: «Доход от спиртных напитков не может в перспективе представлять для государства с народнохозяйственной точки зрения сколько-нибудь эффективного источника накопления».

Госплан СССР принял два варианта реализации хлебного вина (в млн. литр.):

По отправному варианту:

	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
В городах.	215,3	190,7	166,1	141,5	116,9
В сел. местн.	350,6	350,6	350,6	362,9	375,2
Всего	565,9	541,3	516,7	504,4	492,1

По оптимальному варианту:

	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
В городах.	215,3	190,7	153,8	116,9	79,9
В сел. местн.	350,6	350,6	350,6	350,6	350,6
Всего	565,9	541,3	504,4	467,5	430,5

В конечном результате воздействия общественности на планирующие органы пятилетка реализации хлебного вина была принята в следующих цифрах:

В городах.	178,4	153,8	141,5	116,9	79,9
В сел. местн.	350,6	350,6	338,3	301,3	289,2
Всего	529,0	504,4	479,8	418,2	369,1

Это значительное снижение потребления станет еще более показательным, если примем во внимание естественный прирост населения. Так как в течение пятилетки количество населения в СССР увеличится на 20 млн. человек, то душевое потребление хлебного вина сократится в 1932/33 г. на 70 проц.

При всем крупном достижении в области свертывания реализации хлебного вина надо указать, что в отношении деревни этот план страдает значительным дефектом. В деревне свертывание реализации идет в замедленном темпе (350,6 млн. литров для 1929/30 г. и 289,2 млн. литров для 1932/33 г.). Такое планирование для деревни вызывалось наличием в ней в широких размерах самогонварения.

В отношении потребления других алкогольных напитков пятилетка наметила план, который выражается следующим образом:

Для потребления пива:

В млн. литров	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
	381,4	344,5	319,9	295,3	270,7

Что касается вина, то его потребление не должно по пятилетке превышать 6 млн. литров. Относительно самогона предполагается, что цифра в 780 млн. литров будет стабильной. В частности в отношении последнего напитка пяти-

летка допустила очевидное преувеличение потребления. Если принять во внимание, что к концу пятилетки около 40 проц. товарного хлеба будет производиться совхозами и колхозами, то станет понятно, почему производство самогона должно само собой уменьшиться. Коллективные хозяйства в меньшей степени заинтересованы в затратах хлеба на самогон, чем отдельные держатели зерна. Кроме того необходимо учесть рост городского спроса на более дорогую продукцию сельского хозяйства (масло, птица, яйца, свинина, телятина и т. д.), на переработку в которую назначать зерно выгоднее, чем на продажу его в качестве хлеба. Все это вместе взятое уменьшает притягательную силу превращения зерна в самогон.

Составленный таким образом пятилетний план потребления алкогольных напитков, будучи вполне реальным в своей основе, выдвигает на первую очередь вопрос о замене алкогольных напитков учреждениями культурного развития и отдыха. Вместо водки и пива населению должны быть предложены мероприятия, обеспечивающие доставление радостных и приятных развлечений. В наших условиях речь может идти о радио и кино, тем более, что, судя по примеру С.-А. Соед. Штатов, запрет алкогольных напитков, проведенный там в 1919 г., вызвал необычайное и бурное развитие кинодела. Кроме кино и радио немалую роль в смысле отрезвления СССР должны сыграть избыв-читальни, клубы, дома крестьянина, библиотеки, количество которых по пятилетке должно чрезвычайно возрасти. Отметим, что «прирост сети по главным массам политпросветучреждениям предполагается: по избам — 75 проц., с доведением общего их количества в 1932/33 г. до 38.283 против 21.876 в 1927/28 г. (около 5½ изб-читален на одну волость); по библиотекам прирост на 50 проц., по клубам, народным домам и домам крестьянина на 25 процентов».

Что касается развития кинодела в СССР, то пятилетка намечает увеличение киноустановок в 562 проц. (с 8.621 в 1927/28 г. до 48.465 в 1932/33-г.).

Число кинопосещений в 1927/28 г. «определяется ориентировочно в 312 млн., чем подчеркивается на практике огромная роль кино, как одного из могущественнейших орудий воздействия на широкие массы, для которых кино в известной мере уже становится элементом их быта и одной из растущих статей бюджета времени и средств». По данным профсоюзов мы имеем за последнее время в среднем одно посещение кино на одного рабочего в месяц. Чтобы оттенить эти цифры, укажем, что в сельских местностях на 15.000 лавок Центроспирта приходится 174 киностационара и 731 кинопередвижки. При всем этом в одном только РСФСР насчитывается 50 уездных городов, 300 поселков городского типа, 2.000 крупных сельских местностей и 300 волостей, где вообще нет никаких киноустановок.

Развитие кинодела в СССР тормозится рядом причин, из которых едва ли не важнейшие отсутствие пленки и ограниченность рынка, охватываемого кинопродукцией. Вот почему пятилетка предусматривает «максимальный охват рабоче-крестьянских масс путем постройки кинотеатров в рабочих районах, развитие кинопроката в клубах и увеличение стационарок и передвижек в деревне». Роль кино в деле развития масс, осуществления задачи вытеснить водку ясна. Назначение кино: культурная работа, революционная пропаганда и воспитание трудящихся в интересах социализма. Особенно важна эта роль и это назначение кино, — наиболее массового наглядного и демократического вида зрелищ, — с точки зрения воздействия на широкие рабочие и крестьянские массы, обучения и воспитания их показом, организации и мобилизации их вокруг важнейших текущих лозунгов и задач культурной революции.

Роль радио, как средства широкой культурно-просветительной работы, так же важна, как и кино. Наша радиофикация еще очень молода (начало ее развития относится к 1924/25 г.), но за последние годы она сделала значительные, хотя и совершенно недостаточные успехи. Пятилетка отмечает, что

радио у нас подымалось и идет вперед по волне могучего культурно-просветительного и хозяйственного роста масс и развивается в полосе развертывающегося социалистического строительства и культурной революции.

При этом огромном значении радиодиффузии и радиовещания у нас ничтожна сеть радиовещательных станций, мы бедны радиоприемными аппаратами, аппаратура стоит еще очень дорого. На 1 мая 1928 г. в СССР действовало 59 (не ниже 1 квт.) радиопередающих станций с общей мощностью в 154 квт. Правда, сравнительно с предыдущим 1926/27 г. эта сеть радиопередающих станций почти удвоилась по количеству, учетверилась по своей общей мощности в киловаттах и увеличилась вдвое по средней мощности на одну передающую станцию. Тем не менее вся эта сеть характеризуется крайне слабой средней мощностью на одну станцию, станции сосредоточены с излишней скученностью в одних районах и почти отсутствуют в национальных и пограничных районах, и почти все они неудовлетворительны по своему оборудованию.

Радиоприемная сеть увеличивается быстро: если в 1925/26 г. в СССР насчитывалось 82.000 радиоприемников, то в 1926/27 г. это количество возросло до 216 тыс., в 1927/28 г.—до 326 тыс. и в 1928/29 г.—до 539,5 тыс. радиоприемников.

Слабыми местами существующей радиоприемной сети является то, что около $\frac{2}{3}$ городских радиоприемников падает на Москву и Ленинград; как в городе, так и в деревне значительная часть приемников не является достоянием рабочих квартир и малоимущих слоев деревни, большинство радиоприемников работает неудовлетворительно, аппараты дороги и т. д.

Учет всех этих обстоятельств ставит в качестве центральной задачи по пятилетке: внедрение радио «в быт широчайших масс города и деревни, сделав из него мощное орудие социалистического строительства». Пятилетка проектирует охватить радиослушанием не менее 50 проц. всех рабочих квартир

в городе (ориентировочно до 3 млн. квартир) и не менее 3 млн. крестьянских дворов. Наряду с этим к концу пятилетия проектируется охватить громкоговорящими радиоприемниками все избы-читальни, клубы, казармы, большие школы, красные уголки крупных предприятий, совхозы, крупные колхозы, народные дома и дома крестьянина, крупные советские столовые и чайные и т. д. Всего проектируется развернуть к концу пятилетия радиоприемную сеть в количестве 6 с лишним миллионов радиоприемников¹⁾, что дает по сравнению с существовавшей сетью в 1927/28 г. увеличение в 18 раз и увеличивает рост радиослушателей с 3 млн. в 1927/28 г. до 40 млн. в 1932/33 г. При этом в городе сеть радиоприемников увеличивается в 11 раз, а в деревне почти в 70 раз. На установку 6 миллионов с лишним радиоустановок проектируется до 225 тыс. ламповых громкоговорителей, из них до 125 тыс. приемников коллективного пользования в различных учреждениях и организациях.

К остальным моментам в области социально-культурного строительства, имеющим влияние на уменьшение алкоголизма и способствующим отрезвлению страны, надо отнести увеличение числа школ, ликвидацию неграмотности, увеличение роста печати, улучшение санитарно-гигиенических условий труда и быта, лечение алкоголиков и т. д.

По данным пятилетки всеобщее обучение детей должно охватить до 14.185 тыс. детей в 1932/33 г. (против 9.941 тыс. в 1927/28 г.). В течение пятилетки должна быть ликвидирована неграмотность 18 млн. чел. (из них 17 млн. приходится на деревню). Общеобразовательные курсы и школы всех типов для взрослых должны охватить 393 тыс. чел. (против 132 тыс. в 1927/28 г.), а рабочие университеты — 56.000 чел. (14.000 чел. в 1927/28 г.). Всего же, считая и воспроизводство рабо-

1) Для сравнения укажем, что в С.-А. Соед. Штатах в 1927/28 г. функционировало 6.400 тыс. радиоустановок, в Англии — 2.400 тыс., в Германии — 2.000 тыс. установок.

чей силы средней, выше средней и высшей квалификации, контингенты учащихся вырастут к концу пятилетки до 23.082 тыс. чел. (14.105 тыс. чел. в 1927/28 г.). Произведения печати будут увеличены в количестве (почти в два раза) и удешевлены по цене. При общем увеличении сети лечебных коек с 135,3 тыс. в 1927/28 г. до 490 тыс. в 1932/33 г. особенно важно увеличение числа лечебных коек для алкоголиков. Пятилетка предусматривает систему лечебно-предупредительных мер с организацией сети соответствующих учреждений — вытрезвителей, кабинетов для лечения алкоголиков, наркодиспансеров, трудовых колоний лечебно-трудового характера и коек для острых и психических больных. По одному РСФСР предусматривается открытие 800 коек для лечения остроалкогольных психозов, 900 коек в колониях для принудительного лечения алкоголиков, 800 коек в вытрезвителях и 2.500 коек для алкоголиков в психиатрических больницах.

* * *

В арсенале тех мероприятий, которыми оперируют ячейки и общества, видное место занимают запретительные мероприятия. Наше советское законодательство высказалось вполне определенно по вопросу о борьбе с алкоголизмом. Нормы закона об ограничениях алкоголизма чрезвычайно суживают время и место продажи алкоголя. Впервые эти закрепительные меры были применены почти повсеместно в майские праздники, вернее, перед этими днями. Закрытие продажи водки дало поразительные результаты.

В Донбассе обычная праздничная поножовщина и другие проявления хулиганства, эти неперемные спутники церковных праздников, были совсем незаметны.

— Мы пришли в милицию, — рассказывал делегат из Донбасса, — узнать о количестве задержанных милицией за пьянство, и нам сказали, что за праздничные дни задержанных не было.

— В дни пасхи у нас поставили работать, — доложили пленуму общества из Ив.-Вознесенска. — Вышли на рабо-

ту полной сменой, работали все как один. Не было прогульщиков, не было и пьяных.

Об этом же в один голос говорили многие делегаты пленума из разных городов СССР. «Всюду картина одинаковая: снижение прогулов в предпраздничные дни, громадное уменьшение задерживаемых пьяниц и уменьшение роста пьянства в рабочие дни. Начали несомненно оздоравливаться бытовые условия, уменьшились случаи избивения жен» и т. д. Применение запретительных мер дало некоторые перегибы и увлечения администрированием. Так, иные местные советы ушли далеко за пределы тех ограничений, которые были декретированы правительством: «устанавливалось закрытие торговли не только по праздникам и накануне их, но и на специальные двухнедельники трезвости». В других местах закрывали лавки Центроспирта в тех деревнях, где было много самогона, при чем не принимали никаких мер к прекращению самогонаварения. Бывали случаи, когда административные ограничения распространялись на те места, где перед этим не было проделано никакой общественной работы, где не было вообще даже сколько-нибудь значительного скопления рабочих».

* * *

Кроме административных ограничений ячейки общества борьбы с алкоголизмом с большим или меньшим успехом применяли и другие методы и способы для уменьшения алкоголизма.

Развитие производства безалкогольных напитков, приближение столичных театров к рабочим районам остальных частей СССР, удешевление книги, — вот некоторые мероприятия, которыми будет оперировать общество. К ним надо прибавить усиление антиалкогольного просвещения в школах первой и второй ступени, включения в программу клубной работы вопросов борьбы с алкоголизмом, усиление театрального репертуара соответствующими постановками на антиалкогольные темы.

Из методов борьбы с алкоголизмом, уже применявшихся на деле, отметим

снаряжение киноэкспедиции в Донбасс, где эта экспедиция посетила места, не выдавшие до сих пор кинотеатра. Успех этой экспедиции настолько очевиден, что ряд ЦК союзов предложил снарядить такие экспедиции и послать их в места наибольшего скопления рабочих.

Бытовые конференции пьющих, установление института общественных наблюдателей, шефство над пьющими и походы рабочих в деревню, — вот новые методы борьбы с алкоголизмом.

*
* *
*

Зная, что на алкоголизм и его развитие в числе ряда факторов влияют жилищные условия, остановимся кратко на этом вопросе. Чем лучше жилищные условия, тем меньше производится затрат на пьянку. Как только улучшаются жилищные условия рабочих и служащих, сейчас же начинается забота об улучшении обстановки жилища, о покупке лучших кроватей и т. д. и т. д., — и расходы семьи на алкогольные напитки резко понижаются.

Бюджетное обследование МГСПС по данным за ноябрь 1927 г. делит, по жилой площади, все семьи на три группы: 1) имеющие менее 4 кв. метров на душу, 2) имеющие от 4 до 5 кв. метров, 3) имеющие более 5 кв. метров. Обеспеченность их примерно одинакова. Если долю расходов на алкоголь в бюджете семьи для первой группы (наиболее тесно живущие) принять за 100 проц, то в процентах к этой величине доля расходов на алкоголь в бюджете следующих групп оказывается такой:

Площ на душу	Доля расходов на алкоголь в бюджете
До 4 метроч. . .	— 100%
От 4 до 5 метр.	— 78%
Выше 5 метр. . .	— 70.5%

При том же доходе лучшие жилищные условия, переход в новый кооперативный дом и т. п. означают уменьшение пьянства. Жизненный минимум повышается, и это повышение отвлекает средства от алкоголя: оказывает

ся иная, более привлекательная цель для их расходования.

Современное положение жилищного вопроса характеризуется тем, что рабочие имеют жилплощади (в общем) 4,9 кв. метров на душу, при чем текстильщики—4,15 кв. метров, а горнорабочие только—3,7 кв. метров. Эти цифры необходимо сопоставить с душевой нормой жилплощади у служащих учреждений, которая в среднем доходит до 7,05 кв. метров на душу. Эти цифры дают достаточное представление о низком уровне обеспеченности жилищной площадью по отдельным группам рабочих и служащих.

Что плохие жилищные условия влияют на рост алкоголизма, можно видеть из сопоставления расходов на алкогольные напитки и на культурные нужды. Так, служащие Москвы и Ленинграда в 1927 г. тратили на алкоголь 22,64 проц. своего бюджета и на культурные нужды 77,64 проц. Рабочие в тех же городах соответственно—51,01 и 40,90. Рабочие Урала—35,53 и 12,89. Горнорабочие Донбасса—55,69 проц. и 21,58 процент.

Данные о затратах на алкоголь наводятся, как видим, в известной зависимости от размера жилищной площади каждой из перечисленных групп населения.

Пятилетний план жилищного строительства предусматривает возрастание нормы дешевой обеспеченности жильем, доводя среднюю душевую норму для фабрично-заводских рабочих до 6,53 кв. метра (в 1932/33 г.).

К тем же факторам, что и жилищные условия, влияющим на развитие алкоголизма, относится и заработная плата. Статьи расходного бюджета можно разбить на три группы. Первая—расходы, направленные на восстановление физических сил всей рабочей семьи в течение года (расходы на жилище, питание, одежду, приобретение хозяйственных вещей, стику и гигиену для всех членов семьи). Эта группа расходов занимает около 85 проц. бюджета. Вторая группа расходов—это затраты на обучение и воспитание детей (0,5 проц. бюджета). Третья группа—расходы на личные потребности взрослых

самодельных членов семьи. Последняя группа занимает около 8,5 проц. бюджета с тенденцией к росту.

С точки зрения изучения культурных потребностей самого рабочего третья группа расходов и ее распределение по отдельным статьям в различные годы представляет наибольший интерес:

Так, на спиртные напитки затрачивалось: в 1925 г.—20,34 проц., в 1926 г.—31,39 проц., в 1927 г.—38,27 проц., и на первую половину 1928 г.—21,1 проц. На табак и папиросы—соответственно по годам—11,56 — 12,09 — 14,97 — 8,18. На книги и газеты: 9,48—8,72—9,99—5,28. На кино, театры и проч. развлечения: 5,86—8,1—10,23—7,28. На общественно-политические расходы: 23,63—27,95 — 26,59 — 15,61. На религию: 0,44 — 0,48, — 0,62 — 0,36.

Расходы на спиртные напитки растут из года в год гораздо быстрее, чем расходы на табак и папиросы, с одной стороны, и на книги и кино—с другой.

Учтя эти предпосылки, посмотрим, как повысится заработная плата в течение пятилетия. Изменение заработной платы по пятилетке имеет в виду «обеспечение непрерывного подъема уровня благосостояния рабочего класса, более быстрый темп роста доходов пролетариата по сравнению с доходами других классов, стимулирование ростом заработной платы запроектованного подъема производительности труда и т. д.».

Повышение заработной платы всего наемного труда к концу пятилетия запроектовано в размере 37,5—42,9 проц. в оптимальном варианте. При снижении бюджетного индекса в оптимальном варианте к концу пятилетия на 10 проц. (по сравнению с 1927/28 г.), реальное выражение заработной платы повысится на 53 проц. В оптимальном варианте снижение бюджетного индекса достигает 14 проц., в зависимости от чего реальная заработная плата возрастает на 66 проц. При росте за пятилетие реального душевого дохода городского населения на 50 проц. и сельского на 46 проц. душевой доход рабочего класса возрастает на 56,6 проц.

Чтобы закончить обзор внешних стимулов, способствующих развитию алкоголизма, остановимся еще на одном социальном факторе—условиях труда. Введение семичасового рабочего дня и установление непрерывности в работе должно улучшить положение рабочего класса, а, следовательно, и уменьшить развитие алкоголизма.

Переход промышленных предприятий на 7-часовой рабочий день должен быть закончен в последнем году пятилетки. Переход на 7-часовой рабочий день дает нормальную продолжительность рабочего дня в 1928/29 г.—7,54 часа, а в 1932/33—6,86 ч. Небезынтересно сравнить эти проектировки рабочего дня с продолжительностью рабочего дня до войны и до революции. Если в 1904 г. рабочий день был равен 10,6 час. и в 1913 г.—9,87 час., то в 1927/28 г. он уже уменьшен до 7,71 с тем, чтобы к концу пятилетия уменьшиться до 6,86 часа. Таким образом, по сравнению с 1913 г. рабочий день сейчас на 2,18 часа меньше, а в результате введения 7-часового рабочего дня он уменьшится на 3,21 часа, т. е. почти на $\frac{1}{3}$ меньше.

* * *

На ряду с сокращением производства алкогольных напитков учтена и необходимость создания таких факторов, которые помогали бы изживать алкоголизм. Весь этот комплекс факторов дополняется еще и тем, что значительно расширяется производство безалкогольных напитков, изготовление кондитерских изделий и т. д. В настоящее время эта отрасль пищевой промышленности в зачаточном состоянии. Производство безалкогольных напитков находится в руках мелких кустарных предприятий; напитки дороги, невкусны и приготовлены негигиенично. Общая продукция безалкогольных напитков до смешного мала: на 140 млн. ведер различных спиртных напитков, производимых в СССР, изготавливается только 4,5 млн. ведер фруктовых вод, хлебного кваса и т. д. Экспорт наших минеральных вод тоже не развит в надлежащем темпе при чрезвычайно высокой стоимости напитка.

Изготовление кондитерских изделий должно отвлечь виноградное сырье от излишнего количества вырабатываемого вина. Опыт Калифорнии, проделанный в связи с запретом в САСШ, лучшим образом доказывает правильность такой постановки вопроса. Перевод ряда предприятий на кондитерское производство вызвал в Калифорнии значительный рост виноградарства и дал резкое улучшение сортов выращиваемого винограда.

В области перехода нашей алкогольной промышленности на безалкогольную предстоит немало работы, первые зачатки которой уже имеются налицо. Так, в Нижнем Новгороде пивоваренный завод изготавливает яблочный сидр. В Москве два пивоваренных завода прекратили производство пива, и один из них перешел на изготовление безалкогольных напитков, а другие — на кондитерские изделия.

Люди и факты

1. М. БОЛЬШАКОВ. Забайкальские переселенцы. — 2. Н. ЛЯШКО. С дорог без вешек. — 3. ХАИРХАН. В гостях у курдов.

1. ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

М. Большаков

На Бушулейскую группу участков мы прибыли вечером. Солнце опустилось за сопки, по падям залегли тени, потянуло холодком. Чувствовалось, что мы в Забайкалье, где природа так же щедро дарит теплом, как и холодом.

После дневной тряски тянуло отдохнуть, но переселенцы, увидев новых людей, уже стягивались на двор, куда мы заехали.

— Как устраиваетесь?—был наш первый и естественный вопрос.

У переселенца в чужом далеком краю, где он только-что начинает складывать первые камни нового хозяйства, нужды — непочатый край: во-время не дали ссуды, на складе не оказалось нужных машин, семена для посева запоздали, ребятишки с непривычки расхворались, а вблизи ни врача, ни фельдшера, потребительская лавка за 10 километров, за каждой мелочью не набегаешься и т. д., и т. д. Но на этот раз беседа, минуя обычные темы, сразу пошла по другой линии.

Еще по дороге мы видели, какие опустошения произвел бывший на днях заморозок: больше половины хлебов прихватило, картошка в поле почернела, огороды имели печальный вид.

— Пропало начисто, наверно, бабы воют, узлы связывают, — заключил наш ямщик. Кончил он когда-то Томский университет, был крестьянским

начальником, а теперь, после революции, в защитных целях опростился и перешел на мужицкое положение, теперь в нем по его внешнему виду никак не распознаешь бывшее «начальство».

Застали мы действительно невеселую картину. Надо быть самому переселенцем или уж очень близко знать их житье-бытье, чтобы понять по-настоящему, как действуют неудачи в первый же год по приезде на новое место. Переселенцы приуныли. Бабы перешли сразу в решительную атаку.

В переселении женщины пока-что еще самый консервативный элемент. Они всегда с большой неохотой расстаются с родными местами, всю дорогу не перестают зудить мужей и в обратном переселении они всегда играют первую роль.

Переселенцу надо иметь много упорства и твердости, чтобы в такую минуту устоять, не свернуться и не тронуться обратно на родину, а родина в таких случаях как-будто нарочно сразу встает перед переселенцем всеми своими положительными сторонами.

Словно читая наши мысли, переселенцы сразу заговорили о заморозке: — Уезжать не думаем, переберемся.

Знаем на что ехали. Но сказать, правду, и жить, как живем, не приходится.

Нас окружала больше переселенческая молодежь. Она, повидимому, тут

главный вдохновитель и зачинщик, стариков что-то не видно.

-- Поселить-то нас тут поселили, а научить не научили. Поди вот пойми, как тут хозяйничать. Ильин день на дворе, а мороз ударил такой, что у нас в Смоленской и в сентябре не бывает.

— Агронома бы повидать, да он и глаз не кажет. Какой-то такой есть — и не видали.

Агроном был с нами, и, хотя он как будто не обнаруживал особого желания вступать в беседу, пришлось его «выдать».

Агронома в сущности винить не в чем. Во-первых, здесь так уже водится, что агроном сидит в окружном или районном центре и в деревню не выезжает. Во-вторых, здешнюю забайкальскую природу агроном пока что понять, оказывается, не может. Как заявил нам агроном, она «не дается» к познанию.

И действительно, заморозок всех поставил в тупик. Все как-будто нарочно сделано так, чтобы нельзя было найти какой-либо закономерности.

— Вот та гора теплая, — объясняли нам переселенцы, прожившие здесь около десятка лет, — на ней ничего не мерзнет, а вот на той все начисто погибло.

Горы мы потом осмотрели, сравнили, они оказались одинаковыми по почвам, по крутизне и по направлению склопов и не давали решительно никаких объяснений, почему это одна гора «теплая», а другая «все начисто гибнет».

— Вот эта гряда огурцов померзла, а той хоть бы что. И с картошкой тоже.

И огурцы и картошка — в абсолютном одинаковых условиях.

— Никак не сообразишь, — говорили старые переселенцы, — где захватит заморозок и где его не будет.

Дело тут, конечно, не обходится без влияния вечной мерзлоты, этого колоссального аккумулятора холода, залегающего почти по всему Забайкалью на глубине одного двух, а иногда и менее метров.

Вечная мерзлота — одно из любопытнейших явлений в природе. К сожалению, несмотря на то, что она изучается у нас уже свыше 200 лет,

вопрос о ней, как говорит М. И. Сумгин, один из крупных знатоков этого дела, все еще не вышел из стадии «первоначального накопления» фактов и до сих пор продолжает оставаться, по выражению Сумгина, «русским сфинксом».

В этом сфинксе все загадочно, начиная с истории образования вечной мерзлоты, кончая ее влиянием на поверхностную жизнь. Образовалась ли она в современную эпоху в результате постепенных наслаиваний, или, как утверждает, например, Сумгин, в ней мы видим следы отдаленных геологических эпох, — об этом спорят.

Известно только, что вечная мерзлота уходит местами на огромную глубину. В ее пластах сохранились остатки от давно вымерших чудовищ. Известно также и то, что вечная мерзлота производит на поверхности ряд удивительных и неприятных сюрпризов: трескаются и рушатся здания, выпучиваются и как в бездну погружаются мосты, настилы и надземные сооружения железной дороги. Сумгин приводит любопытный случай на ст. Бушулей, когда на железнодорожной выемке «с опасностью» для собственной жизни спасали человека. Оттаявший грунт превратился в какую-то жидкую массу, в которой все тонуло: шпалы, рельсы, лежни... Масса баласта, привозимого каждый день, пропалада бесследно... Время от времени корка трескается, из трещин выливается жидкая масса и заливают рельсы и шпалы, которые глубже и глубже погружаются в пучину.

Постройка Забайкальской железной дороги представляла собой поэтому египетскую работу, при которой нередко завтра надо было снова начинать то, что сделано вчера.

Для Дальнего Востока, где область вечной мерзлоты захватывает почти половину территории края, вопрос о ней имеет кардинальное значение, без изучения его нельзя будет правильно решить вопрос о колонизации края...

Переселенческая молодежь засыпала нас вопросами:

-- Как бороться с заморозками?

— Где лучше сеять, — внизу или на горах?

— Есть ли такие морозоустойчивые семена и где их взять? — И т. п.

— Мы готовы на какое угодно рациональное хозяйство, — говорили они, легко и просто выговаривая иностранные слова, — скажите только что и как надо делать.

А вот этого-то местные работники, устраивающие переселенцев, как раз и не знают.

Агроном что-то пытался объяснить, но видно было по всему, что он делает это больше для «поддержания авторитета», но отнюдь не от знания дела. Загадка забайкальского климата не разгадана.

— Вот, говорят, хорошо окуривать посевы дымом в ночь перед заморозком, — бросил кто-то из переселенцев меланхолическое замечание, — да как его узнаешь, когда будет заморозок.

Совершенно очевидно для всякого, что селить в подобных местах переселенцев, не дав им в руки оружия для борьбы с неблагоприятными условиями, это значит увеличивать число обратных переселенцев.

Нужны опыты и изучение.

С этой именно целью почти рядом с этими переселенческими участками еще в 1913 году было основано опытное поле. Мы его осмотрели. Прекрасный, типичный во всех отношениях участок, где можно было бы широко развернуть опыты по изучению местных особенностей. Но участок работал только до 1918 года. С тех пор он безмолвствует, постройки понемножку разрушаются, материалы и записи наблюдений покрываются пылью где-то в архивах, а переселенцы предоставлены сами себе.

«Маленький» дефект большого переселенческого дела. Бушуйские переселенцы настроены очень решительно и туго поддаются жалостливым бабьим речам, но не надо особенно удивляться, если под давлением таких «маленьких» дефектов и они в конце концов не выдержат и тронутся обратно.

Тем более, что таких дефектов немало.

В избе было душно и тесно, поэтому спать в ней мы не решились, а расположились все вповалку в больших про-

сторных сенах. Но несмотря на то, что была мобилизована вся одежда, забайкальский климат дал себя знать. Всю ночь мы ежились от холода, а к утру совсем застучали зубами и чуть свет уже были на ногах.

Надо было вырешить ряд вопросов, наметившихся во вчерашней беседе, осмотреть строившийся поселок и ведущиеся здесь гидротехнические работы...

Вышли на двор и залюбовались.

Эта часть Забайкалья поражает своими живописными пейзажами. Особенно хороши открытые долины меж горами, по-местному пади, с богатым пестрым травяным ковром, окаймленные причудливой опушкой сбегającego с гор лиственного леса.

— От одной красоты не уйдешь, — поделился с нами переселенец, у которого мы почевали, когда мы как зачарованные смотрели кругом.

Кто никогда не бывал в новых, только что начинающих заселяться местах, тому трудно понять волну бодрости и радостного удовлетворения, которая охватывает тебя при взгляде на эти зажигающиеся очаги жизни. Вчера еще здесь была тайга, шумел лес, давила молчаливая пустыня, а сегодня сюда ворвалась шумная жизнь, звонко стучат топоры, перекликаются молодые голоса, кипит работа.

Первые дни устройства на новых местах особенно поднимают настроение переселенцев.

В поселке, который мы осматривали, дома вчерне были уже отстроены, так как переселенцы прибыли сюда еще ранней весной. Но кругом стоял еще лес. Высились отдельные гиганты лиственницы, кое-где частой шеткой стоял молодняк. Дворы не были обнесены, скот стоял привязанный к деревьям, на «улице» торчали огромные свежесрубленные пни. В домах щекочет нос смолистый запах лиственницы...

Около полудня тронулись дальше. Мы спешили, чтобы успеть осмотреть в одном из поселков работу тракторной колонны, поставленной здесь Переселенческим Управлением для поднятия целины. Колонну мы застали на ходу. Могучие «Интернационалы» вздырали сильно задерненную почву,

заросшую мелким кустарником, по-местному «ерники», отваливая черные пласты земли, перевитые корнями. В колонне — четыре трактора с четырехлемешными плугами, каждый плуг захватывал в ширину $1\frac{1}{4}$ метра, и вся колонна оставляла за собой четырехметровую полосу поднятой целины.

Переселенцы довольны. Эти черные, равномерно постукивающие машины внушают им очевидное уважение. Как выяснилось потом из разговоров, тракторные вспашки и удерживают переселенцев на месте, несмотря на заморозки.

Тракторы — новость для переселенческой работы на Дальнем Востоке. До революции их не было, обходились без них. В одном только случае на Амуре пробовали применять тракторные вспашки, но из этого ничего кроме конфуза не вышло; глубоко пущенные плуги при тонком слое почвы выворотили наружу глинистую подпочву, обесплодили поле, и оно только теперь, спустя двенадцать лет, начинает оживать и зарастать травой. Не во всяких руках, значит, и трактор может быть полезным.

Без трактора заселить Дальний Восток невозможно. Это видит и понимает теперь всякий, кто знакомится с делом. В отсутствие тракторов заключается, пожалуй, самая главная причина неуспеха прежней колонизации.

Надо признать и твердо усвоить, что устраивать переселенцев на твердых целинных землях, почти всегда заросших ерником, а во многих районах, кроме того, поверхностно заболоченных, если эта целина не будет предварительно поднята тракторами, это значит бросать государственные средства на ветер. Переселенец сам, со своими слабенькими силами, с одной-двумя лошадьми, с такими землями ничего поделывать не сможет и вместо того, чтобы дать Краю хлеб, сам будет нуждаться в нем.

Переселенческие работники Дальнего Востока это прекрасно понимают и усиленно добиваются получить в свое распоряжение как можно больше тракторных колонн. Цель состоит в том, чтобы дать на каждое переселенческое хозяйство не менее 3 гектаров под-

нятой целины, что удовлетворит продовольственные потребности семьи. Такова директива Наркомзема.

Три гектара, конечно, не спасут поселения. Надо, чтобы переселенцы быстро смогли довести площадь посева до 10—15 гектаров на хозяйство, только тогда достигнется цель создать товарное хозяйство, а для этого опять нужны тракторы. Мало вспахать переселенцу 3 гектара государственными тракторными колоннами, а потом оставить его при традиционной сивке-бурке. Надо его снабдить тракторами и для дальнейшей работы, образовав с этой целью хотя бы простейший вид товарищества.

На деле выходит, однако, так, что в огромном большинстве случаев переселенческие органы и трех гектаров поднятой целины дать не могут. Забайкалью случайно повезло. В других районах Дальнего Востока тракторов удручающе мало. Нужны сотни, а их на всех переселенческих работах все-го не больше трех десятков. Поэтому, как общее правило, трехгектарная норма не выдерживается, на хозяйство дают и полтора, и один, и даже меньше.

После осмотра спустились в поселок, сверкавший на берегу ручья своими новыми листовничными избами. Переселенцев там не нашли, они были в поле, но зато неожиданно мы подверглись жестокой атаке со стороны женщин, собравшихся в доме председателя сельсовета.

И, надо сказать, нападки их нельзя не признать основательными.

— Наступает осень, учителя окроно прислало, а о школе никто не думает, гляди, ребятишки останутся на зиму без ученья.

— Избы-читальни нет.

— Ребятишки животами мучаются, а до больницы 30 километров, да и в больницу придешь, а там лекарств нет.

— Акушерки нет.

— Мельницы нет, муку смолоть не на чем. Зилово¹⁾ — под руками, да туда дороги не допросимся.

Словом, целый ворох жалоб, ворох жизненной нужды, всяких крупных и

¹⁾ Ближайшая ж.-д. станция и экономический центр района.

мелких вещей, которых как-то не замечашь, когда они есть, но которые сильно дают себя знать, когда их нет.

Забайкалье в этом отношении — не исключение. Как потом пришлось убедиться, эти маленькие «дефекты» характерны и для всех других районов Дальнего Востока.

С нами был один товарищ, работавший по переселению на Дальнем Востоке еще до революции. Его больше всего удивило, что переселенческие женщины требовали акушерок.

— Знаете, — говорил он, — мы строили хорошо оборудованные больницы, так бабы не шли, рожали в бараках, под нарами, на чердаке, звали бабок, акушерки как огня боялись, а теперь, видишь, давай акушерку.

Неизбежно придется давать и акушерку, и учителя, и избу-читальню, и мельницу, и потребительскую лавку, и агронома, и дорогу на Зилово, и трактор и ассортимент сел.-хоз. орудий, и кредитное товарищество. Все это надо дать, если мы хотим, чтобы машина переселенческого хозяйства в новых местах могла работать бесперебойно.

Переселенцы и старожилы

Что такое современный переселенец? Вот вопрос, без разрешения которого невозможно правильно построить переселенческое дело. До поездки переселенец рисовался нам в виде бесконечно малого слагаемого больших чисел.

«Переселенческие контингенты» — таково имя этим числам. Под этим именем переселенец фигурирует в официальных бумагах, в наших перспективных планах.

Теперь эти таинственные «контингенты» стояли перед нами облеченные в плоть и кровь, в виде живых людей, их можно наблюдать, узнавать их настроения, планы, намерения.

И надо сказать по совести, что если наше переселение не всегда бывает удачным, то в этом меньше всего можно винить переселенца.

Прежде всего это — далеко не прежний безответный «серый» мужик, у которого переселением руководил не столько сознательный расчет, сколько какая-то нутряная стихийная тяга. Революция и тут многое изменила.

Правда, «серости» и беспомощности и сейчас еще достаточно. Не редкость и теперь встретить людей, которые и сами толком не знают, куда и зачем они едут. Переселяются потому, что впереди, в чужих краях маячит кое-какая надежда на лучшее.

Но рядом с этой серостью и беспомощностью — и чем дальше, тем больше, — формируются прочные, крепкие ядра совсем другого порядка. Среди современных переселенцев немало людей, прошедших хороший стаж советской и общественной работы: членов уездных и губернских исполкомов, активных работников кооперации, комсомольцев, женотделок и просто хорошо грамотных и даже начитанных людей.

Попадаютяся кончившие среднюю школу, побывавшие в городах, прошедшие огонь гражданской войны, партизаны. Немало таких, которые за последние десять — пятнадцать лет исколесили страну вдоль и поперек, побывали в плену за границей, насмотрелись, как живут люди в других краях, а не только в родной деревне, получили мерки для сравнения.

Нашлась даже «timiрязевка», уже кончающая Академию и приехавшая на лето посмотреть, как устраивается семья на новом месте.

Эти люди вносят в переселенческую массу и во весь процесс переселения и устройства на новых местах совершенно другую струю.

Наши переселенцы, конечно, далеки от троглодитов, хотя, по совести сказать, условия, в которые они попадают в новых местах, иногда очень близки к «троглодитским». Но совсем смешно требовать, чтобы они походили на героев Джека Лондона. Ибо герой Джека Лондона — это прежде всего индивидуалист, действующий за свой страх и риск, он думает только о себе, часто это хищник, авантюрист, перегрызающий горло другому такому же хищнику. Герой Лондона идет в безлюдную края не для того, чтобы навсегда поселиться там, а для наживы, прожить же наживу он вернется снова туда, откуда пришел.

Наш переселенец — это прежде всего масса. Массой он поднимается на переселение, от массы посылает ходо-

ка, массой движется по железным дорогам и той же массой принимается за устройство на новых местах, а одиночкой он только уходит обратно, если не сбудутся надежды на лучшую жизнь. «Крушить тайгу» по Джеку Лондону ему трудно, потому что в огромной части это бедняк или середняк, который несет с собой крепко зашитыми в подкладку одну-другую сотню рублей, а то и совсем идет без денег.

Дальневосточные переселенческие работники подсчитали, кто к ним идет в качестве переселенцев. Получились следующие выразительные цифры. Около 11-13 проц. всех переселенцев приходят совсем без денег, они приносят только рабочие руки. От 20,6 до 23,4 проц. имеют средств меньше 100 рублей на семью, и около 20 проц. — от 100 до 250 рублей. Эти три группы переселенцев должны быть отнесены к разряду бедняков, в сумме они составляют около 54 проц. всех переселенцев Дальнего Востока, прибывших за 1926 и 1927 годы. Зажиточные переселенцы, если к этому разряду отнести тех, кто приносит с собой денег свыше 750 рублей на семью, составляют от 7,6 до 9,8 проц. Остальные 36-39 проц. приходятся на долю середняков.

При таком составе переселенцев крушить по-джекклондонски может с грехом пополам разве только самая верхушка, остальные этой возможности не имеют. Но это и не беда.

Если отвлечься от сопоставления с героями Джека Лондона, то выйдет, что наши переселенцы, как материал для колонизации окраин, не только не плохи, а наоборот, обладают многими исключительно ценными свойствами.

С ничтожными средствами в чужом, неизвестном краю, с весьма недостаточным, — это надо прямо признать, — обслуживанием со стороны местных советских учреждений, переселенец обладает огромной цепкостью. Он быстро пускает корни. Дерево из этих корней растет, правда, медленно, переселенческое хозяйство требует обычно 6—8 лет, чтобы окончательно укрепиться на новом месте, но это надо отнести уже не на счет способностей переселенцев, а на счет недостаточности пер-

воначальных средств, вкладываемых в хозяйство.

Современный советский переселенец обещает развить эти ценные свойства гораздо больше, чем переселенец дореволюционный. Физиономия переселенца ярче всего проявляется, когда берешь его отношения к старожилам и к их порядкам. Былой почтительности к старожилам и слепой веры в целесообразность местных порядков у теперешнего переселенца не встретишь. Бывает, правда, иногда и сейчас, что старожил «одурит» переселенца, рассказывая ему разные небылицы и ужасы, чтобы отпугнуть от переселения, но в общем и целом переселенец склонен рассматривать себя скорее как прибывшего хозяина, чем как скромного приживальщика.

— Тоже хозяйничают, — говорили нам переселенцы в одном из новых поселков про местных старожилов, к которым они доприселились, — лакомятся землей, разве так с землей обращаются.

Как будут хозяйничать сами переселенцы, сказать определенно еще трудно, так как дальневосточному переселению от роду всего только два года.

Старые «царские» переселенцы в этом отношении ничего нового не показали, они как-то сразу пошли в хвосте за старожилами, усваивая их порядки, порой явно нелепые. Там, где они доприселялись к старожилам или селились возле них, они так слились с ними под один цвет, что теперь и не разберешь, кто из них старожил, кто переселенец. Мало того, в той вражде между старожилами и переселенцами, которая нет-нет да и даст себя знать, старые переселенцы полностью поддерживают старожилов.

Новые переселенцы делают только первые шаги, делают их ощущею, и не без ошибок. Но тем не менее имеют твердое желание ходить на своих ногах.

Немалая вина лежит на местных советских органах и вообще на всей организации переселенческого дела. Современного переселенца обслуживают все: здравотделы по части здоровья, органы Наркомпроса по части школ, земельные управления по части агроно-

мической и ветеринарной помощи, переселенческие органы готовят им земельные участки, кооперация и государственные заготовительные организации снабжают машинами, семенами, предметами хозяйственного оборудования, сельскохозяйственные кредитные органы выдают ссуду и т. д., и т. д.

Все это, конечно, как-будто и нормально, но на деле получается так, что у семи нянек переселенец рискует остаться без глаза. Несмотря на то, что все планы обслуживания согласованы и увязаны, переселенец частенько сидит то без врача и фельдшера, то без школы, то без агронома, то ему доставили машины и семена уже после того как время для сева прошло. Все это надо отнести отчасти за счет новизны дела, отчасти же и на счет того, что за деятельностью всех этих обслуживающих переселенца учреждений нет единого глаза, который ими бы руководил и за все дело в целом отвечал. Казалось бы, таким глазом должны быть переселенческие органы, наделенные со стороны крайевых исполкомов для этого особыми полномочиями, но переселенческие органы по горло заняты согласованиями, от которых и сами «стоном стонут», и переселенцу не легче.

В особенности удручающе действуют на переселенцев недостаток, а иногда и полное отсутствие агрономов. Да и те, что есть, не всегда знакомы с местными условиями и поэтому не в состоянии сказать переселенцу что и как надо делать. Дальний Восток еще не обзавелся как следует своими знающими агрономами...

Если бы дело агрономической помощи было поставлено как следует, переселенцы сумели бы не только правильно поставить свое хозяйство, но оказать известное влияние на старожилов. Когда переселенческая молодежь говорит, что она готова на какое угодно рациональное хозяйство, то это не просто слова, это выражение внутреннего стремления поставить дело по-новому.

Надо признать, что старожилы не очень обрадованы наплывом в Край переселенцев.

— Жили, все было наше, а тут вас чорт принес. Все равно сожжем.

Так встретили переселенцев казаки в одном из поселков. Однако, не сожгли.

Психология местных казаков и старожилов понятна. Жили они безбедно и беспечно. Земли у них было столько, что они буквально зарывались в ней. Здесь еще уцелела та счастливая с точки зрения всякого землероба Аркадия, когда землепользование определялось правилом: «куда плуг и соха,— тонор и коса ходят».

Теперь обстановка изменилась. Революция принесла новые задачи для Края, а с ними новые порядки. Начались «изъятия» и «отрезки». Казаков и старожилов, привыкших к безграничному простору, посадили на норму. Норма, правда, такая, что курские и черниговские хлеборобы, приходя сюда, глаза таращили.

— Дывьись, дывьись, це жь усе наше!

Но то курские. Старожил смотрит иначе. Ему на норму «скучно», как выразился один из них в беседе с нами.

Новые порядки вырвали из-под старожила почву. Перед ним встало что-то новое, неизвестно что сулящее. Неодобрительно и хмуро смотрит он на шумно хлопотливых, везде снующих, о всем справляющихся переселенцев, критикующих здешние порядки подчас в иронической, едко-насмешливой форме.

В одной из станиц по Амуру, куда дошли пока только слухи о переселении, а самого переселенца еще не было, казаки выразились на счет переселения так:

— Что ж, переселенцы — это ничего. Нам этих пролетариев только подавай, работу найдем.

Переселенец смотрит, однако, на дело иначе и готовится разбить эти радужные иллюзии, по крайней мере, там, где сторожилам приходится иметь дело не со слухами о переселении, а с живыми переселенцами; настроения несколько иные.

— Почему переселенцам всякие льготы и ссуды, а нам ничего? Гляди-ко, сколько лет мы жили на этом болоте, сколько скота утопло, сами тонули, а вот для переселенца, так его сушить принялись.

— А что вам мешает — образуйте мелиоративное товарищество, и вам осушат.

Но сторожил на новшества туг.

Любопытнее всего эти взаимоотношения проявляются там, где переселенцы переселяются в один поселок к старожилам, где новая кровь приливается к старой.

Вот одна из таких иллюстраций:

Поселок К. Основное ядро в нем — старожилы, переселенцы составляют незначительное меньшинство, часть их прибыла в прошлом году, а часть в текущем, но, однако, они уже заметно берут верх в местных делах и даже провели своего в председатели сельсовета.

Переселенцы сгруппировались в артель, вместе обрабатывают землю, вместе засевают. Есть трактор. Свой артельный дух пытаются привить старожилам, но пока что еще безуспешно. Но на школу уже сбили. Долгий ряд лет стоял поселок без школы, а теперь она уже поблескивает на площади своими новенькими бревнами. К осени окроно обещал обязательно прислать учителя.

Сбивали на кооперативную лавку, но старожил уперся.

— Незачем, если что надо, запрягу лошадь да и с'езжу куда надо.

Но такое упорство долго не продержится. Тем более, что среди старожилов нет полного единства. Переселенцы уже «обрабатывают» старожильческую бедноту.

— Что вы с ними (зажиточными) путаетесь. Это им не нужна кооперативная лавка. У них по пять лошадей,— захотел и поехал. Вы должны итти с нами.

Рано или поздно пропаганда достигнет цели. Живой, критический, ищущий дух переселенца или заставит старожилов сдаться или отколет от них все способное и восприимчивое и потянет за собой.

Сидя на бревнах среди двора, председсельсовета из переселенцев рассказал пример.

— Построил я вот этот хлев для скота. Теплый хлев. Прошлогодняя зима была такая, что не приведи господи! Холода да снега! У моего соседа скот по здешним порядкам стоит под навесом: ни стен, ни защиты. Замело, занесло, стоит скот скрюченный, какая

может быть от него сила? А у меня скоту тепло, стоит он прямо и весело. Зашел сосед, посмотрел. «Это, говорит, у тебя неплохо придумано». Теперь, гляди-ко, строится.

Дело с кооперированием переселенцев пошло бы гораздо быстрее, если бы оно встречало содействие со стороны местных кооперативных центров. Но «центры» раскачиваются необычайно медленно.

Переселенца не нужно агитировать для того, чтобы сбить его на простейший вид товарищества. Его уже сагитировала обстановка. В новом, краю переселенец в одиночку беспомощен, и он инстинктивно ищет, с кем бы объединиться, чтобы вместе произвести постройки, поднять целину, купить машину.

Такие мелкие товарищества возникают сами собой, без всякого содействия кооперации, без уставов и регистрации. Но зато они так же быстро и распадаются. Приди к ним во-время помощь в виде инструктора или хотя бы небольшого кредита, товарищества не распались бы, а окрепли и легко могли бы перейти в более высшие формы кооперации.

Бывает, что в среде самих переселенцев по этому поводу идет внутренняя борьба, поскольку среди них имеются всякие элементы. В любой группе переселенцев есть два, три, несколько человек, которые еще дорогой, пока едут с родины, ведут агитацию за артель. Иногда дело кончается успешно, а иногда пробить толщу привычек не удается.

— Индивидуальные элементы сорвали! — так выразился в беседе с нами один переселенец, толковый, развитый человек, недурно говоривший по-английски, так как 11 лет пробыл в Америке на заработках.

«Индивидуальные элементы», может быть, и не срывали бы дело, если бы эти инициаторы-переселенцы не были предоставлены одним своим силам.

Один из наших спутников, видный местный работник, бывший партизан, хорошо знающий и старожилов и казаков, после того как он потолковал с переселенцами, посмотрел на их житье-бытье, должен был признать, что те-

перешный переселенец, идущий на Дальний Восток, представляет собой надежную, прекрасно настроенную силу, на которую смело можно положиться. С помощью переселенца, если он будет правильно обслужен, можно победить и ту толщу политической и культурной отсталости, которая окружает местных старожилов и особенно казацье население.

Надо учитывать еще одно обстоятельство. В былое время на Дальнем Востоке было много всякого люда, гревшего руки около щедрой казны, наживавшегося на подрядах и поставках. Весь этот люд смит революцией. Часть его оказалась за пределами Дальнего Востока, в Манчжурии, в Харбине, но часть осталась и, имея связи в местном зажиточном крестьянстве, рассосалась по деревням, приняв соответствующую окраску.

С одним из таких любопытных осколков старого времени случайно пришлось встретиться.

Из-за здешних милых дорог мы не смогли добраться до намеченного пункта. Лошади выбились из сил, пришлось остановиться покормить в старожильческом поселке, куда в небольшом числе доприселялись и переселенцы. Привернули к новой, еще не вполне достроенной избе на самом краю поселка. Думали, что переселенец.

Хозяин, молодой, босиком, полуоборванный, открыл ворота.

— Милости просим, отдохните. Извините, еще не отстроился, силенок мало, сам работаю.

За самоваром разговорились. Наш «переселенец» оказался бывшим подрядчиком из Приморья, поставившим в казну строительные материалы. Он поведал нам «о днях минувших»:

— Да, жили, не тужили. Во какой был...

Он ткнул пальцем в фотографию на стене. С фотографии на нас смотрело «уважаемое семейство». В центре — сам бывший подрядчик со всеми атрибутами раз'евшегося буржуа из низов: брюки на выпуск поверх сапог, на толстом животе — золотая цепь, круглая голова на короткой аполлексической шее. Не лицо, а «морда» того типа, который теперь беспощадно истребила революция.

— Кроме подрядов ренсковой держал. Свое было, сами пили и других поили без отказа. Акцизному, приставу, судье ящиками отправляли, по их выбору, чего душа хочет.

— Судье-то зачем?

— Э, судье первое дело. Мало ли промашек было по разной части. Призовег к себе и внушает: — Что, говорит, тебе губернатор. Я для тебя выше губернатора. Губернатор, говорит, разбирает всякое дело по постановлению, а я «по указу его императорского величества». Вот и соображай. Много ли, говорит, с тебя, подлеца, по постановлению-то возьмешь. Три месяца да и то откупишься. А я тебя «по указу» так могу закатать, что костей не соберешь.

— Что же вы теперь здесь делаете?

— Теперь? Теперь, слава богу, трудящийся. Землю дали, работаю, избу строю. Теперь — во...

И он закрутил головой вправо и влево.

— Вертится. А раньше, словно у хорошего бугая, головы повернуть не мог. Знакомый доктор говорил: — Непременно, говорит, тебя кондрашка хватит, недолго тебе жить осталось. А я вот живу...

— Как же, — спрашиваю у своего спутника, местного переселенческого работника, после того как мы тронулись дальше, — как же вы таких зубров устраиваете на землю?

— Чорт их устраивает. Сами устраиваются, общество принимает, землю дает. Поди вот теперь узнай его. Ишь совсем «под трудящегося». Если бы не разговорился, и не узнаешь, что за гусь.

Нет сомнения, что таких «гусей» немало осело по старожильческому поселкам, и они, конечно, не способствуют установлению дружеских отношений с переселенцами.

Как это ни странно, в том же направлении работают иногда и представители местной власти.

Вот крестьянин П—в, выдвигенец, занимающий высокий пост в Окрясполкоме. Яркая колоритная фигура.

Он из переселенцев, но живет в Крае давно, успел уже забыть, что сам был переселенцем, и теперь целиком на стороне старожилов.

С ним у нас была долгая беседа.

Он и в Окрисполкоме рассуждает как человек, представляющий специфические интересы старожилого населения: хорошо то, что полезно старожилу, плохо, — что ему вредит.

Невольно разводишь руками. Да как же он может быть беспристрастным судьей, для которого на первом плане стояли бы интересы не откормившегося на здешних просторах старожила, а широко понятые интересы государства и Дальнего Востока.

И вот яркая иллюстрация.

После того как переселенческие организации провели ряд соглашений с старожилами о выделении у них земельных излишков на основе 5-гектарной нормы, на сцену выступил П—в.

Вместе с одним из землеустроителей он объехал те же поселки и, несмотря на то, что 5-гектарная норма была утверждена краевыми органами и была, значит, директивной и что сам он был представителем власти, повел против этой нормы поход. В результате старожилы отказались от соглашения, и не только отказались, но объявили переселенческих работников «врагами народа».

— Бить их надо кольями!

Таков был финал выступления П—ва.

Так рисовали дело бесстрастные документы, с которыми пришлось познакомиться уже после объезда Дальнего Востока.

Ханка

Озеро Ханка расположено в южной части Приморья, недалеко от Владивостока. Площадь его около 4.000 кв. км. Почти все оно лежит в наших пределах, и только северный отрезок его находится на территории Китая.

В современной колонизации Дальнего Востока Ханка готовится совершить полный переворот, опрокинув все трафареты, выработанные до сих пор переселенческой практикой. Переворот собственно уже начался. Последние три года тысячи людей без усталости роются в обширной низменности, прилегающей к Ханке, создавая совершенно новое для Дальнего Востока явление — Ханкайское ирригационное строительство.

Осмотреть это строительство, познакомиться на месте с тем, как закладываются первые камни новой колонизации, было одной из главных задач нашей поездки.

В Москве Ханка вызывала споры. Если одни сразу же ухватились за нее, как за способ прорвать глухой фронт традиций и привычек в переселенческом деле и перейти на новые рельсы и поэтому всячески помогали проталкивать этот вопрос через бесчисленные инстанции, другие смотрели скептически: никакой тут повои колонизации нет, на Ханке ведется простое ирригационное строительство, да еще плохо подкованное с технической стороны, и неизвестно, не приведет ли оно к печальному концу.

О технической целесообразности Ханкайского ирригационного строительства спорили не только в Москве, но, пожалуй, еще больше на Дальнем Востоке. Проект использования Ханкайских вод для орошения прилегающей низменности встретил ожесточенное сопротивление со стороны виднейших местных специалистов инженеров. Свои возражения они основывали на неизученности водного режима озера Ханки, которая ставила, по их мнению, все строительство в чрезвычайно рискованное положение.

Эти споры продолжались бы, вероятно, и до сих пор, если бы В. А. Мартынов, заведывавший в то время колонизацией Дальнего Востока, не ликвидировал их чисто революционным путем. Осенью и зимой 1926 года в тяжелых условиях были произведены изыскания и составлен ирригационный проект, а с весны, пока проект еще проходил по мытарствам, на Ханке закипели работы, и к тому времени, когда Москва без всяких изменений утвердила толково разработанный и экономически обоснованный эскизный проект, работы на Ханке по осуществлению проекта шли полным ходом. Летний период таким образом не был потерян.

Суть Ханкайского ирригационного строительства заключается в следующем:

Вокруг озера Ханка расположились огромные степные пространства, частью сухие и всхолмленные, частью

низинные и заболоченные. Население здесь более плотное, чем в других районах Дальнего Востока, но несколько десятков поселков и город Спасск далеко не используют всех возможностей. Добрая половина земель лежит без всякой пользы. Сюда охотно направлялись корейцы из-за кордона, соблазненные легкостью устройства здесь рисовых плантаций и высокой их урожайностью. Первые удачные посевы риса, как сообщает инженер Лыщинский, были сделаны в 1917 году в районе ст. Гродеково в южной части Приморья, с тех пор они стали шириться и к 1926 году покрыли своими плантациями около 13.000 гект., при чем за это время они успели забегать далеко на север, до ст. Екатерино-Никольское на Амуре.

В этот период в рисосеянии царил полная кустарщина, самое примитивное орошение шло рядом с самыми хищническими формами хозяйства, рис сеялся на одной и той же земле под ряд до тех пор, пока его не глушили сорняки и не падал резко урожай. После того переходили на новые земли.

От корейцев рисосеяние мало-помалу стало переходить и к русским, но русские выступали в этом деле больше в качестве предпринимателей, используя опыт и дешевые рабочие руки корейцев. Инженер Лыщинский пишет, что «русские обычно устраивают за свой счет ирригацию (берут ссуды из Дальсельбанка), производят посев целины, а также пахоту, а в дальнейшем нередко и уборку урожая. Корейцы устраивают мелкую оросительную сеть и возводят валики, ограждающие заливаемые площадки, производят посев и ухаживают за ним, выпалывая сорные травы, следя за оросительной водой и за состоянием сети. Урожай делится в зависимости от договора, но чаще пополам».

На корейцев в этом деле падает, таким образом, самая неприятная часть работы, когда приходится стоять по колено в холодной весенней воде.

Рис манит высокими урожаями и хорошей доходностью. Первые урожай по целине редко дают меньше 4 тонн риса с гектара, а в некоторых случаях они поднимаются до 5 и даже 6 тонн.

Во всяком случае средний урожай в 2½—3½ тонны можно считать вполне обеспеченным. За вычетом всех расходов рис дает чистого дохода до 350—380 руб. с одного гектара. Это настолько высокая доходность, что по сравнению с рисом все прочие сельскохозяйственные культуры отходят на задний план.

Насколько быстро окупаются расходы на ирригацию под рис, можно видеть из следующего случая, который можно было бы считать анекдотическим, если бы он не был самым доподлинным фактом. В 1926 году инженер Н. Н. Красев подбил Никольско-Уссурийский комхоз оросить под рис около 1.000 гектаров. Деньги на эту цель позаймовали из какого-то совсем неподходящего источника. С ранней весны с небывалой энергией закипела работа, но одновременно комхоз потянул к ответу за незаконное использование средств не по прямому их назначению. Шло расследование, шли и работы. К осени расследование кончилось, но к осени уже созрел и рис на орошенных землях. Комхоз внес в казну полностью позаймованные 90.000 рублей из выручки за проданный рис, а в свою пользу оставил ирригационную систему в виде премии за предпримчивость.

К 1926 году около риса стал создаваться совершенно очевидный ажиотаж. Как грибы, стали расти плантации. Горсоветы, вики, артели и отдельные лица—все бросились на рис. В этом была хорошая сторона—укреплялась новая культура, росло хозяйство Края, но была и дурная: рост рисовых плантаций шел без всякой системы, земля и вода использовались хищнически, неизбежным последствием чего должно было явиться падение урожая и кризис рисового дела.

В это-то время и выступило на сцену Ханкайское ирригационное строительство. По проекту инженера Красева вся территория, тяготеющая к озеру Ханка, так называемая Приханкайская низменность, должна быть вовлечена в единый план ирригационного строительства. Таких земель заделением местного населения насчитывается около 439 тыс. гектаров, из них по проекту должно было поступить на

орошение для поливных культур 165.000 гект., до 100.000 гект. — на прочие виды мелиорации и остальная площадь остается в суходельных угодьях.

Если такой проект будет полностью осуществлен, то он перевернет всю хозяйственную физиономию ханкайского района. А что он будет осуществлен, в этом сомневаться не приходится, за это говорят и глубокий интерес, и содействие к этому делу со стороны Дальневосточного Краевого Исполкома, и редкая энергия инициаторов и вдохновителей ирригационного строительства, а главное, на редкость благоприятные так называемые объективные условия: подходящие климат и почва, огромные водные ресурсы, близость рынка в лице Японии и Китая, куда в огромном количестве можно сбывать рис, и, наконец, пути сообщения: весь район перерезан Уссурийской железной дорогой, с западной стороны озера Ханки заканчивается постройкой железной дорога, соединяющая Турий Рог на китайской границе со ст. Майловка Уссурийской дороги, само озеро Ханка — судоходно, как судоходна и вытекающая из него река Сунгач.

Основной вопрос состоит в том, сколько потребует осуществление ханкайского проекта и что он может дать. В материалах, которые в изобилии имеются по этому вопросу, указывается, что на все строительство потребуется примерно 32 млн. рублей. Но организаторы дела совсем не требуют, чтобы эта сумма вся полностью была отпущена им из государственного сундука, нужна лишь некоторая сумма в качестве основного капитала, а затем дело будет продолжаться на доходы от эксплуатации постепенно разветвляемых рисовых плантаций. Если эта сумма будет небольшой, — осуществление проекта замедлится, увеличивается первоначальное вложение, — сократится срок окончания постройки.

Вот что пишет по этому поводу инженер Красев: «Если в основной капитал вложить 1 млн. рублей и, далее, чистая прибыль на этот капитал обращается в основной капитал, то оказывается, необходимо 15 лет, в течение

которых все ирригационные системы будут окончены. При этом в конечном итоге получается чистая прибыль ежегодно 11 млн. рублей».

Это уже не «исключительная», как пишет инженер Красев, а «сумасшедшая» окупаемость затрат. Ее можно было бы оспаривать, если бы не этот «анекдотический» случай с Никольско-Уссурийским комхозом.

На вопрос, что даст ханкайское строительство, Н. Н. Красев со свойственной ему скупостью в словах пишет: «Товарные хозяйства выбросят на рынок промышленных товаров не менее чем на 60—70 млн. рублей каждый год, или свыше 50 тонн золота, т. е. в несколько раз больше, чем выбрасывала вся золотопромышленность Дальнего Востока в довоенное время. При этом важно отметить, что эти ценности производит Ханкайская низменность ежегодно и без обесценивания себя, тогда как золотопромышленность с выработкой недр обесценивает».

Проекты и расчеты ханкайского строительства могли бы с первого взгляда показаться скучными: пускай в них разбираются инженеры-строители. Но это лишь на первый взгляд. Стоит же только присмотреться в эти расчеты поближе, и из-за столбцов цифр и из-за чертежей тотчас же заблестит во всей своей увлекательности чудесная сказка, захватывающая своей настоящей поэзией человеческое творчество.

Легко понять поэтому тот глубокий интерес, с которым мы отправлялись на Ханку на осмотр строительных работ.

За два часа мы пробежали на лошадях 20 с небольшим км. от города Спасска до с. Гайворонки и оттуда на Сантахезу, где сейчас находится центр строительства.

По проекту Красева, северная, меньшая часть Ханкайской низменности орошается при помощи канала из реки Уссури, образуя так называемый Уссурийский Комбинат, вся остальная часть должна орошаться за счет Ханки машинным путем, для чего вокруг озера устраиваются двадцать насосных станций. Их задача — поднимать воду из Ханки и подавать ее в систему распределителей, орошающих рисовые плантации.

Первая из этих станций строится на реке Сантахезе, в 6 км. от впадения ее в озеро Ханку, 5—6 км. от Гайворонки до Сантахезы проехали не без труда по скверной проселочной дороге, недавно только освободившейся от воды после наводнения. Инженер Красев, сопровождавший нас, утешал тем, что через год этого места не узнаешь, здесь будет проложено шоссе, но пока наши лошади временами чуть не по брюхо погружались в жидкую грязь.

В голой, пустынной степи закладывается новое будущее Ханкайского района. В момент осмотра главный канал и система распределителей для левой Сантахезской оросительной системы уже заканчивались. В незаконченном еще виде они, однако, успели принять первое боевое крещение, и к позорам всех тех, кто пророчил гибель системы во время наводнения, система выдержала, потерпев лишь самые ничтожные повреждения.

Строительство напоминает улей, где бойко и дружно кипит работа. В небольшом домике в 6—7 маленьких комнат, заваленных инструментами, чертежами, походным снаряжением, помещается контора — штаб строительства. В большом двухэтажном доме расположились: рабочий, красный уголок, кооперативная лавка; верхний этаж занимают семейные рабочие. Рядом идет сооружение каменного здания для насосной станции. От него до реки Сантахезы — всего лишь 40—50 метр. Фундамент и водоприемный канал уже готовы. На солидной каменной кладке высятся большой паровой котел, вывезенный из Дальзавода во Владивостоке. Инженер, заведывающий установкой котла, обещает через две недели дать пробу, а через месяц-полтора будет закончено и все здание.

Вокруг строящейся станции груды строительного материала: бревна, доски, бетонные кольца для колодца, кирпич и камень. Невдалеке несколько белых брезентовых палаток оживляют пейзаж. Тут же под открытым небом длинные, грубо сколоченные из досок обеденные столы. На заднем плане ряд сарайчиков и помещений для рабочего скота.

В двух десятках метров от конторы прямой как стрела, магистралью уходит вдаль главный канал. Он сейчас без воды: его работа впереди, он спокойно ждет, когда в него хлынет мощным потоком вода из Сантахезы, поднятая насосной станцией.

Но зато усиленно работает небольшое опытное поле, расположенное в полутора км. от строящейся станции. Заведывающий этим полем и несколько человек студентов-практикантов провели нас по досчатым мосткам и земляным валикам и подробно посвятили в планы своей работы. Все поле разбито на небольшие квадраты, в каждом из которых поставлены наблюдения на глубину вспашки, размер полива, густоту и время посева, на различные сорта риса. В своей работе опытное поле увязывается с Приморской областной станцией, находящейся в гор. Никольск-Уссурийске. Для орошения приспособлен «фордзон», выкачивающий воду из глубокого колодца, питающегося водой Сантахезы.

Трактором управляет девушка-комсомолка, крепко сколоченная, с широким, скуластым энергичным лицом, в салогах и широких шароварах.

Ханка отсюда в 2 км. Подойти, однако, к самому берегу невозможно. Трудно даже сказать, где тут кончается озеро и начинается суша, так как окраины берега густо заросли осокой и незаметно переходят в болотистую, покрытую той же осокой низину, окаймляющую озеро с восточной стороны. Ширина озера в этом месте около 25 км., и противоположный берег чуть обрисовывается контурами сопки.

Озеро волнуется, оно вообще считается очень бурным. Грязно-зеленые голы набегают на берег и шуршат, разбегаясь по прибрежной осоке. Все восточное побережье — пустыня. На всем его протяжении, от истока реки Сунгачи, где расположилось село Ново-Михайловка, и до самой южной оконечности озера по берегу нет ни одного селения. Они все вытянулись в стороне вдоль линии Уссурийской железной дороги, там же и их пахотные поля, а здесь нет ничего, кроме обширных, заболоченных, никем не используемых пространств да мириадов ко-

маров, буквально застилающих солнечный свет. Лишь кое-где над морем высокой травы виднеется труба заимки, узьява которой не то рыбаки, не то контрабандисты.

Все мутно, однотонно, нет ярких красок. Но в расчетах и планах инженера Красева дело представляется совсем в другом свете. На обратном пути, сидя рядом на телеге, подпрыгивая на кочках и отбиваясь от наседавших комариных полчищ, он излагал мне эти планы.

250.000 гектаров, втянутых в сферу ирригационных систем, произведут революцию в местном хозяйстве. Экстенсивное земледелие—жито, овес—исчезнет, его место займут интенсивные культуры: рис, бобы, свекла. В самом ближайшем будущем железная дорога свяжет Ханку с Уссурийской железнодорожной магистралью. Там, где сейчас идет постройка насосной станции, расположена железнодорожная станция «Сантахеза левая», немного ниже по реке, на другой стороне ее, где сейчас приступают к устройству второй наносной станции,—«Сантахеза правая». Проселки заменятся шоссированными дорогами. Вместо осоки зашелестит рис, желтой зеленью зазеленеют бобы. По пустынному гребню, откуда начинается пологий скат к Ханке, вытянутся ряды поселков и совхозов. Рисоочистительные, свеклосахарные, маслобойные, винокуренные, соломоткацкие заводы, бумажные фабрики явятся логическим завершением начатого строительства. Сотни тысяч людей размстятся в этом пустынном Крае. Полным шагом заработает Уссурийская железная дорога, перевоза грузы..

Что это — мечты или расчеты?

У кого другого эти проекты показались бы мечтами. Можно было бы послушать их как замалчивую, по несбыточную фантазию. Но в тихой, наружно-спокойной, уверенной речи Красева они не кажутся фантазией. За этим спокойствием, за специфическим инженерским умом, все укладываемым в точные схемы, чувствуется увлечение поэта и горение тем особым творческим огоньком, который служит верной гарантией успеха.

Ханкайским пионерам придется встретить в своей работе немало трудностей. Одна из самых серьезных—это вопрос о контингенте засельщиков. Найдутся ли сотни тысяч людей, которые согласятся повзвать со своими вековыми ржаными и пшеничными традициями и взяться за рис? При современной технике рисового хозяйства—это далеко не пустяковый вопрос. Корейская система рисосеяния,—а именно она пока что применяется на Дальнем Востоке,—немногим придется по вкусу. Нужна огромная привычка и здоровье, чтобы целыми днями в течение нескольких месяцев, пока продолжается вегетация риса, работать в воде. Единственные рисосевы у нас в Союзе—это жители Средней Азии и Закавказья, но на переселение их на Дальний Восток вряд ли можно рассчитывать. Корейцы, прирожденные и опытные рисосевы, в этом случае всегда готовы к услугам и в любом количестве, но это не может быть выходом из положения.

Заселение Дальнего Востока всегда связывается с задачей разгрузки перенаселенных районов Европейской части Союза, это обязывает посадить на ханкайские рисовые плантации курского, черниговского, полтавского хлебороба. Волей-неволей дальневосточным учреждениям придется взять на себя задачу обучить этих хлеборобов рисовому хозяйству, опираясь на широко поставленный показ при помощи опытных полей и сети показательных хозяйств. Огромное значение в этом деле могут сыграть совхозы, которые в большом количестве проектируются насадить в Ханкайском районе.

Впрочем, вся трудность вопроса о засельщиках немедленно отпадает, как только местным работникам удастся применить метод сухого рисосеяния, который они сейчас тщательно изучают по заграничной практике. Тогда посев и уход за рисом ничем не будут отличаться от обычных приемов земледелия, к которым привык наш крестьянин.

В чем же заключается революционное значение ханкайского опыта для колонизации Края?

Оно заключается прежде всего в том, что дело колонизации Ханки поставлено на хозяйственное основание, Ханкайское строительство требует средств только в самом начале, а потом оно не только не будет тянуть средств с государства, а наоборот, будет давать ему, и притом не малый, доход.

Впервые для русской колонизационной практики колонизация Ханкайского района ведется не за счет ежегодного отчисления средств из государственного бюджета, а за счет тех средств, которые получаются от эксплуатации природных богатств заселяемого района.

Казалось бы, это само собою понятная вещь. В Америке иначе дело и не ставится, колонизация новых, незаселенных окраин слишком выгодная и доходная вещь, чтобы она нуждалась в государственном бюджете. И однако, только теперь, при советской власти, наша колонизация становится на эту дорогу.

На Дальнем Востоке, надо думать, такой метод работы получит широкое распространение.

Для того, чтобы не стеснять развертывание дела разными процедурами, все дело ханкайского строительства ведется не государственными переселен-

ческими органами, а специально организованным Дальневосточным агропромышленным трестом «Дальрис», теперь реорганизованным в акционерное товарищество, в состав которого в качестве пайщиков входят Наркомзем, Дальневосточный Крайисполком, Центросоюз, Наркомторг. Дальрис ведет ирригационное строительство, организует советские хозяйства, привлекает и устраивает рабочих и переселенцев, создает промышленные предприятия, скупает и продает рис, словом ведет огромное сложное хозяйство, все время разворачивая и расширяя его. И это тоже не меньшая новость для дела колонизации.

После осмотра работ мы пили чай за длинными, грубо сколоченными столами под открытым небом при свете костра, прячась в дыму от комаров. Потом долго беседовали в конторе и, когда тронулись обратно, то была уже глубокая ночь. Ханкайская тишина и далекие сонки—все было окутано непроглядной тьмой. Лошади осторожно ступали, с трудом отыскивая дорогу...

После одного крутого поворота перед нами неожиданно и ярко загорелись огни Спасска, и следом за этим в тишину ночи резко ворвался гудок паровоза.

2. С ДОРОГ БЕЗ ВЕШЕК

Н. Ляшко

1. Т У Д А

1. Взлет

— Пора!

Крыльев пропеллера самолета не видно, — слились в мглистый диск рокота и ветра. Трава вокруг дрожит, порываясь умчаться с чуть приметной пылью в тающую синеву ночи.

Мы — четыре иностранца и я—друг за другом входим в самолет, рассаживаемся—тяжелые впереди, легкие сзади — по местам и застегиваем на себе широкие пояса.

— Готово! Всего!

Начальник аэростанции, по-пионерски вскинув руку, прощается с нами, шагает под крыло самолета и взмахивает белым флагом.

Голос пропеллера повышается, самолет охватывает дрожь, и мы, как в автомобиле, едем в нем по зеленому полю аэродрома. Мимо все быстрее несутся сонные самолеты с закутанными в парусину носами, заборы и здания.

Вот мы как-будто выезжаем на ровное место. Толчки прекращаются, миг, — и земля зыбится травною смут-

нее, предметы теряют подвижность и будто замирают. Похоже, самолет взлетел и парит на одном месте или движется в десятки раз медленнее, чем двигался по земле. Руки и ноги, все тело в ожидании—когда же он будет подниматься и полетит во-всю, понастоящему.

Ты глядишь в окно, вдруг удивляешься: «Что это?», и видишь, что Москва уже лежит серым пластом на развернувшимся черном поле лесов и тает, тускнеет.

Как поднялся самолет, ты не заметил, быстро или медленно летит,—тебе трудно определить без бегущих мимо столбов, вешек, деревьев и зданий.

Машина поет в три голоса: частым треском, порывистым фырканием и октавным рокотом. Песня ее минутами пронизывает все тело, обволакивает кости и проникает до черепа. Становится спонятым, зачем на аэростанции предложили комочек тигроваты. Вначале вата в ушах мешает, затем перестаешь ощущать ее.

2. На юг

Неоглядно широк и прекрасен простор, а сверху земля—только простор в пятнах и линиях. Он только-что проснулся. По деревьям и за деревьями букашками бредут медлительные стада. В дымке пыли серыми продолговатыми пятнами катятся телеги с лошадьми и круглыми точками движутся люди.

На горизонте разгорается костер, и от него по простору растекается розовая мгла. Вот костер вспыхивает и разрастается. Из него выходит кусок сначала желто-сердоликового, затем красного солнца. Вот оно четко округлилось, костер отталкивает его от себя и всем своим светом сливается с ним.

Облако, что плывет над нами, мгновенно рыжеет, белеет и расплывается в тонкую с круглыми шпореками канву. Промелькнуло несколько минут, а за нами вместо солнца уже катится нечто немислимое, невероятное,—нарисуй такое художник, его назовут чудяком: в жарко-красную сердцевину можно свободно глядеть, а от обода,

словно от намалеванного богóмазом светила, расходятся копыа толстых кованых лучей.

Медленно, нехотя, но и лучи и солнце становятся обычными. Тогда бросается в глаза, что мы везде строим и расширяемся. Строим при станциях, при фабриках, на полях, в городах, в деревнях, даже в лесах. И начинается это у самой Москвы.

Вот железнодорожный узел в желтых пятнах лесов и ржавчине кирпичей. За стройкой линии дороги крошечны, кривы и юлят среди насаждений кусками беспомощно склеенных прямых полосок.

В утреннем солнце все видно отчетливо, но то, что ты видишь, приходится надеяться украденными у него расстоянием чертами: дороги напоминают капризные завитушки и росчерки ребенка на цветной бумаге; тропы разбегаются жилочками на жухнущем листе подсолнечника; телеграфные столбы стоят серыми голыми карандашами; поезда бегут кольчатыми гусеницами, распускающими дымные гривы; у домов, даже у многоэтажных, нет высоты, они толпятся плоскими, обложенными кусочками мха (деревья) коробочками, какие дети вешают на елки.

Поля разлипеваны и разрисованы во все цвета: лиловые — это вспаханный чернозем, зеленые — это всходы озимых, бледно-зеленые—это всходы яровых, золотые и тускло-бурые — это пар. Невспаханный суглинок лежит бледно-серым мрамором в зеленых жилках. Овраги похожи на ямы, из которых только-что выдернули долго лежавшие в них целые деревья: в самой глубине лежал ствол, по краям распластывался ветвяк, — это углубления, сделанные ручьями и ручейками.

С неоглядной ширью наплывают города за селами, деревни за городками, стройки за прокопченным старьем... Они следуют почти друг за другом, но попржежнему кажется, что самолет летит тихо, что к вечеру ему не домчать тебя до синего моря и на пуск нефтеперегонного завода в Батуме ты не попадешь...

3. Пробуждение и родина

Я открываю окно, то-есть вдвигаю в стенку стекло и высовываюсь наружу. Вот когда ясно что такое чистый воздух! Он густ, льется, как вода, гладит ровной вихревой волной руку и властно прижимает ее к боку самолета. Он живой массой охватывает лицо, трет, моет, перебирает волосы и ресницы. Самолет живет в нем всеми скрепами, кажется, он полон жаркой крови, и она, как в темя ребенка, мерно стучит в перепонки крыла. Глаза забегают вперед, переметываются назад и опять спешат вперед, но буйный воздух, свет и тепло пьянят. Песню мотора обволакивает туман, я откидываю на сиденье голову, опускаю веки и незаметно крепко засыпаю.

Сон отпугивает говор иностранцев. Под нами кусок Харькова, а часы показывают только восемь утра. Я не верю им. «Так медленно летели и уже Харьков?» — но крошечная стрелка твердо дробит секундное поле и смеется надо мной:

— Проспал самый быстрый лет.

Под нами стремительно вырастают дома и силятся схватить нас трубами. От нас в страхе шарахаются раскачиваемые ветром тополя. Впереди забор неожиданно раскрывает перед нами зеленый рот—ам! — и хвост самолета черкает по земле, колеса несколько раз глухо касаются ее, толчок, и мы вновь, как в автомобиле, едем по аэродрому. Стремительно мелькают неподвижные самолеты, будки, труба, деревья. К задку самолета подбегает человек и на бегу заворачивает его пропеллером к югу. Стоп — и дверцы распахиваются:

— С прилетом! Можете сойти, закусить. Отлучаться нельзя, через десять минут дальше.

За нами на землю сходят люди в коже — пилот и бортмеханик. Иностранцы жмут им руки, жарко благодарят и одобряют. Я тоже жму людям в коже руки, но мне не по себе. Мне кажется, все мы—и пилот, и бортмеханик, и начальник аэростанции — почувствовали одно: иностранцы боялись, не верили, что у нас умеют летать, а к смерти не готовы.

Один из иностранцев немного говорит по-русски и расспрашивает о Харькове. Узнав, что я почти родился здесь, он оживает и вдруг с грустью говорит:

— О-о, мой ротина талеко: Новый Зеландия (Новая Зеландия).

У входа в аэростанцию он останавливается и уступает мне дорогу так, будто хочет сказать:

— Входи, ты прилетел на свою родину...

4. Тень

— Самолет уходит на юг! Пассажиры, размещайтесь!

От этих голосов перед отлетами веет морем и палубой.

— Всего!

— Счастливо!

Бодро вскидываются для приветия руки, и сотни раз слышанные слова звучат молодо, по-пионерски:

— Будь готов!

— Всегда готов!

...Бескрайная, взрыбленная лесами равнина уже согрета солнцем. Самолет изредка вздрагивает, шевелит пластичными придатками крыльев и как бы опускается в яму. Я хочу узнать, действительно ли он опускается, свешиваю голову и проникаю во все тонкости работы плавающих над озером чаек: вода лежит на рябом дне шербатым кругом прозрачного зеленоватого стекла. Видно насквозь.

В лесной гряде пестреет крышами нарядный в пунктирах палисадников игрушечный поселок. Из середины его к самолету тянется знакомая рука золотистого Ленина на темном пьедестале... А чуть дальше, за лагерными палатками красноармейцев или пионеров, похожими на стаю лебедей, спрятавших под крылья головы, с берега речки глядит другой... Его смутно видно, но, кажется, это коренастый, рано, трагически сложивший голову тов. Артем. Это он стоит у бывшего монастыря и стережет отдых горняков.

В стороне часть кипучего Донбасса. Он белеет и желтеет свежестью строек и перестроек. Дали его с громадами

заводов и высеченными терриконами дышат Египтом.

И вот здесь, за Донбассом, я твердо осмысливаю, с какой быстротой мы несемся. Начинается это с коршуна: он точкой плывет под нами, отстает, уменьшается, ведет глаза назад и наводит их на бегущую за нами по земле тень самолета.

Тень огромна и мчится по земле четким крестом, мчится так, что сразу не веришь, будто так же быстро мчимся и мы. Она в мгновенья пересекает полосы земли с тракторами и плугами, широченные луга с речками и озерами, гладит белые стены, хохлатые крыши и похожие на белые дымки или пристывший к земле ноздреватый снег цветущие сады. В беге ее освежающий ветер величия.

Она будит в хатах и на полях мысли о новых дорогах человека, о путях без вешек, о счастье взмыть над землей и лететь, лететь! Она вскидывает к синеве лица, оживляет снятые с плугов руки, и они машут нам, машут всколыхнувшей сердце радости — лететь, лететь! Она наводит страх и заставляет креститься, и крестьящиеся не замечают того, что она отражает тончайшей симметрии крест.

Вот она полосует село, тянет за собою глаза полольщиц, пугает на выгоне овец. Табун лошадей парашаается от нас, а молодой жеребенок, взметнув хвост и гриву, скачет ей вдогонку. Видны его старалющиеся ноги-солеминки, а тень уже в версте от него...

5. Радуги

В Ростове все новые постройки затмевают полуоблаженный от лесов завод Сельмаш. Рядом с ним старый «Красный Аксай» — а сверху их удобно сравнивать — мал, тесен и темен.

Дон на версты расплеснулся по низкому берегу поздней весенней водой и дрожит на солнце мутно-бурой гладью. Вокруг Ботайска я ищу знакомые балки, но их нет, — они тоже под водой. И памятного депо я не могу найти, — все разрослось и стерло старые, полыхавшие бурьянами места...

...У Тихорецкой земля обмахивает нас теплым густым запахом чебреца, а сбежавшиеся парни, девки и детвора осыпают звоном голосов. Самолет торопится от вислобокой тучи с опустившимся на степь дождевым хвостом. Она не успевает настигнуть нас, но, когда мы вырываемся из ее тени, самолет на лету огibaет удивительная радуга. Она не похожа на радугу, какие мы видим с земли: те стоят вдалеке овальными воротами, эта огibaет самолет почти правильным кругом и несется за нами, вернее, хвост самолета несет ее на себе. Один бок ее вскоре рушится, другой висит луком, медленно тускнеет и расплывается.

Я жалею, что радугу видело так мало людей, думаю о ней, а сбоку внезапно встает мгlistая завеса дождя, несется нам наперерез и захватывает нас: ж-ж-ж. С крыла самолета туманным шавлиньим хвостом летят еле видные брызги, вытягиваются в белые столбы, и мы несколько минут как бы висим на них.

Впереди золoteет, тень тучи отодвигается, полосы солнца отсекают от нас столбы влаги. И тогда за нами вспыхивает новая радуга, еще более ослепительная, более круглая и четкая, чем первая. Она будто вкатывается из хвост самолета, замирает и мчится огромным кольцом. Красками она до того могуча и сочна, что сквозь нее ничего не видно, словно она вылита из стекла. Ниже хвоста самолета в ней зияет разрыв. Обод ее, как рама, мчит уплывающие дали, засевае небо ослепительными искрами и внезапно распадается. Круга уже нет, — за нами гонится гигантский пылающий серп. Вот он тускнеет — и нет его.

Мы глядим на место, где он только что играл. Один из иностранцев качает головой, и я вижу, что радуга смыла с его глаз горделивую улыбку сквозь снисхождение, и в них светится молодое, жадно распускающееся к жизни: радость и удивление...

6. Белое море

Под нами бесчисленные складки гор. Они клубятся зеленью лесов, крышами и виноградниками, пятнами утесов,

реками и речками, железнодорожным юльвивым полотном, дорогами, дорожками и волокнами тропок. Кипенье их расплеснулось до облитого косым солнцем снежного хребта.

Мы приближаемся к перевалу, который ждет поэтов. Сюда, на огромную высоту, никем не воспетые герои внесли трубчатую дорогу нефти из Грозного. Здесь, рядом с траншеей этой дороги, они высекали в горе гигантскую лестницу, — по ней в долину надо спускаться больше часу. Они работали срочно, к сроку, в темноте, в слякоти, с фонарями... Сквозь хаос и дичь гор и степей шли они, сметая сталью преграды. Много раз пересекали железную дорогу, через поймы и овраги перекидывали эстакады, спускались на дно рек. Взрывали скалы, дерзко внесли дорогу на перевал, почти отвесно спустили ее дальше, — и теперь каждая доля нефти в полторы недели добегаёт по трубе от Грозного до моря.

Вот вздымаются десятки колоссальных хранилищ, где отдыхает она после долгого бега. Это в одной части обновленный, а в другой — совершенно новый Туапсе. На склонах гор раскинулись сооружения нефтепереработочного завода, электростанция, поселок, клуб. Вокруг них все ширится, взрывается, умащивается.

За этой пирамидой сделанного должны быть мол, ширсы и синее море, но вместо синего на нас надвигается ровное, спокойное белое море. Мы вытягиваемся и открываем окна.

Самолет летит над белым морем вдоль гор. Тень его скользит по близне смутно-радужным маленьким пятном. Один миг кажется, что море отражает белые облака, но небо над нами чистое, солнце горит ниже самолета, на краю белого моря, и красит его в краски близкого вечера.

И вдруг внизу, по краю горы, залитому белым морем, кольчатым червем пробегает поезд. Сколыхнутая им белзна отползает ниже. Из-под нее в глаза плещется зелень деревьев, а через несколько секунд синее море.

— Туман!

Лица иностранцев полны оживления, а в глазах раздумье.

Туман лижет горы, медленно поднимается на них, а впереди редеет, темнеет, и на нас в блеске, в неоглядной шири плывет синева. Сквозь волокна тумана уже видна рябь воды. Четко выступает точно икрой намазанный берег. Это валы гальки. Волны белым шумом наматываются на них, как на верстена, разматываются и вновь наматываются.

Белое море сзади, синее впереди.

II. ОТТУДА

7. Над нефтью

Каспий в судах. В нем купається серый Нарген, в него упирается плечо Зыха, из него вздымаёт вышки остров Артема. С материка взблескивают мутно-зеленые озера, а дальше, куда глаз хватает, лежит огромный, рогатый, местами густой, местами редкий венчик вышек. Он серый, ржаво-бурый, и из него косяками чистоты и свежести выступают табуны новых рабочих домов. Ни в одном городе не горят так куски нового, как здесь.

Белеет новый мол, что петлей кинут на часть скрывающего нефть Каспия. Петля еще не стянута, — остались ворота. Скоро они будут заперты, отрезанную воду машины выкачают в Каспий, и на ее месте вырастут вышки. Одна уже выросла там, выросла без суши, на воде. Мост, соединяющий ее с молом, кажется ковром.

Возвышенности, что огибают Биби-Эйбат, машут морю грядую вышек, а им машут другие, дальние, те, что не видят моря, — все они в переключке перед встающим рабочим днем.

Среди них черными озерами блестит откачанная недряная вода, змеями разбегаются трубопроводы, четкими рубцами выступают черно-ржавые следы впитанной землей нефти.

Каспий просыпается, дымки заводов и города уже далеко, а вышки все шагают и говорят о могуществе нефти. Она расплеснулась отсюда во все концы мира и гудит в машинах городов всех стран, во всех частях света, — в зное Африки и в пурге полярных ночей. Миазмами склок и братоубийств

окутаны думы о ней в банках, конторах, парламентах... Вышки кивают нашим думам макушками. А за ними, со стороны гор, по дорогам идут верблюды и еле приметными змеиными головами отмахиваются от первых всплесков песчаной дневной метели.

...Под Тифлисом у серого озера земля вспыхивает красной стрельчатой полоской. Это керосин. Проскакав через степи по звеньям труб, он сворачивает к горам, в сторону моря.

На подступах дальних гор стоит аспидная мгла, на ней высятся неподвижные обелиски белых облаков. Они следят за нами, они глядят, куда мы летим, — на гряде гор, на крохотных домах среди них, на разлив лесов и садов...

Из зелени вместе с рекою выбегают широкие крылья бетонных водоотводов. Выступают строгие плотины электростанции... Обелиски облаков вздрагивают и медленно стекают к белеющему снегами хребту.

8. В облаках

Море прозрачно до пятнистого дна. Первая гряда толпящихся к нему гор уже сбросила ночную мглу, следующие за нею дремлют в высоких клубках облаков, а дальше облака над горами выше, кудрявее и гуще.

Самолет сворачивает в море и делает полукруг. Значит, мы возвращаемся на аэродром и будем ждать, пока солнце не сгонит с перевала облака. Но самолет делает новый полукруг и по ущелью между двумя громадами облаков устремляется через горы.

Мгновенье — и нас с боков и снизу обступает белизна. Сквозь стекло она кажется покрытой пылью серы. Я нажимаю на стекло. Уползая в стену, оно будто собирает с белизны серу, и облака выплывают из-под него белыми до синевы. Небо над ними выглядит бледным, полинялым.

Облака клубятся. Тень самолета режет их черным широким пятном в кольце тусклой радуги. Мотор поет

четко, густо и угрожающе уверенно.

В прорывах облаков встают и пропадают макушки ближайших гор, а за вершинами как бы подмывающих самолеты облаков спокойно высятся сверкающие снегом головы дальних гор. Глубы облаков, кажется, вылетают из них.

Снизу через прогалины в облаках изредка на нас взглядывают ущелья, — в них клокочет пена черноты, синевы, зелени и желтизны.

Сзади облака мгновениями разрываются, мигает даль моря, но набегающие новые белые клубы смывают ее. Сбоку внезапно разверзается воронка; в ней, как на дне трубы, мелькают домики и кажущиеся вышитыми на соломе виноградники. Одна сторона воронки превращается в кисею. Открывшаяся сквозь нее долина кричит нам клубком красок, бежит к подножиям гор, а оттуда в нее летят сизые клочья, свиваются и тают.

Сзади зелень долины сбегает до берега. Облака стынют над синевою моря и под синевою неба. Небо и море сплюсцивают их в кудрявую длинную грядку, сбивают в белую льдину, вытягивают в веретено, наконец, разрывают их и сливаются...

Облака медленно расходятся над морем белыми воротами. От них нельзя оторвать глаз, но под нами все будто вздрагивает и отдается радостному всплеску листьев, ветвей, стеблей и ручьев: это из-за гор падают первые брызги солнца. Земля становится невероятной, сказочной, радужной.

— Вот, — кричит мне сосед, — го ворят, нет красоты в жизни! Враки! Есть такая, что заплачешь!

Я взглядываю на него, но он прячет помолодевшее лицо и, может быть, бранит себя за то, что дал волю чувствам. Я понимаю его, — над горами, в облаках, в брызгах солнца сердцу трудно тукать на поводу: перед глазами в миг пронесется вся твоя жизнь, и ты будто прикасаешься к тому, чего вместе с тобою хочешь вся земля.

А земля вот, рядом. Она из облаков по-иоперски вскидывает навстречу руки в зелени, в серебре, в синеве и машет самолету, пилоту, бортмеха-

нику... Она молода и кричит всеми зелеными, золотыми, серебряными зевами, всей своей ширью кричит, что ей мало кипящей в ней работы, что ей нужны сотни миллионов крепких рук и горящих пытливым сверкающим солнцем голов...

Мы вылетели из облаков и снижаемся к равнинам, а земля все машет нам бесчисленными руками и заглушает песню дерзкой машины звонким зовом к счастью:

Всегда готова!
1929 г.

3. В ГОСТЯХ У КУРДОВ

Хаирхан

Пролог

Мы вдвоем вошли в черно-серый особняк ЦК Армении. В стеклянной комендатуре справились:

— Где искать Шамилова, инструктора ЦК, курда?

— А вот он сам идет.

Человек массивного среднего роста в европейском костюме и с круглым светло-коричневым лицом подошел быстро и любезно-вопросительно. Но я врасплох огляделся: где же курд?

— Я — Шамилов, — сказал он четко по-русски.

— Мы... такие-то. Мы знаем, что вы — единственный курд-коммунист, а больше мы ничего не знаем о курдах. Но мы приехали затем, чтобы узнать...

Шамилов просиял и оглядел нас обоих так решительно, что я залпулся.

— Я извиняюсь, что перебил вас, — заговорил он с деловитой приветливостью. — У нас есть целые ячейки курдские, а не то что я единственный курд-коммунист. Но где же ваши вещи?

— Вещи?.. Вы думаете, что мы прямо с вокзала к вам? Вещи в гостинице, где же им быть!

— Как! — вскричал тогда человек этот с выраженным страшной обиды. — Вы приехали в гости к курдскому народу и остановились в гостинице?!

Я растерянно раскрыл рот и посмотрел на коменданта.

Начало дороги

Черной ночью мы вышли на станцию Кара-бурун под перевалом Черный Мыс.

Главное население здесь были восемь милиционеров. В большой и черной ка-

зарме у них мы расселись по кроватям и принялись разговаривать. Люди сходят с поезда довольно редко в Кара-буруне, а мы были люди. Тем более т. Шамилов, который знал, о чем надо рассказать черномысцам из столичной эриванской жизни.

К сожалению, мы торопились дальше. Но сверху с гор не прислали лошадей: телеграфист в Эривани недаром намекал, что не отправит нашу телеграмму. Он на что-то обиделся.

— Что делать?.. Вы дадите нам лошадей?

— Дадим, конечно.

— Значит, можно ехать?

Нет, это было не совсем одно и то же... Начмил покачал головой.

— Сейчас, ночью?.. Что вы. На-днях курды потеряли пограничникам четырех лошадей. Нельзя ехать.

— Какие курды, каким пограничникам? Как это — «потеряли»?

Начальнику милиции не хотелось беспокоить гостей. Он уклончиво опустил глаза и, подняв ноги, пристально взгляделся в темный земляной пол, затем он быстро стукнул каблуком и зажег спичку. Большой желтый скорпион лежал на полу неподвижно.

— Расскажите же в чем дело?

Начмил стал рассказывать «в осторожных выражениях». Турецкие курды иногда переходят границу, чтобы у нас пограбить скот. Вот на-днях несколько курдов пробовали ночью перейти границу и наши пограничники отняли у них четырех лошадей.

— Но к сожалению самих не захватили и даже не убили. Это очень плохо. Когда они теряют человека, тогда больше не идут. А теперь им позор, что

они потеряли лошадей. Теперь они не успокоятся, пока не вернут их. Могут, например, на вас напасть ночью и взять наших лошадей за своих.

— А с нами что они сделают?

— С вами? — начал удивился такой паивности. — Вас убьют.

Затем он счел нужным извиниться за свою бережливость и пояснил:

— У нас только один комплект лошадей, мы не можем рисковать.

Это, конечно, было вполне убедительно, и мы ночевали в Кара-буруне у стрелочника-приятеля. Шамилов со стрелочником лежали на полу, толстое шерстяное одеяло было узко на двоих, и всю ночь они любезно бросали его друг на друга.

Я во сне боролся с клопами один против целой армии. В пылу борьбы я просыпался и хотел с себя скинуть слишком теплую шерстяную толстую ночь, но всякий раз она сама ползла на меня обратно. Кажется, это было одеяло. Шамилов сдержанно вздыхал и, судя по звукам, искренне сомневался в отсутствии скорпионов.

Утренний поезд должен был нас разбудить, но утро опоздало. Так как все были привыкшие к порядкам на Закавказских железных дорогах, то никто не стал его дожидаться.

Первые же блистательные лучи рубинового солнца заменили черный ночной цвет Кара-буруна более радостными красками. Милиционеры заложили нам качку и выделили одного с ружьем для охраны лошадей. Качка пошла.

Какая качка!

По лавовым волнам Алагеза

Двуколка называлась «качка». Я был уверен, что название — армянское, но Шамилов твердо отрезал:

— Нет, это русское слово.

Он удачнее меня разобрался в языках, я немедленно убедился в этом и, стиснув зубы, признал его правоту. А если бы я не стиснул зубы, — я непременно откусил бы свой язык, потому что качка началась!..

Сперва по мелкой каменной зыби она трясла и бряцала мной в игривом тремоло (так иные украинские бабки называют землетрясение). Возница искоса

поглядывал на меня через плечо, он спокойно и неотрывно сидел на остром углу ящика, свесив ноги на оглоблю. Меня, как гостя, он разместил частью на сене, частью на мешке с сухарями, а под ноги дал связку писем и газет. Мне должно было быть удобно, и я старался любоваться вулканическим ландшафтом. Ландашфт лихорадочно подскакивал и удивлял меня могущественным вулканом Алагезом, вторым в мире по массиву... Алагез торопливо высовывал все сразу свои четыре вершины то с правого борта, то с левого, а то и в ногах.

— Как-кой ббольшой! — удивился я. — Он везде.

Милиционер ехидно промолчал.

Шамилов устроился верхом на кобыле. Пока он держался качки, все было по вышеописанному. Но ему пришлось в голову выехать вперед. И тогда костистый злой и старый жеребец, нехотя волочивший ящик, воспрянул и устремился за кобылой с громким ржанием.

Мелкая зыбь сменилась крупной волной. Мы поднимались по розовой лаве «против шерсти», мы везжали на Алагез, а волны отвердевшей лавы скапывались вниз и крутыми прочными гребнями встречали колеса нашей качки. Двуколка дикими скачками помчалась за влюбленным жеребцом. Что приходило в голову буйному гнедому старику? Он прыгал и мотал головой с несокрушимой энергией.

Крупные выпуклые плиты заставляли двуколку плясать, как балерину, в бесстыдном танце неистово вскидывая то правое колесо, то левое. Милиционер начал что-то напевать по-армянски... Валы все крупнее и чаще попадались на дороге, и скоро дорога стала лишь изредка попадаться среди камней.

Слева утренний поезд прошел и скрылся на головокруглительном подеме. Закавказские поезда привыкли к уклонам, как и местные породы лошадей.

Тот же пейзаж ногами

Эта гора была наливная, в роде наших бетонных сооружений. Ее налил вулкан во времена, которые теперь считаются устарелыми. Лучшее всего, если я сравню ее с грибными наплывными

буграми на гниющих пнях и на старых деревьях.

Слой над слоем отчетливо застывали пласты вытекавшей лавы. Я вспомнил, что сказано в «маршрутном сборнике» о дальнейшей дороге: «Очень трудный спуск».

Автор сборника ехал, очевидно, мне навстречу. Я взглянул на широкие каменные валы, восставшие перед «качковой» крутыми террасами одна над другой наподобие вавилонской башни. Лучше я не буду подниматься в качке по «очень трудному спуску».

Жеребец ринулся в зигзаг на обход кручи, а я полез вверх напрямик.

С высоты колес радиус моего ландшафта простирался до трех метров,—до ближайших горбов на дороге. Теперь с высоты среднего человеческого роста пейзаж сузился до одного метра. Он состоял всего из трех или четырех камней, но зато это были большие и дельные камни. Говорят, это дождевики вулканических «дождев», орошавших местность после извержений Алагеза.

Каждую «дождевину» я обходил или карабкался через нее наподобие комнатной мухи. В щели был виден второй слой таких же ядер. В общем «осадок» был тяжелый.

Страшновато мне показалось в такой местности! Кто прячется за соседним камнем?.. Здесь, как говорят курды, «слишком» удобно подстерегать желанного врага, но здесь удобно и наступать! Здесь раздолье для коварных битв с внезапными засадами, с удобными выстрелами в спину и с безбоязненным поджиданием добычи.

Вдруг... голоса!

Поневолу я вздрогнул и в первую секунду притаился. Чорт возьми, еще попадут две милицейские лошади курдам?..

Но нет: бандиты не стали бы выдавать себя громким смехом. Я решительно вылез из-за прикрытия и запрыгал дальше к вершине. Никого еще не было видно... На всякий случай я старался не шевелить осколки и инстинктивно не делал шума.

Минуты не прошло, как сверху сорвалось огромное ядро, целая скала, и покатилося, расшибая мелочь, с грохотом прямо на меня. Я бросился влево,

но ядро отклонилось тоже влево и пролетело в восьми сантиметрах, обстреляв меня мелкой «крошкой». Сверху разнесся довольный хохот и... явственный армянский разговор!

Большая партия рабочих армян и курдов расчищала широкое полотно для нового шоссе. Они меня не видели.

Коровы в церкви

Коровы паслись в церкви.

Церковь увенчивала вершину этого предгорья, из вулканического слежавшегося пепла построили ее армяне в то еще молодое время, когда и вершина была совсем свежая, а может быть, и теплая, еще не успевшая остыть от сотворения. Но теперь из часовни вывалились большие куски и она выглядела скужающей.

Коровки были и теперь молодые, но теперь они были здесь единственные прихожанки и питались травой, не указанной в грегорианском молитвеннике.

Пастух держался в отдалении. Он не знал, какое у меня оружие, и может быть, надеялся, что я не стану грабить его громоздких коров.

Я не стал их грабить.

На вымершей планете

С вершины было легче осмотреться.

Все плоскогорье, через которое предстояло перебраться, было толстыми стенами поделено на большие прямоугольные поля. Дальний край плоскогорья был также приподнят, но вместо церкви его короновала сильная крепость с обломанными зубцами старых башен. Под нею, под длинной черной стеной весь склон холма был усыпан громадными обломками, так что и весь хлом казался чудовищным нагромождением, кучей набросанных скал.

Поля были явно расчищены, гладкие. Я обрадовался и бодро двинулся дальше.

Солнце за это время успело разогнаться и грело гору в самое темя.

Брошенная жизнь, безлюдная земля приняла меня в странные, чудные покои. Почва, не орошенная, не оплодотворявшаяся сотни лет, была охвачена рецидивом девственности, стала плоска и тверда, как спортивный трек, и за-

росла бурьяном жестким, старческим и мелким.

Поля были заключены в сильные высокие стены из крупных глыб и камней. Как-будто им приходилось обороняться друг от друга? Здесь бывали комнатные войны? Между полем и полем?.. Некоторые стены служили в две стороны, на два поля, двум хозяевам, как служат наши межи. Но в других местах воздвигались рядом две стены. Между ними узкий переулочек мог пропустить одного человека, одного всадника на коне или на корове...

Поперечная стена запирала меня в тупик, и я вдруг начинал думать, что та, потусторонняя, половина мира для меня недоступна.

Может быть, этими солнечными залами пользовались на зиму для загона скота?

Может быть, эти стены — поневоле: надо же было куда-нибудь убирать щедрые каменные дожди Алагеза?..

Стены немного истрепались. Кое-где отвалилась часть плит, и угловые массивные башни с комнатками пообрушились в верхних частях. Но пробираться через все это было нелегко и непросто.

Иногда я пробегал по неровному коньку стены, распугивая ящериц и скорпионов.

В других местах я крался в сумрачных ущельях, между тесных темно-серых пепельных и лавовых стен. Мной овладело фантастическое и ни с чем несравнимое чувство, будто я единственный живой попал на обезлюдившую планету. Ни одно насекомое не появлялось в беззвучном вымершем воздухе. Я страстно захотел обратиться с разговором к этим увечным стенам, просить их сказать мне что-нибудь на моем человеческом языке, хотя бы одно слово! Я бы тогда примирился с ними и уже не чувствовал бы себя таким единственным в мире, и больше не страшился бы с ними остаться жить.

Тончайшее шуршание ящериц, которое слух не слышит, но как бы осязает.

А внутри персидской семисотлетней крепости царя Сардар-абада со львом и львицей над воротами оказалась тюркская деревня. За старыми бойницами перебежали крестьянские мальчишки

в лохмотьях, сторожа мой путь прищелца с другой планеты и угадывая мои мирные или военные намерения.

Талын после тревоги

Через пять часов мы вступили в Верхний Талын.

Правду сказать, он показался на первый взгляд не столь Верхним, сколь Сонным: усталые бессонные люди двигались в исполкоме и в парткоме. Мешки свисали из-под глаз красивого партсекретаря. К нему входили сонные коммунисты-армяне и бунчали сонными голосами. Я поинтересовался, не местный ли климат виновник этого явления?

Секретарь поднял от бумаг красивое сонное лицо и рассеянно ответил:

— Он уже под арестом.

Я не поверил ему, зная провинциальную склонность к преувеличению советских достижений. Я оказался прав.

Под арестом был не климат, а начальник станции Кара-бурун.

Трус этот вчера ночью зазвонил сюда по телефону и забрал не своим голосом:

— Помогите! Курды напали!.. Спасите нас!..

Ничего нельзя было добиться от него, телефонная трубка ревела:

— Курды!.. Курды!.. Спасите!

Вмиг была мобилизована вся талынская партийная и комсомольская организация, и соединенный отряд с милицией понесся по «очень трудному спуску» в Кара-бурун. Через сорок пять минут лошади легли у черных рельс.

Начальник станции сидел в своей конторе у аппарата и скромно улыбался.

Он испугался женского крика... Женщина испугалась собаки. Кого испугалась собака — следствием не установлено.

Под грозным Богутлу

Все же «качка» кончилась. Отсюда она пошла обратно на Черный Мыс, а мы заседлали сонных коней и поехали дальше: под грозный Богутлу.

Богутлу — бандитская станция. Он невысокий, ниже двух верст, но овущелистый и внутри пустой. В пещеры прячутся турецкие курды, выжидая

время для набега. Там запасы продовольствия и фуража. С Богутлу они спускают разведку и сюда же в пещеры прячут угнанный скот, пока будет возможно его переправить дальше, на турецкую территорию.

Мы ехали самой подошвой этой горы и посматривали на нее с неодобрением. А кто сейчас оттуда, сверху, посматривает на нас? Впрочем, Таджат что-то рассказывал Шамилову довольно горячо, и Шамилов сидел в седле немножко наклонясь вперед и уютно согнувшись, как сидит внимательный собеседник в широком кабинетном кресле перед лампой с зеленым абажуром...

Нагаек не было ни у кого. Шамилов время от времени рассеянно трогал по крупу лошади моим сложенным штативом, который он называл почему-то «верстак».

Дорога среди мягких, обработанных полей армянской деревни Пирмалак скоро вошла в более узкую долину, и здесь Таджат, натянув поводья, поднялся в стременах, стал вглядываться в степь. Что-то он сказал Шамилову. Затем его рослый жеребец оттолкнулся от земли и бешеным галопом умчался к предгорьям вправо.

— Что случилось, Шамилов?..

Шамилов обеспокоенно вгляделся туда же в степь и приподнял на стременах массивное тело.

— Шамилов, что там?

— Так, ничего... Кто-то побегал, ему показалось. Обождите, я поеду посмотреть.

Он привстал — и, грозно прицеливаясь из штатива, исчез в вечерних лучах, забрав еще правее Таджата. Я медленно поехал за ними по средней линии. Под холмами они стояли оба, очень довольные.

— Это двое пить бежали, — объяснил Шамилов. — Там вода. Я уже их ругал, зачем бегут... Слева Богутлу, они бегут, как раз к холмам направо, а мы посередине. Я думал, они возьмут Таджата в засаду, пропадет бедный...

Но Таджат помирал со смеху и требовал от Шамилова еще каких-то подробностей... Шамилов стыдливо улыбнулся и поднял штатив.

— Оружия-то ни у кого из нас нет. Я взял «верстак» и выставил вперед.

Думаю: курды могут подумать, что это какой-нибудь новый английский пулемет, хорошее оружие... Они уже побоятся стрелять. Наверняка не стреляли бы.

Первый посев

Мы прошли между холмов и увидели большую лужу от весенних дождей. Вода держалась в маленькой приподнятой ложине и, чтобы не вылилась в долину, была подперта каменной дамбочкой не выше метра.

Кони с презрением повели ноздрями над застоявшейся непроницаемо-грязной водой и нехотя стали пить. Затем они по конскому обычаю захотели тут же помочиться, но Шамилов этому воспротивился.

Мы с ним вернулись тем же берегом, а Таджат смело взбаламутил всю лужу на своем высоком жеребце и сошел в долину другим берегом. К Богутлу мы повернулись теперь спиной и ехали маленькой, сухой долиной. Она, однако, вся зелела мелкой, веселой озимью. Пахота была ровно-ровно причесана, можно было подумать — не бороной, а волосяным гребешком.

— Чей это такой любимый посев в сухой долине? — удивился я. — А пирмалакская превосходная земля разделана с небрежной шедростью...

— Там — армяне. А это сеяли курды. Мое удивление еще более возросло. Армяне — культурные земледельцы, у которых только и могут здесь учиться неопытные курды-кочевники. Когда же курды смогли развить свою собственную земледельческую культуру?

Шамилов подумал и ответил:

— Все это так, но посев, который вы видите, — это первый посев кочевников племени Мукри.

Поселение племени Мукри

Мы попали в лабиринт предгорий. Солнце где-то закатывалось, и глубина ущелий по обе стороны хребта начинала быстро меркнуть и наполняться прозрачными реками сумерек. Некоторое время тропа вилась по голому темени хребта, а потом бесстрашно соскользнула в потемневшую и чрезвычайно извилистую яму... В ее чертовой глубине я разглядел высокие сенные

стога и возле них маленькие каменные ящики, похожие на скверные могильные склепы, но это и были перволетние домики племени Мукри.

И ни живой души нигде!

Шамилов сказал:

— Помните ту лужу? Они пьют из нее, другой воды нет.

Я подумал: «Таджат взбаламутил воду не зря. Он коммунист, но он не любит курдов, как любой армянский башнак».

В безмолвии подвигались мы сухим галечным ложем снежного потока. Он делал улицу. По обоим очень крутым склонам держались в углубленьях домики и стога, домики и конусовидные кипы топливного кизьяка, как хозяйственные гнезда больших и неведомых птиц. Поселок притаился, выжидая, чтобы мы сами обнаружили свои намерения.

Но еще через несколько минут нас уже окружило человек по крайней мере пятьдесят.

Мужчины узнали своего Шамилова и послепно сходили с круч, старики и молодые в черных стеганых одеждах, похожих и на халат и на пальто, в барашковых папахах. Мужчины приветствовали нас сложно-комбинированным римско-мусульманским движением руки, туловища и головы.

Пальцами правой руки они почти касались лба, затем на быстром переходе к сердцу рука успевала изобразить изысканный реверанс и жестом широкого подношения опускалась до земли открытой ладонью к гостю.

Мужчины сейчас же затеяли с Шамиловым оживленный и даже ожесточенный разговор.

Женщины приблизились до десяти шагов. У всех были заняты руки: вязаньем или ребенком. Только девочки были свободны. Одеты все были в изобильные цветные юбки, запоясанные так многократно, что получался даже у пятилетних девочек в роде как беременный живот. Это была явная стилизация — мода.

Все были азартно заинтересованы, увлечены и оживлены редчайшим появлением горожан. Мы были людьми будущего!

Их лица смуглы и продолговаты, глаза очень быстры и ярки, черные брови длинно изогнуты, улыбки натуральны и радостны, зубы блистательны.

У истоков истории

Женщины внимательно прислушивались к разговору.

Два года тому назад сошли с Алагеза сорок палаток, сорок фамилий из племени Мукри, и осели здесь, в долине Кялто. Но сходили не сразу все: кто поспешил и пришел в Кялто раньше на несколько дней, а кто повременил наверху и пришел в долину вторым. Тот, кто пришел вторым, нашел на лучшей земле уже знаки владения, поставленные первыми!

Лучшие участки уже были захвачены. Пришлось довольствоваться худшими... Совершался первозахват: начиналась история.

Первыми побежали к земле самые сильные, богатые скотоводы. Они пришли в долину, никого еще не было кроме них, они спокойно осмотрелись и выбрали получше и побольше. До сих пор они были «скотьи князья», — сейчас начиналось земельное дворянство.

Небогатые не могли рано уходить с нагорных пастбищ: наверху со скотом легче прокормиться.

Но были и третьи — самые бедные. Они сидели на Алагезе до самых снегов и спустились к нижней земле на зимовье последние... Для них земли уже вовсе не осталось.

— Араб джан! — закричали сегодня вечером бедняки, как только завидели Шамилова. — Милый Араб, где же земля?

— До сих пор мы были только пастухами у беков, а теперь мы пастухи наверху, а внизу на зимнике — мы еще и батраки...

...Начинался пролетариат!

Путешествие на машине времени

Я читал, — мы все читали об этом, — о том, как все это происходило в древности. Ученые изыскивали по памятникам, по безмолвным скрижалям земли, как это началось: как начались мы, наша новая культурная история! Помните? Глава о происхождении классов современного общества...

Все это было тысячи лет тому назад.

Но вот, будто химерическая машина времени прокатила меня по обратной дороге веков, — и я сам, с печатным учебником в руках, раскрытым на первых страницах, проверяю, как это было, и присутствую непосредственно при первых сценах первобытной этой жизни. Я вижу их не на экране, не в диапозитивах музея и не в киноинсценировке.

Вот этот усатый и черноволосый кочевник в лохмотьях, захвативший за прошлой осенью лучшую землю в Кялто: это родоначальник будущей фамилии Гасо?..

Через двести лет его потомки выстроят здесь на вершине крепкий замок и сделаются феодалами?.. Они уже будут владеть деревней на крепостнических началах и будут кичиться перед всеми незапамятным своим «благородным происхождением»? А на стенах замка в высокой галлерее будет в длинном ряду золоченых портретов висеть и первый князь, — вот этот замухрышка-скотовод?.. Но он, конечно, будет изображен с белым упитан-

ным лицом и вместе с тем воинственным и благородным, а одежда будет на нем либо железная, либо парчевая, но никак не эта вот, которую вижу я, старая шерстяная рвань, не то кафтан, не то куртка...

Я поворачиваю голову от предка князей к другому предку — к советскому коммунисту 1928 года, Шамилову. Машина времени делает невероятный скачок через тысячелетие и забирает кроме меня еще многих пассажиров — всю курдскую деревню Кялто!

Под невидимыми, но сокрушающими колесами исчезает в нетях весь длинный род гордых князей Гасо — их не будет. И замка на горе тоже не будет!

Шамилов обещает беднякам немедленный, полный и правильный передел всей земли. Деревня никогда не будет вассальной!

Машина революции сгустила все эпохи в один год.

Я с удивлением отхожу в сторону от смеющейся машины с обманутым учебником в руках и сажусь на коня.

За рубежом

1. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету. — 2. ПОГРАНИЧНИК. Курильские острова. — 3. В. ВАСИЛЬЕВ. Монгольские очерки.

1. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

Обокраденные консерваторы. — Человек из Иоркшира, его жена и Второй Интернационал. — „Стена Плача“ и седьмой доминион. Невытанцовывающееся разоружение. — Вашингтон или Владивосток. — Замаскированный реформизм.

Обокраденные консерваторы

Когда одного англичанина спросили: будет ли осуществлен проект устройства тоннеля под Ламаншем, соединяющего берега Франции и Англии, тот ответил: вряд ли, — ведь этот проект фигурирует в программе кабинета Макдональда, а что имеется в этой программе, то не осуществляется.

Сказано зло, но метко. С программой Макдональда вообще случилась престранная история. На выборах Ллойд-Джордж упрекал рабочую партию в том, что она украла у либералов их программу. Упрек казался справедливым, но лишь до поры до времени. Первые же месяцы пребывания Макдональда у власти показали, что либеральная программа не была украдена рабочей партией. Она была лишь временно использована лебористами в избирательных целях. Настоящую же программу управления страной Макдональд украд не у либералов, а у консерваторов.

С полным основанием заявил Болдуин во время дополнительных выборов в Престоне: «Если меня сместили за проведение определенной политики, а народ полагает, что необходимо вести другую политику, то разве я не в праве протестовать, когда я вижу, что все сейчас происходящее является осуществлением моей политики иным лицом».

Слова Болдуина относились главным образом к внешней политике правительства Макдональда: Болдуин ссылался на позицию Гендерсона в вопросе о возобновлении сношений с СССР и на заявление Гендерсона о том, что в вопросе об эвакуации Рейнских провинций он будет выступать согласованно с Францией и Бельгией.

Но линию консерваторов Макдональд ведет не только в вопросах иностранной политики, — его методы управления страной тоже ближе всего подходят к политике его консервативного предшественника. В этом отношении он вполне стоит на высоте. Если в своей внешней политике Макдональд допустил некоторое количество промахов, обнаружив известную неумелость, то по части укрепления основ капитализма в самой Англии он безусловно может дать Болдуину несколько очков вперед. Ибо от буржуазного государственного деятеля требуется не простомыслие обуздывать рабочий класс, но и сделать это таким образом, чтобы вызвать со стороны рабочих масс возможно меньше протестов. По ничтожному выражению одного французского министра финансов, баранов надо стричь таким образом, чтобы они не кричали. Твердолобые коллеги Болдуина обнаружили в этом деле безусловно гораздо меньше искусства, чем «рабочее» правительство Макдональда.

Исход локаута ланкаширских текстильщиков в этом отношении весьма показателен. Свое намерение понизить заработную плату текстильщиков фабриканты Ланкашира обнаружили уже два года тому назад, но им не удавалось осуществить свою затею, ибо в их собственной среде не находилось необходимых двух третей голосов для объявления локаута. Это отсутствие единодушия в рядах предпринимателей объяснялось опасением стойкого сопротивления со стороны рабочих, заявивших, что ни на какое снижение заработной платы они не пойдут.

Только образование в Англии правительства рабочей партии создало благоприятные условия для перехода капиталистов в наступление. Фабриканты поняли, что Макдональд примет все меры к недопущению затяжного конфликта. Всякий же компромисс должен был оказаться для капиталистов выгодным — им надо было лишь предъявить требование о снижении зарплаты «с запросом». Скинув с запрошенной цены в результате правительственного вмешательства явный излишек, капиталисты рассчитывали без труда добиться осуществления своих требований.

Как известно, так и случилось. Капиталисты запросили снижения заработной платы на 12½ проц., правительство предложило свое посредничество, лидеры профсоюза добились, правда, не без большого труда, от масс мандата на ведение переговоров, переговоры закончились удовлетворением претензий капиталистов наполовину: зарплата была понижена на 6¼ проц. Рабочие оказались одураченными, — даже самые умеренные элементы среди ланкаширских текстильщиков признали впоследствии, что путем непосредственных переговоров с предпринимателями без правительственного посредничества они добились бы лучших для себя условий: во всяком случае, для хуже оплачиваемых категорий рабочих зарплата была бы понижена в меньшем размере.

Было бы, однако, неправильно думать, что Макдональд произвел эту хирургическую операцию только для того, чтобы избежать затяжного кон-

фликта, следствием которого явилось бы обострение классовых отношений в стране. Нет, Макдональд провел снижение зарплаты текстильщиков потому, что это входило в его новую — заимствованную после выборов у консерваторов — программу экономической политики. Эта программа была сформулирована председателем конгресса трэд-юнионов в Бельфасте Бен Тиллетом при открытии конгресса. Правда, Бен Тиллет не состоит членом правительства, но, как и все лидеры трэд-юнионизма, он является одним из фактических «лейтенантов» Макдональда в деле проведения его планов укрепления капиталистической экономики Англии.

Речь Бен Тиллета, вызвавшая восторженные отзывы всей консервативной печати Англии, была широко развернутой программой сотрудничества трэд-юнионов с капиталистами Англии для облегчения борьбы английской буржуазии с капиталистическими группировками других стран на мировом рынке. Установка генсовета британских трэд-юнионов на сотрудничество с группировкой одного из лидеров предпринимательских организаций лордом Мельшеттом (Альфредом Мондом) в деле налаживания отношений между трудом и капиталом уже устарела для того времени, когда власть в Англии перешла в руки рабочей партии. Для трэд-юнионистов речь идет уже не только об устранении поводов к трудовым конфликтам, чем занималась конференция представителей генсовета и группы Монда, а о реконструкции английского капитализма для борьбы за мировой рынок.

Даже консерваторы не ожидали, что Бен Тиллет поставит перед Бельфастским конгрессом задачу содействовать «превращению Британской империи в единую экономическую систему» — формула, которая лишь в подробностях отличается от выдвинутой консерваторами формулы «имперского предпочтения». Для консерваторов центр тяжести лежал в таможенном союзе между различными частями Британской империи, для «рабочего» правительства Макдональда — в рационализации английской промышленности и в приспособлении к ее нуждам

сырьевых богатств и рынков предметов широкого потребления в колониях. Неизвестно, в какой степени Макдональд справится с этой задачей, но с принципиальной стороны не подлежит сомнению, что в деле служения интересам английской буржуазии он обнаружил большую широту взглядов, чем его консервативные предшественники у кормила правления Британской империи.

Снижение заработной платы является в этой программе лишь производным из общей установки рабочей партии и вождей трэд-юнионизма на реконструкцию и рационализацию народного хозяйства империи на основе упрочнения капиталистического строя. Само собой разумеется, что лидеры трэд-юнионов не говорят открыто о снижении заработной платы, как предпосылке их экономической программы (отчет генсовета почти совсем обошел вопрос о ланкаширском локауте), но то озлобление, с которым они встретили заявление одного из делегатов меньшинства о недопустимости снижения заработной платы, само по себе говорит о господствующих в руководящих кругах трэд-юнионизма настроениях.

Реконструкция английского капитализма на основе превращения Британской империи в единую систему дополняется в программе Бен Тиллета тесным сотрудничеством предпринимателей и трэд-юнионов совместно с представителями правительства в проектируемом Национальном Экономическом Совете, который должен явиться чем-то в роде капиталистического Госплана. Мешающие этому организованному сотрудничеству труда и капитала элементы должны быть удалены из недр английского трэд-юнионизма. Специальная глава в отчете генсовета посвящена «разоблачению» разрушительной деятельности компартии и находящихся под ее влиянием организаций: движения меньшинства, английской секции МОПР'а, Национального комитета безработных, отражающей левые течения рабочей партии газеты «Sunday Worker» и т. д. С особым озлоблением генсоветчики говорят о том, что все эти организации получают финансовую помощь из Москвы.

Но тот же конгресс, который выразил свое возмущение этой поддержкой, которую «Sunday Worker» получал «извне», постановил воспользоваться помощью капиталистического треста для издания своей газеты «Daily Herald». С последовательностью, вполне достойной английского мещанина, трэд-юнионисты считали помощь от иностранных рабочих организаций компрометирующей, а финансовую поддержку со стороны капиталистической группы — простой дружественной услугой со стороны капиталистов «рабочей» печати. Эта позиция лидеров британского трэд-юнионизма объясняет ту перемену или, вернее, тот сдвиг, который наметился на предшествовавшей бельфастскому съезду трэд-юнионов конференции движения меньшинства в Хоредиче. Эта конференция решительно высказалась за полный отказ от дававшей себя чувствовать в первый период деятельности движения меньшинства тенденции к тому, чтобы играть просто роль левой оппозиции в официальном рабочем движении. Трэд-юнионизм настолько резко отошел от классовой точки зрения, что задача сторонников классовой борьбы не могла не свестись к прямой борьбе с профсоюзной бюрократией без тени каких-либо компромиссов. Движение меньшинства — уже не левая фракция в трэд-юнионизме, а революционная организация, ведущая с трэд-юнионистской идеологией решительную борьбу и ставящая своей целью организацию рабочих масс для изгнания агентов британского империализма из рядов английского рабочего движения, из всех классовых объединений английского пролетариата.

Движение меньшинства последовало в этом отношении за английской компартией, несколько месяцев тому назад окончательно освободившейся от остатков правых настроений, представители которых ориентировались на мирное сожительство с рабочей партией. Между рабочей и коммунистической партиями лежит пропасть, ибо первая использует рабочих для укрепления капиталистического строя, а вторая — организует рабочих для испровержения этого строя.

Человек из Йоркшира, его жена и Второй Интернационал

С бельфастского конгресса трэджюнионов перенесемся на 9 лет назад. 25 февраля 1920 г. на страсбургском конгрессе французской социалистической партии на трибуне появилась весьма решительного вида женщина, которая отрекомендовалась представительницей британской рабочей партии и подчеркнула, что «она не только является социалисткой, но и принадлежит к левому крылу британского социализма, тогда как на предыдущем конгрессе французской социалистической партии британская рабочая партия была представлена гражданином Гендерсоном, который, кажется, даже не социалист». В своей речи эта ярая социалистка подчеркивала, что «никакая партия в Европе не сделала столько для русской революции, как британская рабочая партия».

Эта дама была не кто иная как прославившаяся впоследствии своими нападками на Советский Союз мистрисс Сноуден. Вспомнить о ней сейчас уместно, ибо она «особенно содействовала стойкости своего мужа, британского министра финансов Филиппа Сноудена на гаагской конференции». Таков отзыв о ней французского официоза «Temps» (см. «Temps» от 30 августа).

Сам Сноуден выражается о ее заслугах еще более категорически. В беседе с корреспондентом английской либеральной газеты «Star» он сказал: «Позвольте мне вам сказать, что без поддержки моей жены я никогда не мог бы выполнить задачи, которые я себе поставил. Я не могу в достаточной степени выразить ей свою хвалу. Она давала мне в течение всей конференции вдохновение и доверие к своим силам даже в те моменты, когда успешное завершение конференции казалось почти безнадежным».

Газетные корреспонденты не упустили, конечно, случая в течение конференции поговорить с этой «вдохновительницей» британской делегации в Гааге. В частности французские корреспонденты спросили ее еще в начале конференции, не является ли не-

примиримость Сноудена в деле защиты английской доли пустым блефом, на что мистрисс Сноуден ответила: «Вы, очевидно, не знаете моего мужа, вы не знаете людей из Йоркшира».

Человека из Йоркшира теперь знает весь мир. Со времени Гааги он снискал себе всемирную, хотя довольно своеобразную известность. Десятки тысяч английских мещан торжественно встречали его по возвращении в Англию. Реакционная печать восхваляла его почти как национального героя Англии. Мы подчеркиваем: реакционная печать,— все джингоистские (шовинистические) элементы Англии, захлебываясь, повторяли заявления Сноудена о том, что Великобритания должна вернуть свое положение в мире, что она должна заставить прочие державы считаться с своей волей, что «честь Англии» не позволяет ей скинуть хотя бы пару миллионов марок из причитающихся ей платежей. Джингоистская свистопляска в Англии поднялась в связи с этим до пределов, которых Англия не знала со времени англо-бурской войны, когда и возникло самое джингоистское течение, ближе всего подходящее к русскому понятию «урапатриотизма».

На бельфастском конгрессе трэджюнионов обмен телеграммами между Сноуденом и Бен Тиллетом вызвал большое ликование. Но настроение трэджюнионистских чиновников, конечно, не идентично с настроением рабочих масс. По мере нисхождения по социальной лестнице слава Сноудена меркнет. По признанию либерального журнала «Nation» (от 31 августа), «популярность Сноудена более значительна среди его политических оппонентов, среди зажиточных классов».

Именно среди консерваторов нашел Сноуден своих горячих поклонников. Либеральная печать проявляет в этом отношении большую сдержанность. «Manchester Guardian», признавая «заслуги» Сноудена в деле защиты английских интересов, считает нужным, однако, выразить опасения, не вызовет ли это выпячивание Сноуденом в Гааге «соображений «британского престижа» аналогичной реакции в других странах и не приведет ли она в

конечном счете лишь к росту национального соперничества, к развитию шовинистических настроений, и не покажется ли другим державам позиция правительства Макдональда противоречащей его программе борьбы за развитие мирных отношений и сокращение вооружений.

Но существу же говоря, менее склонные поддаваться настроениям шовинистической толпы органы английской печати в скрытой форме задаются вопросом, оправдывает ли себя политически пресловутый триумф Сноудена в Гааге. И надо признать, что «победа» Сноудена имеет скорее чисто английское значение, чем международное. Макдональду она позволяет разговаривать с консерваторами, если дело дойдет до столкновения с ними по тому или иному вопросу, в повышенном тоне: он имеет возможность ссылаться на свои заслуги в деле стойкого отстаивания интересов Англии перед другими странами.

Но по существу успех Сноудена имеет с международной точки зрения ничтожное значение. Он требовал повышения доли Англии в германских платежах на 2½ млн. фунтов и добился увеличения этой доли на 2 млн. фунтов. Он требовал изменения пунктов плана Юнга, касающихся германских поставок натурой, и получил в виде компенсации обязательство итальянского правительства заказывать непосредственно в Англии в течение ближайших 3 лет по 1 млн. тонн угля для нужд итальянского флота.

Но этим и исчерпываются практические достижения Сноудена в Гааге. Добавочные 2 млн. фунтов не играют особенно большого значения для английского бюджета, достигающего 800 млн. фунтов. К тому же получены они Англией за счет Германии, Чехо-Словакии, Италии и некоторых малых стран,—намерение Сноудена поставить на свое место Францию так и осталось неосуществленным: Франция ничем в сущности не поступилась для удовлетворения претензий Сноудена.

Более того, упорство Сноудена привело к полному извращению той политической позиции, которую английская делегация предполагала занять на га-

агской конференции. Англия не только не оказалась защитницей Германии от натиска французского империализма, но содействовала лишь большему обременению Германии в финансовом отношении и к тому же оказалась вынужденной поддерживать Францию в вопросе об эвакуации Рейнских областей в виде компенсации за ту борьбу, которую Англия вела против других держав, объединившихся вокруг Франции в вопросе о финансовой стороне плана Юнга.

Гендерсону в Гааге пришлось дать специальное интервью, чтобы выразить неизменность одушевляющих английское правительство дружественных отношений к Франции. Эта дипломатическая любезность не могла, конечно, уничтожить политический эффект от той трещины, которая обнаружилась в Гааге в отношениях между Англией и Францией. Точно также вряд ли кто-либо принял в серьез заявления Макдональда о том, что никогда отношения Англии со всеми прочими державами не были так сердечны, как после конференции.

Не касаясь сейчас других политических последствий гаагской конференции, — нам придется коснуться их при рассмотрении хода англо-американских переговоров о сокращении морских вооружений,—любопытно отметить, какую роль играла позиция Сноудена с точки зрения международного политики II Интернационала.

Этому вопросу посвящена помещенная в официальном бюллетене Второго Интернационала статья Валдервельде, который сменил Гендерсона на посту председателя Второго Интернационала после назначения Гендерсона министром иностранных дел Британской империи.

Почтенный председатель интернационала министров «его величества» несколько сконфужен. Он вынужден констатировать, что франкфуртский съезд Второго Интернационала требовал возможно большего расширения предоставленного Германии по Версальскому миру права уплаты репараций при помощи поставок натурой. Члены II Интернационала, английский министр финансов Сноуден и министр торговли

Грэхем требовали и добились значительного сужения германских поставок натурой. Конгресс Второго Интернационала требовал освобождения Германии от уплаты возмещений по расходам победителей на пенсии участникам войны. Сноуден с бешеной энергией отстаивал предусмотренную на конференциях держав в Спа долю Англии в германских репарациях, при чем значительная часть этой доли была предназначена именно на уплату пенсий.

Вандервельде должен также констатировать, что позиция, занятая в Спа Сноуденом, встретила неодинаковую оценку со стороны членов Второго Интернационала, при чем отрицательно отнеслись к Сноудену английский социалист Брейльсфорд, а также лидер французских социалистов Леон Блюм и сам Вандервельде. При этом лишь Брейльсфорд занял «принципиальную» позицию («нельзя компрометировать дело мира из-за финансовых соображений, не превышающих одного шиллинга на душу населения Англии»), а Блюм и Вандервельде выступали против Сноудена вовсе не как интернационалисты, а как националисты Франции и Бельгии, интересы которых не совпадали в Гааге с интересами Англии.

Этого вывода, конечно, Вандервельде не делает. Он спешит уверить «свой встревоженный муравейник, что «ничего серьезного не случилось», что «все случившееся не больше, чем инцидент» и, что «все хорошо, что хорошо кончается». А кончилось, по мнению Вандервельде, в Гааге хорошо: в конце концов все помирились. Нужно лишь на будущее время перед международными конференциями держав созывать расширенный пленум исполкома Второго Интернационала, чтобы избегать впредь конфузов в роде того, который произошел в Гааге.

Но само собой разумеется, что пленумы эти делу не помогут. Ибо из соглашения нескольких националистических точек зрения никакого интернационализма получить не может. Пролетарский интернационализм отрицает так называемую национальную точку зрения, ибо и подлинно интернациональные партии рассматривают

отношения между отдельными государствами под углом зрения интересов международного пролетариата как целого. А Второй Интернационал, пытающийся механически согласовать действия отдельных националистических партий, является не интернационалом, а социал-придатком Лиги Наций.

«Стена Плача» и седьмой доминион

«Стена Плача» отделяет еврейский квартал в Иерусалиме от мусульманской святыни—мечети Омара. В этой стене в конце прошлого года с разрешения английских властей арабами был проделан проход. 23 августа манифестация мусульман проникает через этот проход в еврейский квартал и сталкивается с манифестацией сионистской молодежи. Происходит стычка, с обеих сторон много раненых, один араб убит. На убийство араба мусульманское население Иерусалима отвечает погромами, которые охватывают почти всю территорию Палестины и вскоре принимают форму не столько антиеврейского, сколько антибританского движения арабского населения Палестины и соседних с ней Сирии и Трансиордании.

Д-р Георг Самне, редактор «La Correspondance d'Orient» так резюмирует точку зрения арабского населения в этом вопросе: «Инцидент, разыгравшийся у Стены Плача, был только предлогом. Основной причиной конфликта является попытка англичан создать еврейское государство в Палестине, несмотря на то, что главную массу населения составляют арабы (700 тыс. арабов против 150.000 евреев). Англичане забыли, что в Палестине уже есть «хозяева земли» и что создание сионистского «национального очага» в Палестине противоречит принципу «свободного самоопределения национальностей». Д-р Самне отмечает далее, что сионистская затея, поддерживаемая Англией, не только задевает национальное чувство арабов, но и не соответствует желаниям самих евреев. «Необходимо констатировать, что евреи в массе не обнаруживают никакого стремления покинуть те страны, где они живут, чтобы создать себе «национальный очаг» в Палестине. В этом от-

ношении они выказывают гораздо больше благоразумия, чем их сионистские апостолы».

Это—точка зрения арабского населения. Но вот что говорит по этому поводу великий раввин Франции, д-р Израэль Леви: «Истина состоит в том, что методы английского министерства иностранных дел остаются одними и теми же как при консервативном, так и при рабочем правительстве. Английские чиновники в Палестине в большинстве случаев начали свою карьеру в Индии. В Индии англичане стремятся «снискать симпатии мусульман, чтобы иметь их на своей стороне против остального населения. Ту же политику верховный комиссар Великобритании проводит и в Палестине, и она-то лежит в основе конфликта. Обеспечивая арабам, вопреки советам благоразумия, полную безнаказанность (в выступлениях против евреев), колониальные чиновники вызвали у них мусульманский фанатизм».

Наконец, третье мнение от «нейтральной» стороны. Бывший архидиакон на Кипре мистер Бересфорд Поттер пишет в редакцию «Times»: «Мусульмане, евреи и христиане—все претендуют на священный город, и надо признать, что турки проявляли гораздо больше мудрости и либерализма при разрешении этих сталкивающихся претензий. Английская администрация не должна была разрешать открытия прохода через Стену Плача, чтобы не задевать этим евреев, но она не должна была также поощрять претензий евреев на предоставление им больших преимуществ, чем те, которыми они пользовались при турецком владычестве».

Таким образом, представители и арабских, и еврейских, и христианских буржуазных кругов—все сходятся в одном: все зло исходит от английской администрации. Арабы упрекают английских администраторов в искусственном насаждении сионистской власти в Палестине, евреи жалуются на то, что британские чиновники натравливают мусульман на евреев, христиане констатируют полное отсутствие такта у представителей Англии, получившей по Версальскому миру мандат на управление Палестиной.

И надо признать, что в данном случае все они правы. Когда лорд Бальфур в 1920 г. объявил себя сторонником создания еврейского «национального очага» в Палестине, он, разумеется, менее всего руководствовался симпатиями к бедственному положению трудящихся масс еврейского населения в различных странах Европы. Английская дипломатия в период 1917—1929 гг. ни разу не возвысила своего голоса против еврейских погромов, устраивавшихся петлюровцами, румынскими «либералами» и польскими националистами. Беря под свою защиту сионистское движение, Англия имела в виду укрепить свое влияние в стране, которая в значительной степени является ключом к Суэцкому каналу. «Национальный очаг» евреев в Палестине фактически должен был служить очагом английского влияния в Палестине, Ираке, Трансиордании, Сирии и Месопотамии,—странах, где имеется 60 миллионов арабского населения.

Несмотря на официальную поддержку английского правительства, сионистское движение росло очень слабо, — еврейское население в Палестине и до сих пор не превышает 150 тысяч человек. Зато гораздо сильнее росло озлобление арабов против этой попытки за счет их самостоятельности искусственно создать сионистское государство в Палестине. Столкновения между арабами и евреями, которые прекрасно уживались друг с другом в период турецкого управления Палестиной, под английским владычеством стали нормальным явлением. И д-р Израэль Леви с полным основанием говорит, что эти погромы происходили не без участия английской администрации, — старый лозунг римских императоров «разделяй и властвуй» до сих пор остается альфой и омегой государственной мудрости английской администрации в колониальных странах. Для этой цели и Форейн-Оффис (английское министерство иностранных дел) и Интеллиженс-Сервис (английская охранка) располагают достаточным кадром высококвалифицированных Лоуренсов.

Англичане, однако, не рассчитали своих сил. Маленький еврейский погромчик, при помощи которого они

расчитывали успокоить арабские массы, превратился в широкое антибританское движение. В беседе с корреспондентом «Daily Express» великий муфти мусульман эмир Эль Гусейн заявил: «Это—национальная революция, отзвуки которой дадут себя чувствовать во всей мусульманской Аравии. Мы находимся перед лицом великого народного восстания и в случае нужды мы получим поддержку мусульман-арабов Сирии, Египта и Северной Африки, словом, всего шестидесятимиллионного арабского народа. Вооруженные силы Британской империи могут подавить беспорядки, но окончательный мир в Палестине и Аравии наступит лишь тогда, когда Англия откажется от традиции Бальфура».

И сам Макдональд должен был признать на сессии Лиги Наций в Женеве, что дело не в расовом или религиозном антагонизме, а в восстании против Британской империи. И, как истинный социалист Второго Интернационала, сделал отсюда вывод, что его долг в качестве главы Британского правительства восстановить поправную власть британского империализма. Английские авиопланы уже обстреливают арабские селения, английский флот спешно подвозит подкрепления всех видов оружия, а французские войска охраняют границу между Сирией и Палестиной, чтобы не допустить массового вторжения сирийских арабов в Палестину. Фактически британское правительство стремится превратить Палестину из так называемой «мандатной страны» (управляемой по мандату Лиги Наций) в седьмой доминион Британской империи.

Против этих претензий британского империализма решительно выступила английская компартия. В «Worker's Life» опубликовано следующее заявление: «Британская коммунистическая партия высказывается за полную независимость Палестины и за сотрудничество арабского большинства и еврейского меньшинства на основе самой широкой взаимной терпимости. Она призывает английских рабочих требовать отъезда военных судов и вооруженных сил Великобритании, ибо их присутствие в Палестине составляет

лишь личную угрозу для человеческих жизней. Если рабочие Англии хотят помочь населению Палестины, они должны вести массовую борьбу против лебористских сеятелей войны в Палестине».

Арабское национальное движение еще находится под сильным влиянием мусульманского духовенства. Для того, чтобы это движение скорее переросло из узких рамок борьбы против англосионистского режима в Палестине в форму подлинно революционной борьбы против захватнических тенденций английского империализма, необходима широкая коммунистическая пропаганда среди низов арабского населения. Эта работа уже ведется, и именно против нее направляют английские администраторы главное свое влияние. Есть уже сообщения, что английская администрация арестовала кое-кого из руководителей революционного движения в Палестине, хотя они менее всего повинны в происшедших столкновениях между евреями и арабами в Иерусалиме и других городах Палестины.

Задача британской компартии укрепить свою связь с трудящимися массами как арабского, так и еврейского населения Палестины и организовать их совместную борьбу против британского империализма. Как мы уже видели, британская компартия уже встала на этот путь, на котором она встретит поддержку коммунистических партий всего мира.

Невытанцовывающееся «разоружение»

Если в Палестине Макдональд твердой рукой отстаивает интересы британского империализма, если Сноуден еще более твердо отстаивает английскую долю в выколачиваемых с Германии платежах, то это не значит, что правящая в Англии рабочая партия окончательно свернула знамя «разоружения». Наоборот, чем тверже проводит «рабочее» правительство свою империалистическую программу, тем охотнее говорят его ответственные представители о своих мирных намерениях.

Гвоздем последней сессии Лиги Наций в Женеве явилась поэтому речь Макдональда, в которой он поведал

миру, что англо-американские переговоры быстро продвигаются вперед, и намекнул, что к концу сессии, быть может, удастся уже облагодетельствовать мир англо-американским соглашением о сокращении морских вооружений.

Однако, уже через несколько дней после своего женеvского выступления Макдональд, выступая на собрании избирателей своего округа, проявил гораздо меньше оптимизма. Он должен был признать, что успешное завершение переговоров натолкнулось на ряд затруднений, в результате которых «конец переговоров еще не виден».

Вашингтон вообще обнаружил меньше склонности идти навстречу «разоружительным» тенденциям Макдональда, чем это ожидали в Лондоне. Формула равенства флотов теоретически была принята обеими сторонами, но установить это равенство на практике с соблюдением специфических интересов каждой из договаривающихся стран технически оказалось делом далеко не легким. Надо было найти какой-то эквивалент для возмещения большей потребности Англии в легких крейсерах путем предоставления Америке права строить более мощные крейсера.

Кроме того, в Вашингтоне дали понять Макдональду, что англо-американское соглашение о морских вооружениях может быть лишь прелюдией к общему соглашению всех морских держав о сокращении морских вооружений. В Вашингтоне учитывают то обстоятельство, что стремление Макдональда к установлению добрых отношений с Америкой само по себе не является еще достаточной гарантией для Америки. При изменении ориентации британского правительства французский или японский флот может служить существенным дополнением к английскому флоту.

Как сообщает «Temps», к моменту женеvской сессии вашингтонским правительством рассматривалось английское предложение о том, чтобы общий тоннаж английского крейсерского флота был несколько выше американского (по некоторым сведениям 340 тыс. тонн против 300 тыс. тонн), с тем, однако, чтобы САСШ могли располагать по меньшей мере 18 крейсерами по 10.000

тонн. По сведениям «Temps», в Вашингтоне были не очень восхищены этой комбинацией как потому, что там считали намеченную в английском предложении разницу между тоннажем английского и американского флотов слишком большой, так и потому, что Гувер считает намеченные для обеих стран квоты слишком большими и означающими не сокращение флотов, а лишь ограничение их строительства.

Это сообщение «Temps» насчет «разоружительных» тенденций Гувера представляется сомнительным, тем более, что французский офицер обнаружил большую склонность раздувать англо-американские расхождения. Как и вся французская печать вообще, «Temps» относится с явным недоброжелательством к сепаратным англо-американским переговорам о сокращении вооружений, рассматривая их как прямой разрыв с политикой Чемберлена, ознаменовавшего последний год своего пребывания на посту министра иностранных дел заключением злосчастной памяти англо-французского «компромисса». В особенности французские дипломатические круги были обеспокоены слухами о том, что английский представитель в Лиге Наций лорд Сесиль поднимет вопрос о так называемых обученных резервах¹⁾. Как известно, Англия первоначально настаивала на том, чтобы принцип сокращения вооруженных сил распространялся и на обученные резервы, что было совершенно неприемлемо для Франции и для большинства континентальных стран Европы, где существует система всеобщей воинской повинности. Англо-французский компромисс прошлого года в том и состоял, что в обмен на разные другие уступки со стороны Франции Англия отказалась от своей оппозиции в этом вопросе.

Вообще французская печать заняла открыто неприязненную позицию по отношению к проекту морского «разоружения» на основе англо-американского соглашения. «Temps» пишет о том, что как бы ни решали англо-саксонские державы разделить между собою гос-

1) Соответствующее предложение лорд Сесиль внес в Женеве, но затем снял, в виду протеста Франции и Италии.

подство на морях, прочие державы на будущей конференции по вопросу о морских вооружениях будут исходить лишь из соображений собственной обороны. В частности Франция никогда не допустит ограничения подводного флота, на чем собираются настаивать как Англия, так и Соединенные Штаты.

Важна также позиция Японии в этом вопросе, потому что Вашингтон не может не учитывать, например, расхождения своих интересов с интересами японских империалистов, идущих в тихоокеанских вопросах в союзе с Англией против Америки. Это расхождение между САСШ и Японией уже дало себя чувствовать в связи с конфликтом на Восточно-Китайской железной дороге.

К этому конфликту мы сейчас и переходим.

Владивосток или Вашингтон?

Когда нанкинские дипломаты на пути своих дипломатических влиятельных передали нам через посредство германского правительства одну из своих «миролюбивых» нот, в которых они выражали желание принять все наши условия для открытия переговоров... кроме тех, которые мы в действительности выставляли, лейб-орган французского социализма газета «Populaire» поспешила усмотреть в этом сдачу нанкинцами своих позиций, оцененная сложившееся положение следующими незабываемыми словами: «Единый фронт империализма защитил на этот раз Советскую Россию против Китая, ибо московское революционное правительство классово-борьбы защищало в Китае свое империалистическое право».

Митрофанушка - Розенфельд, изрекший эти слова в «Populaire», очень поторопился с своим желанием обляпать советское правительство и потому торжественно сел в лужу. Он не мог предусмотреть в то время ни торжественного приема, оказанного в Женеве на сессии Лиги Наций китайскому делегату У Чао-чу, ни выступления американского железнодорожного советника при нанкинском «дворе» г-на Мартеля.

Та «защита», которую, по мнению французской соц. газеты, империалистический мир оказывал СССР против

Китая, приобрела в свете этих событий очень своеобразный характер. Г-н Мартель прямо показал свои уши: его наскок по поводу «бесхозности», которая якобы царит на КВЖД под советским управлением, оказался основанным не на фактах (факты говорили обратное), а на утверждениях белогвардейца Остроумова, которого нанкинцы назначили управляющим дорогой.

То обстоятельство, что американский советник при нанкинском министерстве путей сообщения сразу стал на белогвардейскую точку зрения в вопросе о КВЖД, конечно, не было случайным. Оно лишь подтвердило те подозрения, которые высказала советская печать по поводу секретной ноты министра иностранных дел САСШ Стимсона, выступившего с проектом «интернационализации» Восточно-Китайской железной дороги. Американский капитал, стремящийся подчинить себе железнодорожное хозяйство Китая, имеет виды и на КВЖД, чем в значительной степени объясняется агрессивная позиция нанкинцев в этом вопросе.

Восточно-Китайская дорога представляет собой очень лакомый кусочек, на который зарятся и другие претенденты. В частности Япония никак не хочет примириться с возможностью проникновения ее американских конкурентов в Манчжурию, а Японию поддерживают в этом отношении и другие державы, особенно Англия. Предложение Стимсона поэтому не встретило сочувствия со стороны других держав и, так сказать, повисло в воздухе.

Но это, разумеется, не означает, что империалистические державы в конфликте между СССР и нанкинским правительством стоят на нашей стороне. Не будучи в состоянии договориться насчет единой тактики в манчжурском вопросе, они все же косвенно поддерживают нанкинцев в их упорстве. И это особенно ярко сказалось в связи с выступлением У Чао-чу на сессии Лиги Наций в Женеве.

До этого выступления нанкинцы проявляли известные колебания в вопросе о принятии условий советского правительства. В значительной степени эти колебания объяснялись внутрен-

ними трениями между нанкинским правительством, с одной стороны, и его конкурентами: Чжан Сюэ-ляном, Фын Юй-сяном и Ен Син-шаном¹⁾. Оттягивая момент принятия наших условий, они все же старались не отрезывать себе пути к отступлению. Но как только Лига Наций устроила демонстративно торжественный прием представителю Китая, выступившему с клеветническими нападениями на Советский Союз, нанкинцы приободрились и в своей последующей ноте не только не сделали дальнейших шагов к полюбовному улажению конфликта, но и поспешили обострить положение, взяв обратно уже сделанные раньше уступки и возобновив нападения на наши пограничные посты. Нападения эти, впрочем, встретили с нашей стороны столь сокрушительный отпор, что, по видимому, несколько отобьют у китайской военщины и ее белогвардейских пособников желание бросать нам военный вызов.

Нанкинские правители все время играют с огнем. В этой игре их поощряют все империалистические державы, несмотря на различные их точки зрения в манчжурском вопросе. Вот основной факт, который следовало бы учесть передовику французской социалистической газеты, несущей чепуху о поддержке СССР империалистическими державами.

Империалистические державы, хотя и с оговорками, ориентируются на Вашингтон, т. е., шире говоря, на подчинение железных дорог Китая капиталистическим группировкам империалистических стран. СССР ориентируется на солидарность трудящихся всего мира и, в частности, на взаимную поддержку рабочих Советского Союза и Китая. Наш путь лежит поэтому не через Вашингтон, а через Владивосток, где 15 августа состоялась конференция профсоюзов тихоокеанских стран. На этой конференции делегаты советского и китайского пролетариата встретились не как представители враждующих сторон, а как уполномоченные двух братских отрядов мирового пролетариата,

одушевленных одной идеей совместной борьбы против империализма для защиты Советского Союза и трудящихся масс Дальнего Востока.

Вашингтонское правительство ведет свою политику через советников при нанкинских министрах, советское правительство ищет и находит друзей в лице многомиллионных масс угнетенного Китая. Эти массы отдают себе отчет в том, что никаких империалистических поползновений на Китай мы не имеем, что наша защита договора 1924 г. не только не подрывает престижа суверенного Китая, но увеличивает его экономическую мощь, ибо под совместным советско-китайским управлением КВЖД достигла необычайного в Китае процветания.

Пусть Женева и Вашингтон подстрекают китайскую военщину к сопротивлению—реальных результатов они не добьются. Сильное поддержкой трудящихся масс не только СССР, но и Китая, советское правительство сумеет добиться удовлетворения своих справедливых требований.

Замаскированный реформизм

Социалистическая газета «Populaire», которая, как мы видели, очень обеспокоена «империалистической» политикой СССР на Дальнем Востоке, глуха и нема насчет империалистической политики дружественного ей «рабочего» правительства Великобритании и совершенно прохладно относится к тому бешеному разгулу реакции, который характеризует настоящее политическое положение во Франции. Если орган французского социализма и протестует иногда против полицейского произвола французского министра внутренних дел Тардье, то лишь потому, что преследования повышают престиж коммунистической партии и Унитарной Конфедерации Труда среди французских рабочих. По существу же говоря, французская социалистическая печать является прямой пособницей полиции в ее преследованиях революционных рабочих Франции.

Но нападки социалистов на компартию и унитарные союзы особенно большого значения не имеют: рабочие им цену знают. Более серьезное зна-

¹⁾ Уже после составления настоящего обзора вспыхнуло восстание Чан Фа-гуя, еще более усложнившее положение нанкинского правительства.

чение имеет обнаружившаяся в последнее время в связи с конгрессом Унитарной Конфедерации попытка взрыва революционного рабочего движения Франции, так сказать, изнутри под флагом синдикализма.

Довольно значительная группа работников Унитарной Конфедерации Труда, имевшая некоторое влияние в союзах доковых рабочих, печатников, работников просвещения и пищевиков, выступила с протестом против политики коммунистического большинства Унитарной Конфедерации. Протестяны, среди которых, кстати сказать, имелось (впоследствии они были исключены) немалое количество коммунистов, выступили против признания коммунистической партии руководящей фракцией Унитарной Конфедерации.

Отдавая себе отчет в том, что французская компартия своей бесстрашной борьбой против империалистической политики французского правительства уже завоевала себе прочные симпатии среди широких масс французского пролетариата и особенно среди членов унитарных союзов, оппозиционеры выступили в замаскированном виде. В своей декларации, которая была опубликована в органе большинства Унитарной Конфедерации «*La Vie Ouvrière*» от 10 сентября, оппозиционеры заявляли, что они за сотрудничество с компартией, но на основе равноправия, а не подчинения, что это подчинение лишь отпугнуло бы массы от унитарных союзов и пошло бы в конечном счете во вред самой компартии, которая нуждается в поддержке мощных революционных союзов, и т. д.

Маскировка эта никого не могла ввести в заблуждение. Хотя оппозиционеры и выступали преимущественно по вопросам формального характера, — о форме организационных отношений между компартией и Унитарной Конфедерацией, — но на практике политический смысл их выступлений заключался в стремлении удержать унитарные союзы от революционной тактики, положенной в основу политической деятельности французской компартии.

Оппозиционеры упрекали конфедеральное бюро (соответствует нашему президиуму ВЦСПС) в том, что оно,

не имея мандата от Конфедерации, поддержало инициативу компартии в деле проведения международного красного дня 1 августа. Совершенно ясно, что дело шло не о мандате, а о недовольстве оппозиционеров участием в демонстрациях 1 августа: на практике многие оппозиционеры прямо препятствовали проведению международного красного дня. Бешеная свистопляска, которую подняла буржуазия вокруг антиимпериалистической деятельности компартии и Унитарной Конфедерации, терроризировала оппозиционеров. Тесная связь с компартией, по их мнению, лишь «дала бы правительству предлог распустить Унитарную Конфедерацию на радость предпринимателям».

Эти слова, взятые из декларации оппозиционеров, лучше всего обнаруживают политический смысл их оппозиции. Надо отказаться от революционных выступлений, от подчеркивания антиимпериалистической сущности рабочего движения, и тогда правительственная кара минует унитарные союзы. Отказ от революционной деятельности, конечно, гарантирует от правительственных репрессий, но зачем тогда вообще создавать красные союзы, проще всего было бы присоединиться к реформистским союзам, находящимся под «благоразумным» руководством Леона Жю, на котором уже давно почивает правительственная благодать.

Состав оппозиционеров был очень пестрым. В оппозиционный блок вошли и некоторые троцкисты, и члены синдикалистской лиги, и правые уклонисты из компартии. Кстати сказать, вся эта история имела то хорошее следствие, что вывела на свет правый уклон, который до того предпочитал скрываться в нетях. Выступление правых уклонистов среди коммунистов профработников сделало понятной массам проводимую французской компартией тактику непримиримой борьбы в партии с оппортунизмом.

Ряд писем рядовых работников в «*La Vie Ouvrière*» показывает, что оппозиционерам не удалось при помощи своего маскарада обмануть рабочие массы. Авторы писем сходятся в одном: как можно отгораживаться от

компартии в тот момент, когда ее революционная борьба снискала ей доверие рабочего класса и поставила ее в центре правительственных репрессий? «Вы боитесь нелегальности, — пишет один горняк в «La Vie Ouvrière», — но мы уже работаем в условиях нелегальности: за нашу революционную профработу нас гонят со всех заводов... Вы против непосредственной связи с компартией. Но эту связь устанавливает сама масса: всякий раз, как в шахте, на фабрике или строительной верфи возникает конфликт, масса сама выдвигает коммунистов на первый

план борьбы... Сбросьте маски, скажите прямо: вы за или против борьбы? Вы за или против прямого действия? Вы за или против подлинно-революционной Унитарной Конфедерации, действующей в тесном контакте с коммунистической партией?»

Состоявшийся в середине сентября конгресс Унитарной Конфедерации показал, что огромное большинство Унитарной Конфедерации верно своей прежней революционной тактике и будет идти к дальнейшим боям в тесном союзе и под руководством коммунистической партии.

2. КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Пограничник

Пароход назывался «Асахи-мару». Он принадлежал японской компании «Футци-Сима Кабусики Кайся». Я ехал в каюте главного менеджера фирмы, опрятного и белозубого господина Томита. На пароходе не было пассажирских кают. Томита сам устроил меня на пахнущей одеколоном раскладной койке. Белой и полотняной. «Асахи-мару» снял на западном берегу Камчатки продукцию японских концессионных рыбалок и шел на юг. Океан был спокоен.

...Океан был мрачно-зеленый, безжизненный, в розовых пятнах солнечного восхода. Утром на горизонте показался кашалот, блеснул черной спиной и фыркнул, рассыпав зонтом мутно-белые брызги. На траверзе с правого борта был остров Сьюсю — низкий и тяжелый, как утюг. За кормой сверкал легким синеватым льдом конус Алайда. К югу — на неделю пути — плыла над водой тысячемильная гряда Курильских островов...

В кают-компании пол был выстлан желтыми прохладными циновками. Обувь полагалось снимать у входа. Капитан был старозаветный японец — седой, маленького роста, с жирным носом и толстыми складками на щеках. Он говорил со мной на малопонятном английском жаргоне, сопровождая каждое слово вежливым змеиным шипом. У каждого из офицеров была отдельная

каюта с крохотной, похожей на детский тазик, ванной. Дверь в каюты постоянно была раскрыта. Каюты проветривались. После вахты офицеры скидывали морские мундиры и, сев на корточки, начинали чиститься и полоскаться, как утки. Они чистили уши маленькими ушными щетками, мелкими всплесками похлопывали себя по груди, полировали десны и язык специальными роговыми палочками. Затем в легких серых кимоно они выходили в кают-компанию и пили зеленый чай.

У г-на Томита была своя маленькая контора на корме. Он постоянно что-то выщелкивал по длинным японским счетам и поправлял свои огромные круглые очки. Весь он был какой-то маленький, резкий и прямой.

В его конторе стоял лакированный столик и громоздкая японская пишущая машинка системы «Ироха». В ней было 90 знаков и бесчисленное количество рычажков, регуляторов и кнопок, звеневших при прикосновении.

В конторе работала Симойа-сан, секретарша г-на Томита. Единственная женщина на пароходе, — она была милостива, деловито напудрена и набелена, носила очки, низко кланялась, выслушивая приказания патрона, и обещала не в столовой со всеми, а у себя в каюте. Она говорила по-английски. Как-то я беседовал с ней на спардеке.

— Я — девушка, которая сделала сама себя, совсем как американские девушки. Мы новые женщины. Нас теперь много в Японии, господин.

У нее был нежный тонкий голос и она очень мило говорила «р» вместо «л» (особенность японского произношения).

— Я очень, очень люблю учиться. Я читала Смайрусу, Спенсеру, Рео Торстой, я плакала, когда читала про бедную Катюсу Масурова, — читала Рабиндранат Тагора, Маркса и Октава Мирбо. О, я совсем не такая, как те японки, которые не работают и не учатся, а ждут, когда их выдадут замуж. Я правда не такая.

Она была именно «такая» — я видел это. Маленькая японка, которая любит белила, красивые ювелирные шпильки и шелковые кимоно...

Утром 17 сентября пароход прошел вулкан Матау, курившийся светлым белым облаком. Были слышны глухие подводные удары. Над кратером стоял розоватый отблеск.

Через два дня мы подошли к синему обрывистому берегу длинного и безобразного острова. Он назывался Уруп. Мы остановились против приглубокого, открытого ветрам залива Рикуюку. В глубине залива краснели цинковые крыши каких-то барачков. Вокруг, как мелкие грибы с желтыми шляпками, теснились хижины японских рабочих. Здесь находился рыбоконсервный завод «Рикуюку» компании «Футцу-Сима Кабусики Кайся».

Кроме нашего парохода на рейде против завода качалась, ныряла и прыгала еще какая-то облезлая, ржавая и широкобокая посудина с красным знаменем и белым солнцем гоминдана над кормой. На корме была надпись: «Къенг-Чау». Это был старый китайский грузовой пароход, за ломаный грош чартерованный (взятый во фрахт) компанией «Футцу-Сима» в Шанхае. «Къенг-Чау» должен был принять на Уруп 1.200 тонн консервов для отправки в Июкогаму.

Главный менеджер отдал распоряжение о посылке шлюпки на «Къенг-Чау». Я попросил разрешения отправиться со шлюпкой. С китайского парохода был спущен шторм-трап — качающийся и

скользкий. Вся палуба парохода была завалена жирными зловонными бочками, из которых вытекал едкий рыбный рассол. Команда состояла из грязных слабосильных кули, нанятых компанией в Китае за половинную цену. Капитан и первый помощник были норвежцы. Вторым помощником был молоденький худощавый китаец, исполнявший, кроме этого, обязанности радиста. Это почти правило: на грузовых китайских пароходах имеется обычно два помощника и капитан несет вахту третьим. Фирма старается экономить на всем. Стюард моет пол и убирает каюты офицеров. Отгрузочная команда кули исполняет обязанности палубных.

Капитан парохода был пьян. Он плыл и качался над мостиком, перегибаясь от перил к черной дымовой трубе. Он орал какие-то приказания на чудовищном тихоокеанском жаргоне «пиджин-инглиш», который в Китае неправильно слывет за «несколько испорченный английский язык». Это совсем особый язык. Кули бестолково потались по палубе, не понимая половину приказаний капитана. В пьяном бешенстве он взвизгнул и, перебросив ноги через перила, соскочил на палубу. Это был, примерно, прыжок со второго этажа. Здесь на глаза ему попался я.

— Халло! Хилло, хелло, хо! — завопил он с нелепым смехом. — Вот так треска с помидорами! Откуда вы взяли здесь? Честное лицо белого человека! Так пойдемте же, пойдемте же ко мне в каюту Я угощу вас пивом и виски.

Он, повидимому, забыл о своих приказаниях и, пошатнувшись, сел на бочку, марая липким жирным рассолом, свою синюю робу. На нем были оборванные подтяжки и смятая кепка без козырька — это не придавало ему особенно внушительного вида. Затем, икнув, он изобразил на своем лице приятную улыбку и широким взмахом руки показал мне на дверь какой-то клетушки, на которой было выведено мелом: «кэптенс рум».

Кули продолжали бегать и, суетливо крича, выполняли свою работу. Я вошел в каюту капитана, доверху заставленную ящиками от пива. Капитан вошел за мной и запер дверь.

— О, белому человеку надо быть осторожным... жк... они выпьют целый океан, если не запереть его на ключ. Проклятая, перераспроклятая служба! Вы кто — немец? А, русский! Очень приятно, но, надеюсь, не служите желтолицым?

Он вытаскивал из всех углов каюты бытылки. Они были всевозможных форм и цветов, заклеенные этикетками, как в аптекарском магазине.

— Пью ваше здоровье. Пейте, — сказал он. — Я повесил бы этих разбойников из желтолицого портового контроля.

Он надоедливо возвращался к одной и той же теме. В его бормотании была пьяная горечь неудачника, обиженное самолюбие, задушенная ненависть.

— Я говорю вам, я бы их повесил... Я бы их передушил, как кошек, а китаянкам произвел бы государственный выкидыш, чтобы они не рожали этих грязных вшивых обезьян. Можете себе представить, ведь я бросил службу в лучшей океанской фирме. Я служил в «Сорабайа Недерландше Коммерцаль Леенье». В те времена вы меня бы не узнали. Нет, вы бы меня не узнали! И вот я бросил все и поехал на Север. 18 лет, приятель, я плавал в тропиках, и дернул меня сатана в прошлом году отправиться в Батавию к специалисту. Да. И этот суккин сын сказал мне, что еще 2 года в этом климате и я могу спокойно не выписывать бальзам для своего трупа. Я сгнию и исчахну. У меня началась тропическая болезнь. По-английски она называется «спрюс». Это значит — «соки». Представьте себе, друг, что у вас начинается истечение из всех слизистых оболочек — нос, рот, десны. Страшнейший понос. Глоток коньяку сгибает вас в дугу, как каракатицу. А? Это-то и есть «спрюс».

— Что ж, с переменой климата вы быстро поправитесь. У вас довольно свежий вид, — пробормотал я вежливо. Я глядел на его красный круглый нос, похожий на вздутый волдырь, присосавшийся к лицу.

— Чепуха, сэр. Позвольте, я вам еще налью? Какой бы у меня вид не был, мы все равно не доплывем до Шанхая. Назовите мне еще государство, где портовый контроль выпустил бы в мо-

ре эту пловучую дыру. Япошки делают в Китае, что хотят. Шанхай не выпустил его. Они буксировали нас до Чифу и «мало-мало плати китайсыка генерала». Зато им дешево обходятся все — от капитана до кули. Как меня зовут, а? Скажите мне, как меня зовут? Как я дошел до этого?..

Он захлебнулся словами и стал сосать виски с печальным и тупым бешенством. С палубы к нам доносились крики, топот кули и визг лебедки. Пароход давал бестолковые гудки, вызывая отправившийся к берегу катер. Я не знал, как выбраться из каюты норвежца.

Затем раздался отчетливый уверенный стук в дверь. Я увидел в стекле иллюминатора черную фуражку и тоскиливо-вежливое лицо какого-то японца.

— Прошу извинения, господин капитан, могу ли я осмелиться прервать вашу уважаемую беседу?

— Вот, вот он! Этот япошка — суперкарго! Вы видели когда-нибудь, чтобы суперкарго помыкал капитаном? Не слушался отца-матери, — послушайся телячьей шкуры. Вот уж правда. Когда он смотрит на меня — это как будто в мою душу впился клоп. Он назначен фирмой следить за грузом, но в действительности он следит за мной. Все японцы — шпионы. Он доносит о каждом моем движении в правление «Футци-Сима». Пожалуйста, расползайтесь же, Куроми-сан! Боже, как я рад, как я рад вас видеть! Не хотите ли одну кружку пива? Или, как говорят американцы, одну «шхуну».

Он растворил дверь, впустил японца, лицемерно и пьяно поджав губы, и издевательски поклонился несколькими глубокими рывками, в подражание церемонной манере японцев.

— Какие новости, дорогой? Какие-нибудь новые распоряжения от фирмы? Может быть, выбросить рыбу за борт и отправиться грузиться снегом на южный полюс? Пожалуйста, Куроми-сан. Беспрекословно.

— Дайте ваше уважаемое извинение, — равнодушно сказал японец, — за то, что я осмеливаюсь прервать вашу речь. Я очень тороплюсь. Господин манаджер нашей фирмы распорядился

ускорить погрузку. Иначе вы будете оштрафованы. Господин манаджер сделал мне замечание, что ваши кули работают, как шайка забастовщиков. Он опасается, не слишком ли занят господин капитан, чтобы исполнять обязанности на этом судне. Об этом будет сообщено владельцам судна. Если капитаны не будут подчиняться распоряжениям, наша фирма никогда не будет фрахтовать пароходы в Шанхае. Мне кажется, — может быть, я ошибаюсь, — что выбор между великим господином капитаном и нашей маленькой фирмой не очень затруднит пароходовладельцев.

— Это... то-есть... я, кажется, всегда исполнял... И вообще незамечен... прослужил 18 лет, исполнял обязанности...

Суперкарго поклонился и вышел. Я вышел за ним. Шлюпка отходила к берегу, где прибой, усиленный приливом, образовал кипучий белопенный бурун. Навстречу шлюпке от берега шел катер, волочивший за собой вереницу желтых остроносых сампанов, наполненных людьми. «Кьенг-Чау» принял с берега соленую рыбу и консервы. «Асахи-мару» должен был снять рабочих с завода, взятых из Японии на сезон. К зиме на заводе не остается никого, кроме немногих сторожей-айнов, занимающихся на досуге рыбной ловлей и охотой. Остров слабо населен. В последние годы на западном берегу его появилось несколько японских селений. Японцы спешат колонизовать острова. С восточной стороны Урупа в десяти милях от завода также есть небольшая и мелкая гавань Тава-но-Нома, где прилепилось несколько японских рыбацких домишек.

Берег был каменистый, отлогий и унылый. Шлюпка с шипением заскользила по дну и воткнулась носом в гальку. Мы выскочили на берег. Здесь пахло солью и иодом, валялись оранжевые морские звезды с отгнившими ножками и засыхали студенистые, нестерпимо зеленые водоросли. Выше подымались конические холмы, заросшие кривой сосенкой и узловатым малорослым бамбуком. По холмам полз мутный бледный туман.

На берегу тесным и пестрым базаром сидели рабочие, приготовленные

к посадке. Все они были, как один. Смуглые, зубастые и веселые, в живописных цветных лохмотьях с белым иероглифом на спине, обозначающим, что они находятся на службе у компании «Футци-Сима». Головы их были обмотаны красными и синими платками. Это делало их похожими на каких-то турок.

Вокруг них, стуча по камням деревянными сандалиями, ходил «синдо» — старшинка, пересчитывая рабочих и отмечая каждого мелом, как скот. Увидев меня, рабочие быстро и непонятно загалдели, громко хохоча и хлопая себя руками. Похоже было, что на Курильских островах не слишком часто бывают европейцы.

— Аната, аната (эй, вы!)! Роскэ-сан! Моси-моси!

Они дергали меня за полы плаща и кричали со всех сторон. Несколько кули вскочили на ноги. Один из них, со свернутым на бок носом и быстрыми движениями, замахал перед самым моим лицом своими короткими мозолистыми руками.

— Дураству, данна (барин)! Моя быр Врадивостоку. Русский мадама хороосо нет. Русский водка — хороосо. Моя работай порту восему часу — юрасео дэс. Русский — синдо нет... Профусоюзу...

Я с трудом понимал его тараторенье. Он хотел, казалось, выпалить все одним духом, но осекся и икнул, мгновенно юркнув назад в толпу. К нам несся синдо с грозной и вежливой улыбкой. Разбежавшись, он остановился перед толпой, оглядел всех и ткнул первого попавшегося японца в морду. Затем он, извиняясь, низко поклонился мне и что-то сказал по-японски. По-моему он сказал: «Что за разговоры? Вот я вам! Тащить и не пущать».

— Какой плохой народ, — прибавил он по-английски, — любит говорить, говорить, говорить. Я прошу вас, лучше ходите туда — смотреть женщин-кули.

Я поглядел в ту сторону, куда он указал мне. Из высокого досчатого барака вереницей, как стадо гусей, шли желщины-работницы — укупорщицы консервных банок. Их было 150. Они шли тихо и размахивали широкими рукавами. На спинах у них белели такие же, как у мужчин, иероглифы фирмы.

Кули, работающие на Курильских островах, происходят из Средней Японии, где безработица, бедность и перенаселение. В декабре месяце в деревни на трескучих мотоциклетах приезжают агенты компании «Футци-Сима». С трескучими, как мотоциклеты, обещаниями они заманивают молодых крестьян — юношей и девушек — проработать один сезон на Тысяче Островов (так народ называет Курилы). Щедрый агент немедленно выплачивает вперед деньги за ближайший сезон. Если деньги очень нужны, — представьте удостоверение от доктора об удовлетворительном состоянии здоровья и агент заллатит за два и за три сезона. Эти деньги уплачиваются, понаятно, не самому работнику, а его семье. И семья, разумеется, отвечает за его неявку. Но это бывает очень редко. При этом следует подписать только следующие условия: «при работах запрещается какие-либо забастовки и сборища. Недовольство можно заявлять ближайшему надзирателю. При работе нет ограничения часов. Работа ведется в зависимости от хода рыбы, однако, не больше 20 часов в сутки. Консервщицы-женщины работают за половинную плату — в нормальное время 14 часов в сутки, во время усиленного хода рыбы — 17 часов. Заботы о продовольствии берет на себя фирма: рис и морская капуста всегда должны быть в достаточном количестве. Компания разрешает раз в неделю ставить небольшие невода для котла каждой артели. В свободное от работ время мужчины не имеют права находиться в бараках женщин и наоборот. Рабочий дает подписку в том, что он не является агентом профсоюза».

Женщины были в плетеных веревочных туфлях, с голыми ногами, с расстрепанной прической и непокрытыми волосами. На них были короткие рабочие кимоно, распахивавшиеся при каждом шаге, несмотря на обвязанные вокруг талии черные шерстяные пояса. У всех были грязные обветренные лица и блестящие узкие глаза, похожие на облизанные черносливины. Они шли к шлюпкам, прыгавшим на волнах, словно пузыри.

Я торопливо побежал на взгорье, где

стояли шалаши, бараки и заводские корпуса, вытянувшись в небольшое селение. К сожалению, я не мог видеть завода в ходу. Завод состоял из нескольких досчатых зданий, построенных вокруг широкого утрамбованного двора. Над двором мрачно подымалась серая и массивная водонапорная будка, от которой расходились гладкие деревянные желоба, служащие для промывки отпластанной рыбы. Пол заводских корпусов был цементный. Стены — оцинкованные. В полу были квадратные углубления, где блестела протухшая вода. Я бегом прошел по заводу. У станков были уложены пустые белые жестянки, приготовленные для консервов. Длинная цепь конвейера должна была передавать жестянки от станка к станку. Теперь она бросалась в глаза странной неподвижностью. В третьем корпусе вдоль стены, как гигантские бочки, украшенные манометрами и термометрами, лежали холодные автоклавы — цилиндры, где подвергаются варке герметически закупоренные консервы со свежей рыбой. Завод Рикуюку изготовляет так называемую «фреш сольмон» или «натурального лосося», имеющего хороший сбыт на американском рынке.

Рядом с заводом стояли жилища сезонных рабочих. Рабочие жили в деревянных хижинах. Для женщин был выстроен угрюмый длинный барак с маленькими окнами, пробитыми под самой крышей. Внутри он был пуст. Мебели в нем не было никакой. Женщины забрали с собой свои спальные циновки и одеяла. В стену были вделаны пустые шкапики с шарнирными стенами.

Домишки, где во время сезона жили рабочие, были устроены на японский лад: с раздвижными стенками, фанерными рамами, скользящими в желобах, и бумажными дверцами. У дверей одного из них стоял какой-то человек и чистил тряпкой стену.

Он был одет в длинный синий халат с крупными белыми узорами из квадратов и кругов. На ногах у него были мягкие желтые салюги, сшитые, судя по виду, из рыбьей кожи. В его лице было что-то необычное, сразу отличавшее его от рабочих завода. У него была круглая голова, широкое белоскулое

лицо и бесцветные, растерянные глаза. Волнистые сивые усы свисали над верхней губой. Он был плосконос и зарос кривой клочковатой бородой. Это был «айну» — курильский туземец.

В лоции Тихого Океана издания 1868 года, которой я пользуюсь, говорится: «Население Курильского архипелага состоит из курильцев, иначе называемых айнами. Этот народ славится среди окружающих чрезвычайной своей волосатостью и также выдающимися мореходными способностями. Язык их льется плавно и непринужденно, звучит красиво, и в словах гармонически распределены гласные и согласные. Свои стрелы курильцы отравляют аконитовым соком. Раны, наносимые ими, опасны и большей частью оканчиваются смертью. Японцы применяют к курильцам различные имена, как, например «иэби», что означает «варвар», «дикарь», «атсамо-иэси», т. е. «восточные варвары», а также «мосино», что значит «мохнатые». Живут курильцы в низких тростниковых хижинах на сваях и боготворят собак и медведей. Каждое поколение имеет своего живого медведя, пользующегося почетом и заботливостью. По сообщениям флот-капитана Джемса, посетившего острова в 1803 г., на каждом острове архипелага имеется по несколько их селений».

Эти сведения, сообщаемые лоцией, совершенно не соответствуют в настоящее время действительности. За столетия покорения японцами Курильских островов количество островных айнов необъясненно уменьшилось. Общее количество айнов, живущих на Хоккайдо и на Курилах, равняется по японским источникам 17.000 чел., в то время как в XVIII веке одних курильских айнов было свыше 20.000. При столкновении с японцами этот народ был раздавлен политикой экономического порабощения и суровой системой административной опеки.

Я сделаю выписку из книги капитана Сноу, лучшего знатока Курильских островов. Книга называется «Курильская Гряда, описанная на основании опыта двадцатилетнего плавания».

«Кто наблюдал тиранию японцев над айнами, тот скажет, как с айнами обращаются дурно и жестоко. Ведя жизнь

крепостных, они так запуганы и подавлены, что потеряли всякую мысль о сопротивлении и независимости. Это наиболее лишенный бодрости народ в мире. Ударьте айна, и, надо думать, он расплачется. Я видел много раз, как исправлению айна способствовала пощечина. В айне потешное совмещение неустрашимости с робостью. Даже северные айны, которые раньше не были под японской властью, а отошли к Японии только в 1875 году, после обмена Россией северной части архипелага на Сахалин, питают ужасный и непобедимый страх к японцам, не колеблясь в то же во время итти один-на-один на медведя. Айны были сильным и здоровым народом, однако, привитые им сифилис и пьянство вырвали немалую часть из их числа. Все молодые девушки из этого племени стремятся пойти во временные жены к одному из японцев, проходящих для промысла на острова. Они часто меняют таких временных мужей, и только потеряв свою свежесть и став непривлекательными, выходят замуж за айна. Японец в состоянии снабдить женщину домом, обедом и платьем богаче, чем айну. К тому же он может дать ей многие маленькие предметы роскоши, в роде бус, мыла, зеркалец и ситцевых платков, которые для мужа айна невозможно и негде добыть. Туземцы питают такое пристрастие к спиртным напиткам, что мне случилось видеть айнскую женщину, дававшую своему грудному ребенку чистый ром. Маленький его отведал, после чего кричал изо всех сил, пока ему не дали снова».

В последние годы японским правительством принималось много мер для того, чтобы улучшить положение айнов. С этой целью для них перевозились земледельческие орудия и утварь японских айнов, живущих на Хоккайдо и пользующихся сравнительным благосостоянием. Многие годы после передачи северных Курил из русских в японские руки туземцы продолжали жить в своих становищах, промышляя морского зверя и перетаскивая туши и шкуры убитых зверей от берега упряжками мохнатых курильских ездовых собак. Затем приказом японского правительства их переселили на остров Сикотап. Поселили их на Сикотане в ма-

ленькой бухте на северной стороне этого острова. Здесь основали деревню. Заставили их работать, поощряя возделывать поля, пасти их немногий скот и овец. Переселенцам в избытке жаловался рис. В их поселок были присланы доктор и учитель-японец. «Однако, переход от пищи всецело животной к рису, зелени и рыбе, — пишет Сноу, — не послужил в их пользу. Многие поумирали в первый же год, и количество их от года к году уменьшается. Должностные лица, командующие ими, полны произвола и держат айнов в страхе. Айны даже не смеют выходить из селения на шлюпке для охоты за тюленями или морским бобром, не получив на это разрешения начальства».

... Курилец бросил тряпку и низко поклонился, приложив руки ко лбу ладонями вверх. Только после этого он поглядел на меня.

— Хэ, хээ! — воскликнул он с тупым выражением лица и что-то прибавил по-японски. Я покачал головой и знаками показал, что не понимаю.

— Чо, паря, мольца, ты русский, — неожиданно спросил он на цокающем русско-камчатском языке. Я вздрогнул и оглянулся. Мне показалось, что я ослышался и эти слова произнес кто-то другой.

— Я, паря, соболевал на Лопатке. Мольца, охотил, не уснывал. Двадцать годы сряду. И зовут меня Алексей. По-нихонски — Иосибуми.

От острова Урупа до Камчатки — тысяча километров. И странное впечатление произвела на меня здесь русская режь. Я очень хорошо представляю себе путешествие курильца на Камчатку. В маленькой шаткой лодке. Вдоль берега. От острова к острову. С многодневными стоянками в защищенных бухтах во время штормов на океане. Самое опасное место на этом пути — широкий пролив Буссоли, отделяющий южную часть архипелага от северной. Лодка в течение суток идет без берегов, по открытому морю...

— Ках ды, паря, мы все сиверные курильские люди, однако, можем мало-мало лопотать русский. Старые люди — говорит русский. Молодые знают нонца только нихонский, да нихонский. Тозно позабывали язык.

Я не знал, о чем его спросить, хотя он мог бы рассказать много.

— А давно вы вернулись с Камчатки на острова?

— Охоо! Жил на Камчатке двадцать годы. Камчадалил, стрелил много зверя. Один год — много ел, пил спирт, один год — голодовал. Все одно, не набрал ни грота. Думал, думал — помнил я, что оставил в лагере бабу и котят двух. А наш лагерь был здесь на Урупе. Оно, смотри, на сопке комчаты бугры — были наши землянки. Я и решил — поеду назад Курилы кагычит тиндличит. Прости, не понимаешь. Я по-айновски заговорил. Поеду помирай дома. Эй, приехал, а смотрю — где стоит мой лагерь. Везде, где был айну, теперь нихонские люди. Дома лежит сломан, лодка дырявая на берегу. Я смотрел, смотрел — пошел работать Рикуоку. Помирай здесь.

— И как — хорошо работать у японцев? Не обижают айна? Не теснят?

Я спросил его самым обыкновенным тоном. Так, как задают вопросы о чужих делах. Скорее всего, просто из любопытства. Но айну был этим взволнован. Он посмотрел на меня подозрительно и хмуро. Зашипел, как японец, и быстро затряс рукой.

— Нет, нет... нихонский — хорошо. Нихонский — все равно, как папа и мама бедным айну. Нихонский — шибко-большой барин. Ты, смотри, не надо говорить: «сторож айну мне сказал — нихонский плохо». Однако, если так сказал, совсем будешь шибко худой человек.

... С моря раздался сиплый, как мычание, гудок. Снизу от завода шел Кооно, третий офицер нашего парохода. Он шел, словно маршировал, не обращая внимания на осыпающиеся под ногами камни.

Перед рабочим бараком он остановился, сдвинул ноги и щелкнул по-военному каблуками.

— Прошу вас, сударь, на пароход, — сказал он шепелявя, — очень приятно, если вы нашли для себя интересным этот остров. Настоящая Япония понравится вам еще больше.

— Да, конечно, конечно, — отвечал я, — мне было очень интересно. Я уверен, что настоящая Япония понравится

мне еще больше. Вот тут мне много интересных вещей рассказывали.

— Кто?

— Да вот...

— Соодэсс... Вот как. Эй, о чем ты еще говорил с господином? Что ты ему рассказывал? Я слушаю тебя.

— Хэ, ххэ.— Курилец стоял перед нами вытянувшись и с идиотским видом опустил руки. В глазах его не было никакого выражения. Казалось, он не умеет мыслить и говорить.

— Скот, — процедил японец с презрением. — Мы заботимся о них. Мы стараемся из дикарей превратить их в людей. Посылаем в поселки докторов. Но эти курильские айны — они хуже всех. Они лишены пяти чувств. Как животные.

Мы пошли к берегу. Катер с треском замолотил воду. Матросы выбрали якорь. Я прыгнул в шлюпку. Канат, соединявший шлюпку с катером, натянулся и мы оттолкнулись от острова.

На дне шлюпки лежали ящики с камнями и папки с бумагой для гербария. Фирма (а может быть, и кое-кто выше) предписала всем своим капитанам, посещающим дальние берега, производить топографическую съемку, сбор растений и геологическое обследование прибрежной полосы.

Погрузка рабочих на пароход была закончена. «Асахи-мару» поднял над кормой отходный флаг. Ветер трепал суровое солнце Восходящей Империи, огромное, как расплывшееся яйцо.

Я посмотрел на покинутый берег. Отсутствие людей делало молчаливость его острых скал непонятной и значительной. С сопок сползал синий туман, мелкий и клочкастый, как пух из подушки. Над туманом выпирал ровный и снежный пик Ойяру. Он казался далеким и легким, как переносная палатка последнего айна. Катер и шлюпки были подняты на дак. Машина загудела. Из трубы пошел черный дым. Пароход дал гудок...

На бак-палубе «Асахи-мару» стояли и ходили люди. Я заглянул в трюм. Он был открыт и зиял, как большой мусорный ящик, на дне которого валялись люди и рогожи. Первый трюм был загружен рыбой, снятой с Камчатки. Это

был «японский засол» — самый простой и грязный способ заготовки рыбы, предназначенный для внутреннего рынка. Рыба была уложена без тары — вонючая, мокрая и едкая. Над рыбой были постланы рогожи и прямо на рогожах размещены рабочие. То же самое я увидел во втором трюме, где помещались женщины. Трюмы были загружены, как коробки. Страшно подумать, что могло стать со всеми этими людьми при первом шторме, когда трюмы наглухо закрываются досками. Это невольно внушало сознанию отвратительное представление о человеческих консервах.

В трюмах ехало 500 человек — 150 женщин, 350 мужчин. Компания позаботилась о них ровно столько же, как и о перевозимой рыбе. У крапцев были сложены плоские и сухие листы морской капусты — водоросли, предназначенные для рабочего стола. Я попробовал пожевать маленький листок — у него был вкус рыбьего жира.

У проходов к корме стоял вахтенный матрос — коренастый парень с голыми руками и жилистой шеей борца. Он следил за тем, чтобы никто из рабочих не оказался на спардеке. Это делалось в интересах чистоты.

Я прошел к капитанскому мостику, где стоял капитан, следя в бинокль за уходящими вершинами. Увидев меня, он несколько раз поклонился и любезно сказал, втянув в себя воздух: «Добрые сумерки! Мы разовьем скорость до 11 узлов. Через три дня мы будем в Хакодатэ».

Вечером мы обедали в кают-компании. На обед, как всегда, было подано 12 блюд надоевшей японской кухни. Вечный рис, приготовленный как закуска в деревянных горшках. Сладкий фаршированный лук, журиные крылышки с соей, какие-то мелкие ракообразные без панцыря, кислая зеленая рыба. Все были веселы и оживлены. Через два дня нас ждала Япония. По окончании обеда подали горячее саке. Капитан встал и быстро и крикливо произнес речь, в которой часто упоминались слова: «тэнно» (микадо), Ци-Сима (Тысяча Островов), Ниппон и «Сямурай». Все закричали: «Банзай» и глубоко откинули головы назад в гром-

ком лицемерном восторге. Капитан закрыл глаза. Он вытянул вперед руку и дребезжащим голосом затянул гимн. Офицеры подтягивали ему фальшиво и невпопад. Я ушел на палубу. Безоши-

бочные признаки говорили о приближении тайфуна. Колебания барометра, мглистый воздух, круги около солнца, багровый закат, зыбь от разных румбов...

3. МОНГОЛЬСКИЕ ОЧЕРКИ

В. Васильев

Перед границей

На маленьком «Кооператоре» — вверх по Селенге. Быстрая, средней ширины река. Гибко и запутанно извивается она зеленым телом меж холмистых берегов. Когда смотришь на блестящую гладь реки, кажется — перед тобой зеленоватая толща стекла. От цепких ударов колес парохода струи разбиваются на искристые узоры брызг. А из-под кузова парохода веселым хором стремится вода. Вода шипит, пузырится, как хорошая фруктовая, налитая в стакан.

От Верхнеудинска до Усть-Кяхты оба берега Селенги загружены цепями серо-зеленых холмов, спокойных и круглых, как булки, и острыми утесами скал. Холмы то покрыты гуртами ельника, то выглядят лысыми, без признаков зелени. В основе холмов каменный костяк, и потому с северной стороны, где ветер вылизал почвенный слой, холмы оскಾಲились, обнажив зелено-желтые каменные зубы. Почвенный слой на холмах тонок и скуден, и оттого скудна растительность. Зато долины ущелья, которыми изрезано холмистое побережье, богато одеты в зелень ельника, лиственницы, сосны.

Селения по реке не густы: пока пароход идет от одного до другого, можно хорошо выспаться. Когда смотришь на них, кажется, — горсть побуревших от дождя коробок кинута кем-то на берег. Зато сверкают выбеленные трубы и ставни. Есть среди тощих селений и крупные с белыми телами церквей и желто-смолистыми корпусами пристанских построек. На пристанях пароход встречают шеренги баб (русских и буряток) с горшками молока, сметаны, яиц. Хлеба мало. Я как-то спросил у красной дебелой бурятки:

— Почему хлеба мало приносите?

— Самим мало... здесь ведь плохо родится, — сказала она с бурятским акцентом.

Сегодня на палубе уютная прохлада, и скамьи полны пассажирами. Пахнет чем-то фруктовым от молодой лиственной зелени, трав, реки. Река спокойна, как сон. В ее стеклянной глубине виден голубой мир отраженного неба, в нем задумчиво плывут белеющие стаи облаков. Мой сосед по скамье, с небритой щетиной и выцветшими кружками глаз, глядя на реку, тихо говорит: — Богатая река... И воды и рыбы много, в ямах осетры водятся...

В Усть-Кяхту прибыли поздно вечером. Старая невидная пристань. Темные гробы зданий сонно распластались на земле. Одна лишь суетящаяся контора выпятила в темноту ярко-желтые от электричества глаза окон. Поселок Усть-Кяхта от пристани в трех километрах. Он лежит на пути в Троицко-Савск. Когда мы в жаркое, распаренное солнцем утро по ухабистой дороге подехали на автомобиле к поселку, белая церковь, вытянув длинную, как у гуся, шею, казалась своеобразным памятником застывающему здесь православию. Вялый, тусклый поселок утонул в песке. Вокруг церкви поломанная ограда, пустырь и немые улицы: не видно людей и животных. Лишь кое-где из-за низких заборов, услышав залихватый вой машины, таращатся бабы; вид у них буднично-хозяйский.

На машине кроме груза девять пассажиров. Сидим кто где устроился: на бортах, покрышках колес, в кузове. Кругом новые, яркие картины, и мы рыскаем по ним глазами.

Холмы, овраги, долины... Раскидистые красно-зеленые сосны ошети-

лись ежовыми иглами. Пестро-ситцевые березы в сочной зелени.

Дорога скверная: груды песка, кочки, выбоины.

Наш шофер—плотный, с выбритым и загорело-мужественным лицом. Такие лица у потренированных жизнью, но закаленных людей. Мы шоферу доверяем. Но вдруг треск, и машину затрясло, будто у нее вместо упругих шин деревянные колеса. Лопнула камера. Шофер виновато разводит руками:—Я здесь, товарищи, не при чем... — У колеса возня: звенят ключом, гайками, насосом.

Через час колесо готово. Тронулись дальше.

Ветерок наносит из леса смолистый запах сосен, а от автомобиля пахнет резиной и горелым маслом.

Чем ближе к Троицко-Савску, тем лучше дорога. В стороне от нее, на безлесных площадках чернеют прямоугольники распаханной земли: будто шоколадные плитки на зеленом ковре.

Пашни огорожены жердевой вязью. А за пашнями чернеют деревушки. Сияют стройные сосны, нарядные березки... В придорожной траве залутились красные кустистые цветы.

Ласковая, цветистая картина...

Сидевший в кузове пассажир с серым помятым лицом вытянул руку и сказал:

— Вон Троицко-Савск.

В синевющей дали запестрелся город. Я посмотрел на часы: было три. Двадцать пять километров ехали четыре часа.

Уютно расположился пограничный городок в зеленом котле меж холмов, как в кресле.

В городе ряды старомодных, с мезонинчиками домов (когда-то уютные купеческие уголки). У домов побуревшая тесовая обшивка и выцветшие крыши. Тесные улочки кромсают город на правильные куски кварталов, как торт.

На главной улице с десяток каменных зданий, больших и ярко выбеленных. Еще на главной улице, против почтовой конторы — гостиница «Сибирь». В «Сибири» уютные номера, ласково-предупредительные хозяева и жирные цены на домашние обеды.

В центре города базар с несуразными каменными корпусами, ковчегооб-

разный кинотеатр и аймачный исполком.

Еще в центре города — сосново-березовый сад. В нем свежо, как в сентябрьское утро. В саду новые скамьи и белая, некрашенная беседка.

Однажды в разговоре с местным служащим я спросил:

— Скучно, наверное, у вас тут жить: тихо и сонно в городе?

— Ну, знаете, как сказать, — ужимчиво начал служащий, — иной раз преферансик, иной — рюмочка спасают нас от скуки...

На следующей неделе мы покинули уютную «Сибирь» и через Кяхту направились к границе.

Монголия с автомобиля

Алтан-Булак — лучший город Монголии после Улан-Батора. Стоит он у русско-монгольской границы. Электрифицирован. Но грязный: на улицах навоз и трупы собак.

На базаре — харбинские лавки с дешевым, но плохим товаром и магазин Монценкоопа. Еще на базаре — закуты китайских столовых с едким и липким запахом китайского уксуса и с синим чадом.

На окраинах промышленность: винокуренный завод (гонят спирт и водку), два кожзавода и юртовая фабрика. Все это маленькие, плохо оборудованные предприятия с десятками рабочих: русскими, китайцами, бурятами.

В городе — русского стиля дома и старомодные кабачки с узкими окошечками.

На улице мы впервые увидели монголов — поджарых, с черными косами и скуластыми бронзовыми лицами. На них длинные далембовые¹⁾ или чесучевые халаты и массивные сапоги с загнутыми носками — гутулы. У монголов одяние такое же и потому пол иногда различить трудно.

Кроме монголов в городе китайцы, буряты, русские.

А однажды мы встретили негритянку с медно-темным мясистым лицом и толстыми кумачевыми губами. Негритянка была богато одета и сидела на лавочке возле дома. От наших пристальных

1) Далемба—монгольская бумажная ткань.

взглядов негрятянка улыбнулась, обнажив ряды крупных и белых, как перламутр, зубов:

— Вы што интэрсовайтэсь надо мной?.. — ломано спросила она густым голосом.

На другой день мы на автомобиле, допелёзья нагруженном пассажирами, выехали в Улан-Батор. На наши проницательные замечания о нагрузке машины шофер дорогой возразил:

— Вы напрасно удивляетесь... В Улан-Батор автомобили нагружают еще больше: посадят человек сорок и свяжут их, чтобы не рассыпались дорогой.

Впоследствии мы убедились, что шофер почти прав.

Дорога загружена вязким песком. Мотору трудно ворочать увязшие в песке колеса, и он от напряжения воеет.

Километрах в двадцати от Алан-Булака — чаща сосново-березового леса. Здесь заготовки дров: длинные полешницы прямоугольными брусками вытянуты меж сверкающих свежими срезами пней.

Воздух — густой и чистый, как далекая снежная пелена. Когда кончился лес, из-за холма внезапно выплыла русская деревушка: живут в ней переселенцы-крестьяне. В последний раз нахнуло на нас запахом сосновых изб и густым теплом широколистных русских почек.

Скоро мы стали подниматься на большую гору «Цаган-даба» (белый перевал). Дорога благоустроена: широкая, горизонтальная полоса ее зигзагами извивается по склону горы вверх. От этого подъем постопопный и легкий: потеря в скорости — выигрыш в силе.

За перевалом рой холмов и гор.

Казалось, что земля когда-то во время шквала вздыбилась холмистыми куполами и так застыла навсегда. Горы — лысые или покрыты нежной плешкой зелеными, стадами лиственниц.

Вот гора, как осьминог, выпятилась над поверхностью. Острые горбы отрогов, как огромные лапы морского чудовища, лучами стягиваются к могучему каменному туловищу.

В просторных долинах — распаханная земля. Возле них глинобитные домики китайцев-хлебопашцев. Мы видели, как они пахнут землю, — на верблюдах. Вместо плуга деревянная двухзуб-

бая ковырялка; точно судорожно сведенные пальцы, бороздит она землю. Глубина распашки 6—9 сантиметров. Убогая, скудная обработка земли.

Кроме китайцев хлебопашеством занимаются русские и буряты. Их обработка земли лучше только тем, что пахнут плугами

По дороге нам встретились вереницы быков, запряженных в двухколесные арбы.. Незаманые колеса издают дикий, раздражающий уши визг. Быки везут тюки шерсти.

В зеленых долинах белыми стогами маячат юрты. Вокруг них по склонам гор горохом рассыпались овцы. Табуны лошадей, услышав жесткую трель машины, несутся прочь от дороги, распушив хвосты и поднимая золотистую пыль.

Однажды, когда мы стояли в стороне от дороги, охлаждая сильно нагретый мотор, к нам подошла старая пастушка-монголка и, протянув руку, просила хлеба. На лице монголки, дряблом, как старый картофель, старость вычеканила узоры морщин. Ее губы, бледные и топки, с шелестом шовелились:

— Юмгой, дапжа, юмгой...—(Подай, хозяин, подай..) Я отсыпал монголке сухарей, а товарищ бросил пачку папирос, и она с поклонами удалилась, немощно шаркая тяжелыми гутулами.

Вечером стало свежо. От молодой зелени, солонцов и сырой земли повеяло ароматами весны. Урюмные холмы повеселели, когда уходящее солнце розовым светом облило их склоны. Мы остановились почевать на Уртоне (станция). Уртон содержала моложавая, но вышколенная жизнью бурятка (глаза ее сияли смелым задором). Бурятка поместила нас в избу с низким потолком и широкими нарами. При трепетном свете жировика мы напились чаю и расположились на парах. В избе кроме нас обитали тараканы и мизгири; ночью я не раз ловил их на своем лице.

Утром ко мне подошел старик-бурят, высокий, со сладенькой улыбочкой и живо бегающими глазками, как кусочки масла на раскаленной сковородке. Торопливо, с нервными подергиваниями рук, он заговорил:

— А можна у вас спросить нащет трактора... Нас, знаете, десять хозяев, и хочется узнать нащет трактора и купить. Вы скажите, пожалста, где и как его продают.

Я удивился этому хозяйственному пионеру, но рассказал, что знал о тракторе. Бурят, улыбаясь и благодаря, ушел.

Наш шофер внезапно забастовал:

— Не поеду дальше!..

— Почему?

— Нет бензина.

— Как нет? Еще две полных банки...

— Нехватит до Улан-Батора.

— Ну так поедем насколько хватит...

— Не поеду!..—и шофер выжидательно посмотрел на нас через сизый дым папиросы. Мы пригрозили жалобой и заставили его ехать. После мы узнали, что сребролюбивая натура шофера требовала «смазки». Бензина до Улан-Батора хватило.

На следующий день, овеванный пушистым и пышным светом золотого солнца, мы лавировали в тесном лабиринте улан-баторских улочек. За одним из поворотов перед нами внезапно вырос яркий, крикливый базар. Он огорошил нас резкой пестротой звуков и красок: лязг металла, языки огня, горланый говор, цветные одежды. Внимание расплескивается во все стороны: все ярко, ново, интересно. Базар разрезает мутный, шипучий поток. На его почерневших от угля берегах кучи кустарей-кузнецов — китайцев, монголов. Под знойным солнцем они спешно куют ножи, таганы, крючья... И от этого неистовый кузнечный лязг, звон, как в адской кузнице.

Вокруг ряды китайских лавок с шелками, чесучей, сладостями, украшениями... Китаец на тележке возит сладкий рисовый пирог и воюще зазывает покупателей:

— Ф-и-а-а-э-а-а!.. Ф-и-а-а-э-а-а-а-а!..

В лотках сигареты и папиросы. Голубой от пыли воздух напитан пряными запахами.

Улан-Батор — город красок и контрастов. На его улицах — яркая монгольская мозаика. На китайцах и монголах — одежда всех цветов радуги и старомодных покровов. И рядом с этим

стальные цвета европейских костюмов (последние модные повизки).

Рядом со скрипучими арбами времен Чингис-хана ныряют новенькие блестящие автомобили.

В городе узкие кривые улицы и неправильные угловатые кварталы. Улан-Батор — большой курен (монастырь): из его шестидесяти тысяч жителей — половина ламы (монахи).

Вокруг храмов — длинные кварталы ламских жилищ, огороженных частоколами из бревен. Улочки здесь темные, тесные и душные: постерпимо пахнет мочей и гниющими отбросами. Кварталы курена мрачные, скованы религиозной подавленностью, фанатизмом...

В один из вечеров, когда в храмах — молебствия (дикого-хаотическая священная музыка струится в это время из храмов и слышен нестройный гул от тысячи молитвенных шонотов), на главной улице города в одном из домов собрание союза революционной монгольской молодежи и на повестке дня вопрос о в р е д е б у д д и з м а .

Шумно полощется над домом красный флаг. И кажется, в его бодром, кулачковом шелесте смысл: «Горит Восток зарею новой».

В Улан-Баторе мы прожили семь дней. Потом нам дали переводчиков и рассеяли по всей Монголии бороться с чумой. На работу поехали по уртопам: верхом на лошади от станции к станции.

В гуще юрт

Монгол — как птица. У птицы крылья, у монгола — копы. Монголу в юрте скучно, и летает он на коне по степи с вольной, как ветер, песней. Монгол падок до новостей, как хищник до падали. И оттого, что мы (я и переводчик) были новыми людьми и везли с собой новости, — радостно приветствовали нас встречные монголы:

— Сайн байну!.. (хорошо есть!..)

Монголы широко и довольно улыбались. Улыбались потому, что в разговоре с нами можно провести много минут, выкурить много длинных, как трости, с нефритовыми чубуками трубок, о многом спросить (начиная с того, кто мы, и кончая тем, во что мы одеты), а потом сесть на коня и вихрем лететь

вперед — передать новости. И молва о нас бежала далеко за десятки верст впереди.

— Рыскают, как зырен ¹⁾, вольные, беззаботные, — сказал как-то переводчик.

— Почему беззаботные, а хозяйство?

— Хозяйство простое: коров доить да чай варить. С ним монголки управляются.

Я обратился к проводнику-монголу. Он подтвердил:

— Буддой положено больше работать женщине...

Пятый полдень в пути был неистово жарким. Земля раскалилась, как плита, а воздух настолько был горяч, что казалось — он вот-вот вспыхнет.

Когда мы остановились у светлой, прохладной речушки, — внезапно появилась острая жажда искупаться. Я слез с лошади и начал раздеваться. Вода холодная и упругая, как студень. Она ласково свежит и щекочет горячее тело.

Переводчик смеется:

— Что, хорошо?..

А потом слезает с коня и тоже начинает раздеваться.

На следующий день холодная буря зашумела в камнях скал. Резкий, холодный ветер, как тугое полотно, бешено хлещет лицо, шею колкими, как ежовые иглы, струйками пронизывает верхнюю одежду. От этого холодная рябь пробегает по коже. Лошади, плотно прижав уши, нервно бегут вперед.

Угромо и дико кругом. Земля покрыта цветным слоем гранитных и кварцевых осколков. Кажется, что здесь недавно прошел каменный град. Вершины остроугольных скал обросли свинцово-синим войлоком туч. Зубчатые извилистые хребты гор издали напоминают острогорбую спину осетра. Вечером, когда мы приехали в юрты ночевать, посыпался густой дедяной град с дождем. В очаге юрты уютно пылал огонь. Женщина со склеенными пластинками волос по обе стороны головы ²⁾ кипятила в большом котле молоко. Она налила мне большую деревян-

ную чашку молока, и я стал жадно пить густой приятно-сладковатый напиток. От огня на лице монголки шевелились угловатые бронзовые тени, а глаза сверкали полосками никеля. В юрте еще сидела девушка с правильным, как у Будды, лицом и жаркими глазами. Она пила чай и пристально смотрела на мои ручные часы (у часов фосфорический циферблат, и в тени они светятся). Девушка застенчиво, но с жадными по-самочьи глазами спросила:

— Где ты будешь спать?..

— Здесь, в юрте, — ответил я.

Когда мы ложились спать, — приехал молодой монгол. Он сел у очага и, задумчиво разговаривая с монголкой, стал пить чай. На мой вопрос, кто монгол — переводчик ответил:

— Такой же посторонний человек как и мы.

Однако, приехавший гость и молодая девушка спать легли вместе. Мы невольно слышали их немые ласки.

Рано утром мы вышли из юрты, чтобы ехать дальше. На влажной от дождя земле лежали длинношерстные сарлыки ³⁾, от их промоченной шерсти шел густой пар, а изо рта (челюсти двигались мерно и с хрустом, как жернова) тянуло лучным запахом жвачки. Молодые продрогшие от дождя и холодного утра телята зябко дрожали и тянулись к матерям. Дорогой я спросил проводника монгола:

— Почему вы не строите закут, ведь ваш скот зимой мрет, как мухи?

Насвистывая какой-то дикий мотив, монгол посмотрел на меня удивленно, по-ребячьи, а потом сказал:

— Закуты хорошо строить, но ленивы мы... а старики говорят: будешь огораживать скот, он плодиться не будет...

— А сена почему не косите?

— Не умеем. И нельзя резать живую траву... Великий грех.

Через пять дней мы приехали к месту работы: в кошун (волость) Гурбунсайхан. Эта местность в 1.300 километрах от Улан-Батора на запад и 5.500 метров над уровнем моря. Воздух сухой и редкий, дышать трудно. Ко мне в юрту пришел председатель революционной

¹⁾ Дикие козули.

²⁾ Своеобразная прическа у монголов.

³⁾ Яки.

партии хошуна. Длинный и худой: чечухевый кафтан висит на нем, как на вешалке. У него тщательно бритая голова и спокойно-мудрые глаза.

— Хорошо, что приехал, — сказал председатель, — у нас чума, и скот падает давно.

В юрте сидела монголка и кормила грудью ребенка, а на груди у ней задохли корки грязи. Еще в юрте сидела девочка с проваливающимся носом, а на вонючих лохмотьях, точно грязный ворох тряпья, лежал дряхлый старик: у него сифилис и прогрессивный паралич.

Страшный образ сифилиса (вонючие ямы вместо носов) я видел еще дорогой, и сифилитики меня не удивили.

Председатель грустно и задумчиво сказал:

— Темнота и грязь пока у нас... много болезней и нужды. Много нужно работать и жить до светлой жизни, как у вас...

К вечеру мне поставили отдельную юрту. А утром пригнали гурты скота, — началась кипучая работа.

Жарко, безветрено. Возле мутной и быстрой речушки Дзапхын белым куполом сверкает юрта. Вокруг нее пестрота монгольских кафтанов, гортанный говор и беспокойное мычание животных. Никелированный шприц смеется в лучах солнца. На лицах потная испарина.

Когда круглое и желтое, как раскаленный диск, солнце рассыпало вокруг розоватый предвечерний отсвет, ко мне под'ехал покрытый серой пленкой пыли монгол и стал что-то объяснять. Переводчик сказал:— Это посланный от соседнего хошуна просит приехать к ним на работу. — Я обещал. Ночью крепко спалось, хотя я чувствовал, как в моем белье копошились кучи насекомых.

О торговле и монгольской практичности

Редки в Монголии крупнонаселенные пункты (нет иных, кроме городов и куренов). На огромной территории население распылено небольшими группами в одну-две-три семьи. У каждой семьи одна-две юрты. Чтобы иметь достаточную пастбищную площадь и достоянный корм для скота, семьи выну-

ждены жить вдалеке друг от друга и кочевать. Такая распыленность населения — большой минус для торговли: торговые фирмы должны быть особо гибкими и так же распыленными, как юрты, чтобы обслуживать население. Особо опытные и приспособлены на монгольском рынке китайские фирмы: китайская торговля в Монголии так же стара, как буддийская религия.

В городе Улясутае есть китайская торговая фирма Да Шен-ку. Она очень стара (существует около 300 лет) и богата: ее магазин и товарные склады занимают целый квартал. Эта фирма в огромном Улясуйском районе открыла сеть хошунных лавок. Хошунные лавки в своих районах открыли еще более мелкие сомонные (сельские) отделения. В свою очередь сомонные лавки раскинули в своих районах торговые палатки. Палатка — последняя степень дробления крупной фирмы. Так цепко охватывают китайские фирмы торговыми шупальцами население. Кроме того китайцы умеют тонко влиять на психологию покупателя-монгола. Во всякой лавке китайцев есть железные или глиняные печи и на них чайники с горячим чаем. Когда приходит покупатель, — китаец приглашает его сначала пить чай. Добродушный монгол пьет горячий приятный напиток с сахаром и при этом добреет, проникается доверием к продавцу. Такое чаепитие монгол обычно оканчивает покупкой нужной ему вещи, хотя бы и с порядочной наценкой.

Монгол покупает не всегда на деньги, потому что деньги у него не всегда водятся. Если у монгола есть овчины или шерсть и ему нужно купить гутулы (сапогг.), — он берет предметы своего сырья и выменивает на них в лавке гутулы. К этому приспособлены торговые фирмы в Монголии, это выгодно, так как фирмы одновременно с торговлей производят заготовки сырья. У китайских фирм, как более опытных, заготовки идут гораздо успешнее, чем у других. Я часто слышал разговоры о том, что китайцы перепродают закупленное сырье отделениям Монценкоопа и Стормонга. Однажды я завел разговор с китайцем-коммерсантом:

— Почему вы продаете сырье?.. разве не вывозите его на родину?

— Нет; мы вывозим, но только хорошее сырье, а похуже продаем Монценкоопу.

— Разве не выгоднее отбирать хорошее сырье при покупке?

— Нет. Мы покупаем все сырье — и хорошее и плохое, это выгодно для монгола и этим мы его привлекаем... А продаем мы только худшую часть и по цене дороже покупной.

Простая, но тонкая механика.

Несмотря на ловкую торговлю, китайские фирмы постепенно тускнеют, теряют свое влияние. Причина — в своеобразных приемах китайской торговли, рассчитанных на выжимание из монгола ценностей (сырья, денег, животных). Дача товаров в кредит, отпуск товаров за сырье — эти моменты китайские фирмы используют, чтобы поставить монголов в экономическую зависимость от себя. Подобные операции вызывают у населения недоверие и антипатию к китайским фирмам.

Монгол практичен, он любит покупать прочные красивые вещи, «чтобы им износу не было». Этому требованию не отвечают китайские товары, они плохи по качеству, сделаны как бы на живую нитку (исключая чесучу и шелк): скоро посятся, ломаются, рвутся. И в этом вторая причина угасания китайской торговли. На монгольском рынке начинают цвести сравнительно еще молодые фирмы: Монценкооп и Стормонг. Симпатия и доверие переносятся на эти фирмы потому, что в их практике нет шкурнических приемов торговли (не монголы для фирмы, а фирма для монгола), и потому, что на их полках хороший ассортимент прочных товаров. Этим фирмам многое нужно воспринять из опыта китайской торговли, чтобы иметь такой же гибкий аппарат, чтобы так же ценно охватить сетью лавок, ларьков и палаток население.

У монгольских фирм еще одна особенность: они универсальны. В них есть все необходимое для монгола, начиная от кусков далембы и кончая мелкими побрякушками (украшениями). У средней монгольской семьи расходный бюджет небольшой (по Майскому — 681 рубль в год): покупает она только

самое необходимое. Но если монгол взял вещь, то использует ее на все сто процентов.

Новый кафтан монгол носит до истления, не моя и не чистя. Я однажды спросил монголку:

— Почему не моешь свой халат?

— Будешь мыть — скоро изорвется, — ответила она, удивленная вопросом.

Паучьи гнезда

Курены (монастыри) дурно пахнущими стружьями расплозились по телу Монголии. Их много: они вмещают 40 проц. мужского населения страны (лам) и они богаты. У куренов, вместе взятых, больше скота, чем у всех мирских монголов. Курены отдают пасти скот беднякам-монголам и этим закабалиют их. Маленькими городками построены курены: в центре громады крылатых (в китайском стиле) храмов, а вокруг них правильные бруски глиняных байшинов (жилища лам). Живут ламы скученно, грязно, и оттого на их лицах болезненная желтизна. В красных туниках тусклыми теньями бродят ламы в узких улличках куренов.

В буддийских кумирнях рядом с раззолоченными изваяниями идолов прочные гнезда свили сифилис и туберкулез.

Однажды мы приехали в курен Башин-Ту в гости к дарге (настоятелю). Дарга — упитанный, с круглым и рыхлым, как у медведя, телом, с напористыми свинными глазками — поставил перед нами ведро крепкого кумыса и масляные бобы (сдобные лепешки) и стал угощать. Чтобы расположить даргу к разговору, я подарил ему пачку душистых свечей из китайской травы. Дарга не скрыл везанной радости и удивления:

— Какой русский?!

От широкой улыбки на его лице собрались жирные складки. Скоро через переводчика завязался разговор:

— Хорошо ли живете?

— Ничего, ничего... но раньше лучше было (дарга темпо скосил глаза)... слабеем мы: скот вымирает, в людях уваженно к нам падает...

(Дарга намекнул на революционную партию хошуна.)

— А в хошуне вы часто бываете?

— Нет, нет... уж больше года не был. Нечего мне делать там.

Голос у дарги стал сух, а лицо от напряжения мыслей вспотело, и дарга вытирает его полой жирного кафтана.

— Тибетских ученых у вас много?

— Ослабела наша наука. Нет хороших учеников Будды: ламы плохо изучают его священные книги... Ослабела наука и слабее мы.

Дарга отвечает с затаенной хитростью и осторожностью: так кошка ступает, крадучись за добычей.

— А другие книги, кроме священных, читаете?

— Лучше и выше того, что сказал и написал Будда, — нет в мире, и потому не читаем книг.

Последние слова дарга произнес с фанатизмом и заученной точностью: точно металлом пробил часы.

Когда я собирался уходить из юрты, дарга сказал:

— В курене есть очень больной лама, — ты вылечи его!

— А разве священные книги тибетской медицины не помогают вылечить ламу?

Дарга помрачнел и смолчал.

В другой раз я был на празднике в курене Лама-Геген: там чествовали двух ученых лам.

В юрте, застланной коврами и расшитыми кошмами, полукругом сидели ламы с бритыми головами, в ярко-желтых парчовых халатах. От душистых китайских свеч голубой дымкой курилось благовоние. В стеклянном ящике — золоченые изваяния Будды, а перед ними желто-холодное пламя лампадки. Кроме лам, в юрте сидели нарядные гости-монголы, перед ними на низких столиках — груды сладостей и чаши с кулысом.

Когда в юрте от множества людей и пищи стало душно и жарко, я попросил разрешения осмотреть храм. Мне разрешили.

Храм внутри — большой куб. Верхняя стена куба (потолок) держится рядами деревянных колонн. Меж колонн — разноцветные куски шелков (украшения). В храме холодок и полумрак. Освещается он бледными огнями лампадок. Пахнет следяной гарью и затхлостью. На стенах едва различимы религиозные рисунки

в китайском вкусе (след китайских мастеров). У задней стены статуи Будды и свитых — из дерева и глины. На поверхности идолов — палет позолоты и красок. У Будды застывшее лицо, древнее, ледяное. Над ним многорукое чудовище-изваяние с выпуклыми, как озерные раковинки, глазами. Назначение чудовища — охранять Будду. Перед идолами — рой лампадок с маслом и зорном. От беспокойных огней на лицах идолов скользкие медные тени, и кажется, что губы их шевелятся.

Лама, сопровождающий нас, — фанатик. Он крепко жмет мою руку и, указывая на идолов, возбужденно говорит ломаные русские слова:

— Аха... харшэ!.. харшэ!..

На столе возле лампадок — белый квадрат. Я спросил о нем у ламы.

— Это тибетская карта земли.

Я попросил объяснить. Путанно лама начал говорить о воздухе, воде, огне.

— А на чем стоит земля?

— На воздухе.

— Как на воздухе? Ведь пож на воздухе не держится, а падает?

Лама замаялся, но потом нашел выход:

— А воздух этот твердый...

Ламы связаны обетом безбрачия. Но в куренях и юртах лам я часто видел монголок.

— Слабее мы... — вспомнил я слова жирного дарги. Ламский принцип: не стремитесь вперед, нет ничего выше заветов Будды, — крепко связал мозг и волю монголов. Многие века прошли с грохотом развивающейся техники и культуры. Но не коснулось время Монголии до последнего десятилетия. Через все века Монголия пронесла первобытные отношения в хозяйстве и быте.

В буддизме — соль черной монгольской некультурности.

Живые люди

Гроза монгольской революции, отменившая от власти князей и духовенство, взломала опоры монгольской косности. После грозы воздух свеж, и оттого прояснела и поповела мысль монгола. После грозы пышными вырастают новые ветви... Однажды я спросил мальчика-монгола:

— Ты почему не пошел в ламы?

Мальчик резво и веско ответил:

— Нечего мне делать в ламах... мой брат сгнил от страшной болезни в курене, и я туда никогда не пойду.

На шее мальчика алел пионерский галстук.

У монгольской народно-революционной партии бодрый, зовущий голос:

Все, кто беден и унижен от судьбы,
Выходи из темных хижин для борьбы...

И тот зов будит монгол от вековой, тарбаганьей спячки: они вступают в партию, рвутся учиться.

В том хошуне, где я работал, молодые монголы много раз спрашивали о Москве, о том, можно ли в нее поехать учиться.

— Мне хочется учиться, а потом работать, как ты, — говорил мне как-то молодой цырик ¹⁾ с ясными спокойными глазами. — Я слышал, в Москве учатся много монголов, — скажи, как туда поехать?..

В устах монголов новые песни. Эти песни радужными вспыхами режут тьму седых традиций. Эти песни свежим зовом звучат в угрюмых горных пространствах. А горы в ответ удивленно и радостно откликаются гранитным эхо...

Помню: ехали мы однажды горным ущельем.

Впереди проводник-монгол и переводчик. Монгол старательно выводил волнистые напевы. Я попросил переводчика перевести. Вот что пел монгол:

С юго-запада поднимается туча,
На сырую землю идет дождь.
Из напитанной влагой земли растет зелень.
Так же растем мы, новая молодежь,
Угнетенная прежде.

В другой раз, в темную ночь в шеле у буйного костра, когда под дыханием ветра яркое пламя полоскалось, как алый стяг, — я услышал еще более красивую, буйную, как пламя, песню:

Бывший снег тает.
Угнетенные, мы встаем на ноги.
Под ветрами озеро кружится.
Как это синее озеро, мы волнуемся.
Мы все станем учиться.
И по-новому будем цвести...

Еще десять лет тому назад музейной редкостью была грамотная монгольская женщина. Зато сейчас не редкость женщина-общественница. Когда я возвращался в Улан-Батор, по дороге, в одном

из хошунов, встретил молодую монголку с тонким лицом и смелыми глазами. Я заговорил с ней. Она оказалась членом народно-революционной партии.

— Я работаю второй год в хошунном суде, — сказала она. — Скоро поеду на курсы избачей в Улан-Батор.

— А вы других женщин вовлекаете в работу?

— При хошуне семь девушек обучаются грамоте. Когда они окончат учение, мы дадим им работу.

Перед самым Улан-Батором молодым зверем разыгралась непогода. Зашуршал о камни ветер. Заколыхалось небо растеребленными ключьями туч. Вечером зверь оскалил белые зубы: пошел град и снег. Непогода загнала нас в одну из попутных юрт, где мы и остановились ночевать. В юрте было много молодых монголов. В степи холод, свист ветра, потоки града барабанят над нами по кошомному куполу, а в юрте тихо и тепло, ласково потрескивает огневой очаг. В такие минуты вереницей легких облаков текут теплые мысли о светлых жизненных зорях. И радостны те мысли, как счастье. Я стал говорить о великой богатой стране — Монголии.

— ... В ней много золота и алмазов, меди, угля и железной руды. Но спят в глубоких недрах эти богатства. В ней тучные стада длинношерстных сарлыков, кудрявых овец, золотогривых коней... Но рушит стихия табуны, по всей Монголии разбросаны жуткие трупы животных. Тучи хищников реют над ними... Богата старая Монголия, но богатство мертво в ней. И потому она бедна. Нужно, чтобы золотом заплывилось недровое железо, чтобы в тепле и сытости жили длинношерстные сарлыки, чтобы вместо хищников стальные птицы реяли в небе... Нужно строить новую Монголию. Тогда не будет бедности и слез...

После рассказа долгой паузой тянулось задумчивое молчание. Взоры всех в одной точке — уютном светлом очаге. Но вот молодой цырик поднял глаза и тихо, но твердо проговорил:

— Эту новую Монголию будем строить мы!..

Простые, но пророческие слова; в них скрыта большая глубина и сила.

¹⁾ Монгольский красноармеец.

Из прошлого

КОНЕЦ ОГАРЕВСКОГО ДЕЛА

(По неопубликованным материалам)

Як. Черняк

Вступление

Запутанное бытовое дело, история которого рассказана в настоящем очерке, возникло в 1848 году. Оно длилось более десятилетий, прервавшись на некоторое время в 1852 г. В течение многих лет томило оно причастных лиц. А главными участниками этого, далеко выходящего за пределы обычного, имущественного столкновения являлись знаменитые деятели русской литературы, видные участники освободительного движения—поэты Н. П. Огарев и Н. А. Некрасов и их друзья.

Кружок А. И. Герцена, к которому принадлежал Огарев, почти полностью принимал участие в судьбе его и в заботах о его достоянии: Николай Михайлович Сатин, нежнейший друг Н. П.; Николай Христофорович Кетчер, Тимофей Николаевич Грановский, а позднее и сам А. И. Герцен и И. С. Тургенев. Сплоченным фронтом против Н. П. Огарева и его друзей выступали Н. А. Некрасов, А. Я. Панаева, Иван Иванович Панаев и Марья Львовна Огарева, первая жена Н. П., за несколько лет перед тем разошедшаяся с ним. Непосредственное участие в этом деле принимал близкий Панаевым и Некрасову человек, —наименее из всех известный, — Николай Самойлович Шаншиев, к подробной характеристике которого мы обратимся позднее.

Роль Н. А. Некрасова в этом деле волновала его современников и сорат-

ников, не однажды и различно освещалась в печати: длинная цепь показаний современников и мемуаристов и попыток исследователей ответить на тревожащие вопросы тянется в течение полувека вплоть до последнего времени.

Разрыв Герцена с Некрасовым произошёл на почве именно настоящего дела, вызвавшего также и охлаждение многолетней дружбы между Тургеневым и Некрасовым и общее обострение отношений между участниками обеих групп: Чернышевского—Добролюбова—Некрасова и Герцена—Огарева. Можно с уверенностью говорить также о порожденной огаревским делом психологической атмосфере, осложнившей идейную борьбу и резкое общественное расхождение между «поколением сороковых годов» и «шестидесятниками», между «либералами» и «нигилистами»—между отцами и детьми.

Наконец, «дело» всплывало не раз в качестве «аргумента» в спорах за и против Некрасова, как представителя разночинной, радикальной и революционной части русской интеллигенции 50-х и 60-х годов.

Из сказанного выше явствует значение настоящего эпизода в истории общественных отношений в России и необходимость тщательно и подробно исследовать его.

Н. П. Огарев вернулся в Россию из Европы после пятилетнего отсутствия в начале 1816 года. 20 января он выехал из Берлина по направлению к русской границе. За год с небольшим перед тем разыгрался последний, — как он думал тогда, — акт его семейной драмы: в середине декабря 1814 года он окончательно расстался с Марьей Львовной.

Через полгода после приезда Огарева — в начале августа 1816 года — приехала в Петербург и Марья Львовна. Она осталась в Петербурге — Огарев жил под Москвой в Соколовом у Герцена; Марья Львовна остановилась в знаменитой гостинице Демута, так как подружки ее, Авдотья Яковлевна Панаева, в Петербурге в то время не оказалось. Она с Панаевым и Некрасовым гостила в Казанской губернии, в имении Толстого, где незадолго перед тем обсуждалась некрасовская мысль перекупить у Плетнева журнал «Современник», — предприятие, осуществившееся ближайшей же осенью и положившее начало некрасовскому благосостоянию. Марья Львовна, не застав Eudoxie, была в отчаянии¹⁾.

Ей нужно было посоветоваться с подругой. Перед взбалмошной женщиной стояли весьма серьезные житейские задачи: как уладить денежные отношения с Огаревым, как получить новый заграничный паспорт, как отпустить слуг, распродать вещи, шали и платья и т. д., — одним словом, подготовить возможность снова унорхнуть за границу...

Во всех делах подружки живейшее участие приняла Авдотья Яковлевна, едва только она вернулась в Петербург. Шали и платья она продаст, денежную награду слугам — на этом особенно настаивал Огарев — выдадут она и Иван Иванович (Панаев), когда Николай Платонович пришлет денег. Что касается до дела с Огаревым, то она, как и раньше, будет посредницей Марьи Львовны.

Что предложил Огарев? Именно Ст. Акшено, на которое он выдал за много лет перед тем Марье Львовне запродажное условие, было заложено. Запро-

дажное условие таким образом теряло свою силу, ибо стоимость имущества значительно уменьшилась. Лучше уничтожить запродажную — вместо нее Огарев выдает Марье Львовне векселей на 300 000 р. ассигн и ежегодно будет уплачивать Марье Львовне по 6 проц., т. е. по 18 000 р ассигн.: 13 000 ей, а 5.000 ее отцу. Посоветовавшись с сведущими людьми, — все с тою же Панаевой и Некрасовым, — Марья Львовна, сначала не пожелавшая пойти на огаревское предложение, согласилась, наконец, и 16 октября 1816 г., приехав для этого парочку в Москву, получила от Огарева «от крепостных дел заемные письма», т. е. векселя, вернуть ему за продажное условие. Деньги — «проценты» — Огарев должен был пересылать и пересылал ежегодно в три срока через А. Я. Панаеву.

Вскоре после этого Марья Львовна получила паспорт и благополучно отбыла в Париж. Но два года спустя, летом 1818 г., получая через А. Я. Панаеву тревожные известия о занутившихся делах Огарева, она решила требовать от Огарева уже не проценты, а самый капитал. Огарев ответил ей письмом (пензд.), в котором, успокаивая свою прежнюю подружку, обязался выплатить ей эти деньги не вдруг, а частями в течение ближайших же лет. То же он сообщил Панаевой. На том бы дело и кончилось, если бы не возник новый роман Огарева с Натальей Алексеевной Тучковой, младшей дочерью его друга и соседа по имени Алексея Алексеевича Тучкова. В начале 1819 г. Огарев обратился к Герцену с просьбой хлопотать перед Марьей Львовной о разводе, о том же он просил Авдотью Яковлевну, но ни Герцен, ни его жена Наталья Александровна, ни Панаева, писавшая своей подруге и уговаривавшая ее согласиться, согласия М. Л. ни не добились. Упрямая женщина решила свободы Огареву не давать. Когда же, не имея возможности добиться легализации своего союза с Натальей Алексеевной, Огарев уехал с нею в Одессу, поручив своим друзьям silently часть распродать, часть перевести на имя Сатины (чтобы спасти от конфискации) имущества и, предполагая бежать за границу к Герцену без паспортов, перейдя

¹⁾ О чем она писала Н. П. Огареву в не-изданном письме.

сразу же на положение изгнанника, — Марья Львовна, как и м-то образом и давшая о том знать отцу своему, в совершенной ярости поручила Авдотье Яковлевне представить векселя ко взысканию. Авдотья Яковлевна, впрочем, и сама разгневалась чрезвычайно, узнав, что Огарев «распродал» свои имущества, честно, впрочем, оставив, — как выяснилось, — одно для удовлетворения Марьи Львовны (именно: с. Уручье, Орловской губ.). (Гневен был, как увидит читатель, и Некрасов.) Разгневавшись, Панаева в июне 1849 г., когда Огарев, потерпев неудачу при попытке оставить Россию нелегально, находился в Крыму, направила в Москву своего поверенного, отставного штаб-ротмистра, Николая Самойловича Шаншиева, имевшего с Папаевым и Некрасовым денежные дела, и в финансовых аферах изрядного специалиста, который и представил 5 июля 1849 г. векселя ко взысканию. На имение Огарева было наложено запрещение, опубликованное в июльских же №№ «Сенатских Объявлений». Начался процесс. 6 сентября был поднят поход против Огарева и с другой стороны: отец Марьи Львовны, Лев Яковлевич Рославлев, написал шефу жандармов главноуправляющему III отделением С. е. и. в. канцелярии графу А. Ф. Орлову письмо-донесение на Огарева, Тучкова, Сатина, обвиняя их в том, что эти пензенские помощники образовали коммунистическую секту, что Тучков продал свою дочь Огареву, который-де оставляет дочь его Марью Львовну, а свою законную жену без всяких средств к существованию. Саратовский паразит был прав: Огарев как раз к этому времени — после наложения запрещения и предъявления иска — прекратил и дочери и отцу высылку пенсина...

Вернувшись в октябре из Крыма, Огарев провел два месяца на фабрике¹⁾ (а отчасти в Яхонтове — имении Тучкова) и был в феврале 1850 года «арестован, обыскан и опечатан» и доставлен в Петербург в III отделение. Той же участи подверглись и Сатин и Тучков.

Заодно с ними был арестован и другой помещик, И. Селиванов, — с тремя из них сводил к тому же старые счета пензенский гражданский губернатор, знаменитый в свое время «администратор» и вор А. А. Панчулидзе¹⁾.

В III отделении их изрядно помучили, но за недостатком улик отпустили... через три недели, предложив немедленно оставить Петербург, учредив секретный надзор и запретив Тучкову жительство в Пензенской губ., где он был опасен популярностью, которую имел среди крестьян.

В течение почти года после ареста еще тянулись переговоры и переписка²⁾. И, наконец, в январе 1851 года Шаншиев получил от Огарева через его поверенных и имение и векселя, оказавшиеся таким образом в распоряжении Папаевой. В течение двух лет Панаева высылала Марье Львовне проценты на ее капитал, которые теперь выплачивал Шаншиев, — около 3000 руб. сер. ежегодно. Высылались эти деньги неаккуратно, гораздо с большими запозданиями, нежели раньше, когда деньги посылал Огарев. Между подружками — Папаевой и Марьей Львовной — возникали стычки, какие-то сомнения закрадывались в душу Марьи Львовны против своей Eudoxie, — она опустилась, спилась и доживала свои дни под Парижем на ферме.

После ее смерти возник судебный наследственный процесс, где истцами были Сатин (от имени Огарева) и Каракозов, процесс совершенно не освещенный в нашей литературе, неизвестный до сих пор в подробностях ни одному из писавших об этом деле исследователей (включая и М. О. Гершензона). Процесс о наследстве Марьи Львовны, проливающий свет на многие стороны этого темного дела, мы и попытаемся осветить, пользуясь для этого находящимися в нашем распоряжении материалами.

Кроме опубликованных М. О. Гершензоном писем А. Я. Панаевой, И. П. Па-

¹⁾ См. о нем любопытную страничку в очерке Н. С. Лескова «Умершее сословие».

²⁾ Подробное изложение этого периода дела мы здесь опускаем. Все дело вели, защищая от претензий Шаншиева остатки огаревского достояния, Сатин, Грановский и Кетчер.

¹⁾ Писчебумажная фабрика в Корсунском уезде Симб. губ., купленная им совместно со своим побочным братом.

наева и Н. А. Некрасова и др. материалов¹⁾, кроме неточных, к сожалению, публикаций М. К. Лемке в комментарии к собранию сочинений Герцена, имеются по настоящему делу неопубликованные письма А. Я. Панаевой (30 с лишним писем), письма Н. М. Сатина, Н. Х. Кетчера и Т. Н. Грановского, Н. П. Огарева и др., с одной стороны, и Н. С. Шаншиева, Н. А. Некрасова, И. И. Панаева — с другой. Все эти письма хранились в архиве М. О. Гершензона и были переданы пишущему настоящие строки в феврале 1928 года вдовой М. О. Материалы эти большей частью относятся к процессу, который вели в 1849—50 годах против Н. П. Огарева от имени Марии Львовны Огаревой Панаева и Шаншиев. Незначительная часть материалов относится к началу 50-х годов — к тому периоду, который последовал после уплаты Огаревым по иску Марии Львовны 60.000 рублей Панаевой и Шаншиеву. И, наконец, одиночные документы относятся к более позднему периоду.

I

7 мая 1859 года, через шесть лет после смерти Марии Львовны, решила, наконец, судьба оставшегося после нее наследства. Вторым департаментом московского надворного суда было вынесено в этот день решение взыскать с Авдотьи Яковлевны Панаевой и Николая Самойловича Шаншиева деньги, принадлежавшие Огаревой, ими ранее с Огарева взысканные и присвоенные.

В Санкт-Петербургских «Сенатских Объявлениях» о запрещениях на недвижимые имущества за 1859 год в № 52 за июль месяц, на стр. 3036—37 грязного от пыли фолианта in quarto напечатано:

«LXXI. От Московского Надворного Суда, Второго Департамента, 29 мая за № 2144.

По определению этого же Надворного Суда, Второго Департамента, состоявшемуся 7 мая 1859.

(Статья) 15899. Панаева Евдокия Иаковлева.

(Статья) 15900. Шаншиев Николай Самуилов, Штабс-Ротмистр.

¹⁾ «Русская Мысль» 1902 г. книга 12-я — «Из переписки недавних деятелей», «Русские Пропилеи», том 4-й, «Архив Н. П. Огарева»; «Новые Пропилеи», Гиз, 1923 г., и др.

Налагается запрещение на движимые и недвижимые имущества где бы какие ни оказались их Панаевой и Шаншиева во обеспечение приужденного с них решением этого ж Надворного Суда взыскания, в пользу Коллежского Регистратора Николая Платонова Огарева и Поручика Лейб-Гвардии Михаила Михайлова Каракозова денег, восьмидесяти пяти тысяч восьмисот пятнадцати рублей серебром взысканных ими на удовлетворение жены Огарева, Марии Львовны Огаревой». ¹⁾

Мария Львовна Огарева умерла весной 27 марта 1853 г. Осенью о смерти ее стало известно ее мужу Николаю Платоновичу Огареву и ее племяннику — сыну старшей сестры Марии Львовны, в замужестве Каракозовой — Михаилу Михайловичу Каракозову. Умерла Мария Львовна в Париже; какой-то неизвестный француз (вероятно, m-r Chovin), повидимому, ее последний сожитель, явился в российское посольство удостоверить смерть и оформить по закону вопрос об оставшемся после нее наследстве. Оно заключалось в небольшой сумме денег — около 3 000 рублей серебром — и большой связке бумаг. Бумаги эти были завещаны Николаю Платоновичу Огареву, а деньги должны были быть поделены: $\frac{3}{4}$ причиталось Каракозову, а $\frac{1}{4}$ — Огареву.

И деньги и бумаги Огаревой были пересланы посольством в Россию и, пройдя через ряд инстанций, в конце 1854 г. были выданы из московского надворного суда наследникам. Огарев получил 700 с чем-то рублей и бумаги — письма, альбом, записки и дневники Марии Львовны. Среди этих бумаг оказалась большая пачка писем Авдотьи Яковлевны Панаевой, Ивана Ивановича Панаева, Николая Алексеевича Некрасова, написанных в годы 1846 — 1853 к Марии Львовне и касавшихся иска, который от имени Марии Львовны вели перечисленные лица против Огарева.

Иск этот был ими выигран; была заключена мировая, по которой Огаревым и его друзьями, помогавшими запутавшемуся Николаю Платоновичу, было уплочено около 60.000 Марии Львовне (из них 7.000 на совершение купчей наличными) — в виде имущества, оценен-

¹⁾ Разыскано нами.

ного в 25.000 руб., и ряда обеспеченных верным поручительством векселей на остальную сумму. 31 января 1851 года была совершена в Петербурге купчая крепость, по которой имение Огарева — с. Уручье, Трубчевского уезда, Орловской губ., с деревнями и 521 ревизскою душою мужеска пола — по ревизским сказкам — поистине сказкам! — VIII ревизий, а в действительности — 603 душами мужского пола крепостных и дворовых — перешло к Николаю Самойловичу Шаншиеву, как доверенному Авдотьи Панаевой, которая в свою очередь действовала по доверенности Марии Львовны Огаревой.

Огарев разорился окончательно благодаря этому делу и прилагал отчаянные усилия, чтобы наладить единственную оставшуюся у него от миллионного достояния писчебумажную фабрику (Тальская фабрика в Корсунском уезде Симбирской губ.). Когда же он после смерти Марии Львовны получил, просмотрел письма Панаевых и Некрасова и обнаружил, что через два года после того, как им было уплачено Марье Львовне более 50.000 рублей, осталось от этих 50.000 всего три и при том не из-за расточительности М. Л., он попытался выяснить, куда девались остальные, и прежде всего, какова судьба имения. Юридически ответственными за имущество Марьи Львовны лицами являлись Панаева и Шаншиев. К ним и следовало обратиться. В семейной и деловой переписке Огарева, Сатина, Тучкова (в неопубликованной части), относящейся к 1853—55 гг., рассеяно несколько замечаний, свидетельствующих о том, что Огареву не по душе было затевать новое судебное дело, а в том, что к этому участники переговоров пришли бы, зная Шаншиева и Панаева, трудно сомневаться. Сатин в этих письмах настойчиво несколько раз напоминает Огареву: пора начинать дело. В исходе переговоров был заинтересован к тому же не один Огарев, а в большей даже степени упомянутый выше Каракозов. Если бы Панаева или Шаншиев согласились вернуть полностью или частично полученное ими с Огарева, три четверти возвращенного должен был получить Каракозов.

Начало переговоров нам неизвестно, его приблизительно можно отнести ко второй половине 1854 г., но к середине 1855 года положение очевидно выяснилось настолько, что стало ясным: суда не миновать.

Последним толчком явился пожар Тальской фабрики, разом положивший конец «промышленной» деятельности Огарева и, прибавив, нанесший сильнейший удар остаткам его благосостояния. Поселившись временно в Ст. Акшене у Сатина, в бывшем своем имении, Огарев осенью решил попытаться получить заграничный паспорт и уехать с Натальей Алексеевной к Герцену. Подготавливаясь к переезду в Петербург, где надо было вести хлопоты о разрешении на отъезд, уплачивая долги, — он их честно заплатил, — Огарев между прочим выдал Сатину следующий документ:

«1855 года октября 20 дня, я нижеподписавшийся дворянин Коллежский Регистратор Николай Платонов сын Огарев получил от Коллежского Регистратора Николая Михайловича Сатина двенадцать тысяч рублей серебром, взамен коих предоставляю ему право взыскивать с Г. Шаншиева и Г-жи Панаевой, в свою пользу, следующую мне четвертую часть из наследства после покойной жены моей Марьи Львовны Огаревой, на что и дал я ему особую доверенность.

Дворянин Коллежский Регистратор Николай Платонов сын Огарев»¹⁾.

Разрешив таким образом вопрос, Огарев с Натальей Алексеевной вскоре, в начале ноября, уехал в Петербург.

Начался последний период жизни Огарева в России — кратковременный, всего четыре месяца, из которых два, проведенные в Петербурге, особенно для нас интересны. Это был литературный триумф Огарева. «Моя поэмка (которая будет напечатана в журнале Каткова и Корша), — пишет Огарев 5 декабря в письме к А. А. Тучкову²⁾, — производит здесь furor». Эта поэмка — поэма «Зимний путь», напечатанная уже после отъезда Огарева в шестой книжке «Русского Вестника». Новые стихи Огарева чрезвычайно нравились, вышедшая в том же году книга его

¹⁾ Подлинник. Как и некоторые другие документы, выданные Огаревым Сатину, настоящая расписка является фиктивной. Денег Огарев не получал никаких.

²⁾ «Русск. Проп.» т. IV, стр. 140.

стихотворений встречена была хором похвал. Чернышевский в «Современнике», Щербина в «Библиотеке для чтения», Боткин, Дружинин, Тургенев, Корш, Кавелин, кто в печати, кто в дружеских кружках, в разговорах с приятелями приветствовали огаревскую музу. «Новые стихи очень нравятся здесь, я перепису их для тебя» — пишет того же 5 декабря Наталья Алексеевна сестре; 11 декабря она сообщает: «Тур(гев) и Соллогуб так протрубили об стихах Ог., что все, даже вовсе незнакомые, хотят его видеть». Соллогуб, очевидно, протащил огаревские стихи даже в великокняжеские, а может, и императорский салоны: «Завтра будут читать его стихи там, где самому никогда не доведется быть».

А Огареву в это время было скучно. Огарев появлялся даже публично — для пущей убедительности, надо было обмануть жандармов — с костылем. Огареву надо было платить долги — личные и по сгоревшей фабрике, и он мучительно изыскивал средства для платежей. Наконец, надо было выяснить проклятое дело с Панаевой и Шаншиевым.

Огарев свое право получить деньги с вождей «Современника» обосновывал теми самыми письмами из «наследства» М. Л.—ны, которые опубликованы частью М. О. Гершензоном, частью публикуются нами теперь. Но наиболее убедительные до нас не дошли, и мы сейчас расскажем почему.

Когда Огарев приехал в Петербург, ведение дела против ответчиков взял на себя Яков Кетчер, брат Николая Христофоровича, живший в Петербурге. «О деле с Шаншиевым узнаю завтра. Яков Кат¹⁾ должен был видеть его. Яков берется за дело с жаром; не знаю, что выйдет» — сообщает Огарев Тучкову 5 декабря. Огарев, готовясь к делу, очевидно, рассказывал своим друзьям, что располагает вескими доказательствами, заключающимися в панаевских и некрасовских письмах, как о том он писал уже однажды Сатину в неизданном письме.

¹⁾ В «Русских Пропил.», т. IV, стр. 140 ошибочно напечатано: «Яков Кат».

«Сатин. Что ты? где ты! Я тебя жду с нетерпением великим. Мне пора в Питер. По делу с Шаншиевым судьба послала мне в виде наследства всю переписку Шаншиева, Ив. Ив. Панаева, Ав. Як. Панаевой и Некрасова с Мар Львн. Лучших документов не надо.—Сатин. Приезжай же поскорей. Мне ждать невозможно—да и раз'ехаться с тобой невозможно. Жду, жду и жду тебя»¹⁾.

Слух об этом дошел до Некрасова. Покамест шли переговоры с Шаншиевым, а Панаевой не трогали, Некрасов ничего не предпринимал: «Шаншиев дважды вызывался Надворным Судом и 2 раза частично, но не являлся»²⁾. Наконец, 1 января 1856 года он приехал к Огареву и имел с ним продолжительный разговор. «Приезд его и разговор с Ог., хотя весьма тихий, так странно подействовали на Ог (арева), что у него сделался припадок»³⁾. Надо сказать, что припадки эпилепсии, которой страдал Огарев, происходили не часто, поскольку он жил нормально, т. е. не пил. Предыдущий припадок был за 26 дней до этого, вечером того именно дня, когда он писал Тучкову о Якове Кетчере и деле Шаншиева. Я думаю, что не погрешу против истины, если заключу, что дело Панаевой—Шаншиева особенно волновало Огарева. В деревне почти год не было ни одного припадка. Оставили деревню — 4 припадков, и два из них каким-то образом связаны с делом Панаевой. Почему? — Не судьба денег мучила Огарева. Он легко относился к своим потерям, можно даже утверждать, что он их желал — Огарев с самого начала 40-х годов тяготился своим достоянием, как и целая прослойка ущербного помещичьего дворянства. Социальные свойства ее и личные особенности непонятны лишь на первый взгляд, — последним звеном в этой цепи был Лев Толстой — помещик, юродствующий во Христе, по выражению В. И. Ленина. Нет, Огарева взволновало в этом деле другое.

Что же ему сказал Шаншиев? 8 января 1856 года Наталья Алексеевна писала своим родным: «На этой неде-

¹⁾ Приписка в письме Е. А. Сатиной мужу из Москвы 23 октября, вероятно, 1854 года (Архив М. О. Гершензона).

²⁾ «Ход Дела» (Архив М. О. Гершензона).

³⁾ «Рус. Проп.» т. IV, стр. 145—146.

ли надо сделать публикации и выехать. Не знаю, что Ог сделает с Панаев. ¹⁾ Они застраивают какими-то письмами Ог. к Мар. Льв., в которых есть полное опровержение (по их словам) того, чего хочет теперь Ог. Так велел сказать Некрасов Огареву через Тургенова. Я думаю, что тут кроется страшная низость, ты сама отгадаешь, в чем дело, жаль что Сатина нет есть (вместо здесь, — опсека, свидетельствующая о волнении Пат. Ал.—пы. Як. Ч.) он бы помог. При свидании много странного расскажу тебе, или лучше странного ничего нет, но мы странны потому, что нам многое страшно, пора привыкнуть ко всему ²⁾.

Закрывающиеся в этом письме свидетельство о шантаже, к которому прибежал Некрасов, чтобы прекратить неприятные для него попытки Огарева в момент, когда немногое нужно было, чтобы сорвать возможность для Огарева уехать за границу, — можно считать абсолютно достоверными. П. А. Огарев еще дважды повторила его: в неизданном письме к Е. С. Покрасовой от 80-х годов ³⁾ и в своих воспоминаниях, напечатанных в «Русской Старине» (и позднее в отдельном издании).

Вот что писала П. А. Огарева-Тучкова Е. С. Покрасовой:

«Помню живо, что я была одна дома. Приходит Тургенев и говорит мне нужно было видеть Огарева, но так как его дома нет, передайте ему, что Некрасов просит его не распространяться так о письмах к М. Л., потому, что у него есть письма Огарева, которые он в таком случае представит куда следует». — Это донос, — вскричала я. И вы, Тургенев, беретесь за такое порученье, и этот человек — ваш друг. — Тургенев окинул меня ленивым взглядом и сказал: «Да, я его люблю».

В «Воспоминаниях» напечатано:

«Раз Тургенев зашел к нам в Петербурге в отсутствие Огарева и сказал мне: Я хотел передать Огареву поручение Некрасова, но все равно, вы ему скажите. Вот в чем дело: Огарев показывает многим письма Марьи Львовны и исполняет себе разные о них комментарии. Скажите ему, что Некрасов

просит его не продолжать этого, в противном случае он будет вынужден представить письма Огарева к Марье Львовне куда следует, из чего могут быть для Огарева очень серьезные последствия.

— Это прекрасно, — вскричала я с негодованием, это — угроза доноса «en toute forme» и он, Некрасов, называется вашим другом, и вы, Тургенев, принимаете такое поручение!

Он проглотил какое-то извинение и ушел. Конечно, это объяснение ничуть не способствовало нашему сближению. Из писем Марьи Львовны (присланных Огареву по смерти ее) он узнал, что, несмотря на то, что NN, с покровителем Шашниевым, по доверенности Марьи Львовны получили орловское имение для передачи ей, все-таки они ее оставили без всяких средств к существованию, так что она умерла, содержимая Христа ради каким-то крестьянским семейством близ Парижа ⁴⁾.

Свидетельство о каком-либо факте, повторенное трижды, — в современном событии письме, затем в переписке, затем в воспоминаниях, — мы в праве считать вполне достоверным. Три раза Огарева с разными подробностями повторяет: Некрасов через Тургенева грозил его письмами за границу Марье Львовне. В них по раз, вероятно, упоминалось имя Герцена — без всяких тогда псевдонимов (Емилля и пр.). Если бы узнали об этих письмах «где следует» — прощай заграничный паспорт...

Нет ничего удивительного, что Огарева охватывало головокружение и приходила энцефалопатия...

В целом распоряжении есть еще одно доказательство справедливости наказания Огаревой, если только оно в этих доказательствах нуждается. В сохранившемся письме (неизд.) Панаевой к Марье Львовне, написанном в 1848 году, Авдотья Яковлевна просит Марью Львовну переслать к ней из Парижа те письма Огарева и других лиц, которые могли бы пригодиться при ведении процесса против Огарева. Нет сомнения, что Марья Львовна выполнила просьбу своей подруги-доверенной. Таким образом, становится понятным, какими письмами мог грозить Некрасов Огареву.

Если даже угроза Некрасова пустить в ход против Огарева его письма не имела прямого политического

¹⁾ Панаевыми, а не Панаевой, как можно думать, потому, что далее следует: они.

²⁾ «Русск. Проп.», т. IV, стр. 146.

³⁾ Хранится в ком. 40-х годов Публичн.

⁴⁾ «Русск. Проп.» т. IV, стр. 145—146.

¹⁾ Н. А. Огарева-Тучкова. Воспоминания. М. Изд. М. и С. Сабашниковых 1903. Приложения: II Иван Сергеевич Тургенев, стр. 307.

смысла, т. е. не заключала в себе попытки Некрасова сделать политический донос, то всякому понятно, что именно таким в то время, т. е. политическим был бы результат предъявления писем в любую официальную инстанцию, а следовательно Огарева правильно поняла смысл некрасовского предупреждения.

Что было делать Огареву? Предупрежденный Тургеневым, и об этом же, как мы думаем, говоривший 1 января 1856 года с Шаншиевым, он отложил дело против Панаевой и Шаншиева до выяснения вопроса о паспорте. Отложил, но не отказался от него. 2 января, на следующий день, он приготовил изложение хода дела, так и озаглавленное¹⁾, в котором привел точные цифры расчетов с Шаншиевым в 1851 году, указал на имеющиеся в его руках документы и письма, удостоверяющие его права. Еще 27 ноября, вскоре после приезда в С.-Петербург, он написал Сатину письмо (неизд.), в котором просил поискать среди его бумаг и в конверте «документы» найти соответствующие материалы и прислать ему. Кому все это он оставил, уезжая, доверенному Кетчеру или другому лицу, — неизвестно. Эти-то письма и документы (в том числе и подлинник доверенности Марьи Львовны Огаревой Авдотье Яковлевне Панаевой, содержание которой нам известно) находятся несомненно, как и некоторые другие материалы, в том деле 2 департамента московского надворного суда, решение по которому приведено в начале этой главы.

Именно те письма, которые могли явиться для надворного суда доказательством виновности и ответственности Панаевой и Шаншиева, были извлечены из переписки и позднее представлены в суд. Вот почему они до нас не дошли. Вот почему в бумагах М. О. Гершензона, перешедших к нему от Н. А. Огаревой, их не оказалось.

Написав «Ход дела», подобрав нужные для суда документы, в середине января получив паспорт (17 января заграничный паспорт был препровожден

с.-петербургскому военному генерал-губернатору для выдачи его Огареву), Огарев съездил, кажется, в Москву, а в марте 1856 года переехал русскую границу. 19 марта он приехал в Берлин. Огарев навсегда оставил Россию. Более 20 лет жизни и работы в эмиграции вместе с Герценом, а позднее — с Бакуниным, стяжали ему славу крупного и своеобразного деятеля русского революционного движения.

II

Как продолжалось интересующее нас дело после отъезда Огарева? По его доверенности мог действовать Сатин; с другой стороны, должен был действовать — и действовал — Каракозов. Следовательно дело продолжалось.

Но развивалось — в виде тяжелых объяснений между Герценом и Некрасовым, в которых деятельное участие принимал Тургенев, — оно еще и другим путем.

9 апреля Огаревы приехали в Лондон. Через два дня Герцен, делаясь в письме к М. К. Рейхель впечатлениями от приезда долгожданного друга, писал среди других известий об Огареве: «Одна из лучших новостей та, что Некрасов и Панаев, которые вели процесс от Марьи Львовны против О-ва, украли всю сумму, так что она, выигравши его, осталась без денег. Наследники ее хотят Панаевой делать процесс. И все это шло через Авд. Яков.»

Это решительное заявление Герцена, первое в длинном ряду других, не менее резких, — в его переписке, в письмах к Тургеневу в особенности.

Ряд этот заканчивается знаменитой статьей «Лишние люди и желчевики», где на последней странице, не называя Некрасова по имени, Герцен клеймит литературного гуфиано, т. е. сводника и барышника.

«Из России я имею известие о громадном и неслыханном успехе стихотворений Некрасова. 1.400 экземпляров разлетелись в 2 недели; этого не бывало со времен Пушкина, — писал Тургенев 6 дек. 1856 г. Герцену. — От него я давно не имею писем; кажется, он хандрит и скучает в Риме. Он и в России скучал но не так едко; плохо умному человеку, уже несколько отжившему, но несколько не образованному, хоть и развитому, в чужой земле, среди незнакомых и неиз-

¹⁾ «Ход дела» (Архив М. О. Гершензона).

вестных явлений! Он чувствует смутно их значение и тем больше разбирает его досада и горечь на бессилия, а *невозвратно потерянного времени* ¹⁾.

В это же время во встречном письме Герцен зло и коротко пишет о том же: «Некрасов в Риме... это что-то звучит в роде шуки в опере» ²⁾, — фраза, доставившая Тургеневу, несмотря на его дружелюбное отношение к Некрасову, много удовольствия.

Через месяц, получив стихи Некрасова, Герцен пишет ³⁾ Тургеневу: «Некрасова получил; от кого? Ты, что ли, мне прислал? Я нахожу и находил в нем сильный талант, хотя сопряженный с какой-то злой сухостью и угловатой обрывчатостью; мне еще не удалось хорошенько почитать. Первая статья — сумбур какой-то, не оригинальный, а Пушкино-Гете-Лермонтовский, и как-то Некрасову вовсе не идут слова «муза» «Парнас». Где-то у него классическая традиция? Да и что за чин «поэт»?.. шера и это к чорту. Теперь глупо говорить о себе: «Я поэт и живу вдохновением», как «я очень умен и любезен».

«Псовая охота» зато — прелесть, и мать, потерявшая сына, Ненила; больше не читал».

Еще через два месяца ⁴⁾, отвечая Тургеневу, сообщившему Герцену о восхищении, которое вызвал в Некрасове отрывок из «Былого и Дум», Герцен пишет:

«Ты напрасно думаешь, что я ненавижу Некрасова; право, это — вздор. В его стихотворениях есть такие превосходные вещи, что не ценить их было бы тупосердием. Но что я нелегко прощаю юридические проделки в роде покупки векселей Огар. и его союза с «плешивой вакханкой», как ты назвал Мар. Льв., то это у меня такой педантизм; я все скорей прощаю, нежели такие обдуманные ошибки. Огар. давно забыл это, — у меня память лучше».

Таковы высказывания Герцена до попытки, предпринятой Некрасовым увидаться и объясниться с ним в Лондоне в начале июня. 18 июня 1857 г. Герцен сообщает М. К. Рейхель: «Здесь

был Некрасов; я его не хотел видеть, но послал к нему с Тургеневым его расписку, по которой он сам обязуется отдать мне известные деньги (их до 1.000 руб. сереб.). Я ему велел сказать, чтобы он их отдал мало-помалу Петруше (человек, который купил здесь ружье в 45 liv. и собаку, которая стоит не меньше, может платить)».

Герцен отказался от свидания с Некрасовым. Тургенев, который был в Лондоне вместе с Некрасовым, несколько раз уговаривал Герцена повидаться с поэтом. Огарева в воспоминаниях говорит даже так: «В продолжении трех дней Иван Сергеевич постоянно уговаривал Герцена увидеть Некрасова, но принужден был покориться непреклонной воле Герцена и увезти его обратно, не добившись свидания» ¹⁾. В письме речь идет о тех 5.000 руб., которые Наталья Александровна — жена Герцена — послала Некрасову при основании «Современника» с тем, чтобы, когда журнал пойдет в ход, они были бы ей возвращены. Позднее Некрасов перевел этот свой долг на Тургенева — по просьбе самого Герцена — и оказался в уплате его неаккуратным, на что по отношению к Тургеневу, кажется, имел моральное право.

27 июня 1857 г. Некрасов писал Герцену, извиняясь за задержку в уплате помянутого долга:

«Что касается до оправданий и извинений, если вам угодно их принять, то их у меня два. 1-е, в последние годы я не был столько беден, что-бы не иметь возможности заплатить эти деньги; 2-е я не дошел до того, что-бы пользоваться чужими деньгами умышленно. Повторяю, причина в недоразумении и в беспечности, которые частью поддерживались уверенностью в Вашей снисходительности».

Еще до получения этого письма Герцен был осведомлен, что Некрасов знал истинную причину раздражения Герцена: он знал, что между ними стоит огаревское дело, а не недоразумение со старым небольшим долгом. Длительная переписка же по поводу остатка некрасовского долга Герцену возникла в результате раздражения Герцена; здесь он был, очевидно, неправ

¹⁾ Письма Кавелина и Тургенева к Герцену под ред. Драгоманова. Женева 1892 г., стр. 92—93.

²⁾ Письмо к Тургеневу 3 дек. 1856 г. Соч. соч., т. VIII, стр. 362.

³⁾ 11 января 1857 г., т. VIII, стр. 390.

⁴⁾ 2 марта 1857 г., т. VIII.

и привязался к мелочи, чтобы уязвить и поставить на место Некрасова, доказать Тургеневу, что Некрасов — недобросовестен. Переписка до поры, до времени как бы прикрывала действительные причины разрыва.

Некрасов писал Тургеневу из Рима, еще перед поездкой в Лондон, следующее¹⁾:

«Правду сказать, в числе причин, по которым мне хочется поехать (в Лондон.—Я. Ч.), главная была увидеть Герцена, но, как кажется, он против меня восстановлен—чем, не знаю, подозреваю, что известной историей огаревск. дела. Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как и ты, например. Если вина моя в том, что я не употребил моего влияния, то прежде надо бы знать, имел ли я его—особенно тогда, когда это дело разрешалось. Если оно и могло быть, то гораздо прежде. Мне просто больно, что человек, которого я столько уважаю, который, кроме того, когда-то оказал мне личную помощь, который был первый после Белинского, приветствовавший добрым словом мои стихи (я его записочку ко мне после Петерб. Сборника, до сей поры берегу), что это человек не хорошо обо мне думает. Скажи ему это (если найдешь удобным и нужным—ты лучше знаешь нынешнего Герцена) и прибавь к этому, что если он на десять минут обещает зайти ко мне в гостиницу (к нему мне идти неловко, потому, что я положительно знаю лютую враждебность Огарева ко мне), то я ни минуты не колеблясь приеду к 11 числу, что-бы 16-ого вместе с тобой уехать обратно.

Содержание этого письма было сообщено Тургеневым Герцену либо письменно, либо при встрече в Лондоне — неизвестно. Во всяком случае об объяснении Некрасовым своей непричастности к делу (не имея влияния и пр.) Герцен знал, так как писал об этом Тургеневу²⁾ уже после получения приведенного выше Некрасовского письма от 27 июня) и самому Некрасову.

«Некрасов ко мне писал. Письмо гадкое, как он сам; он обвиняет тебя в том, что ты не объяснил мне, что он считал дело это (о 3.500 фр.) конченным со мною и что ты мне их отдашь из твоего долга Некрасову; я совсем забыл о записке, которую тебе дал. Вот тебе, впрочем, совершенно заслуженная награда за дружбу с негодяями.

Итак, первое дело он взыскал на Панаева, второе — на тебя. Но я с собою шуток не

допускаю. Прилагаю письмо, которое отослал ему с первой оказией. Если же ты не имеешь средств, то я напечатаю его в «Колоколе», а потому советую постараться».

Итак, Герцен знал о том, что Некрасов слагает с себя вину, относя ее всецело к Панаеву, на этой почве объясняться с Некрасовым не пожелал, а, получив письмо Некрасова, рассвирепел и решил сначала, не имея адреса уехавшего Тургенева, напечатать ответ Некрасову в «Колоколе». Но, поостыв немного, — он потом писал Тургеневу, что «Колоколом» он только пригрозил — он написал Некрасову известное обвинительное письмо (от 10 июля 1857 г.), — то самое, которое он просит переслать с первой оказией:

«...Причина, почему я отказал себе в удовольствии вас видеть—единственно участие ваше в известном деле о требовании с Огарева денежных сумм, которые должны были быть пересланы и потом, вероятно, по забывчивости, не были пересланы, не были даже и возвращены Огареву.—Я и так был уверен, что это дело было совершенно «неумышленно», что, несмотря на два ваши письма к Марье Львовне, ждал объяснения.

Вы оцените чувство деликатности, которое воспрещало мне видиться с вами де тех пор, пока я не имел доказательств, что вы были чужды этого дела и что вся ответственность за него падает на третье лицо как вы объясняете в письме к Тургеневу.

В ожидании этого объяснения позвольте мне остаться неизвестным о вами. А. И. Г.»

Бешеное, но написанное с чисто французской иронической, высокомерной и сухой язвительностью письмо Герцена в соединении с письмом к Тургеневу, к которому оно было приложено, породило настоящую бурю. Тургенев был до крайности раздражен ссылкой на него, написал в Россию (дяде) и просил вернуть Некрасову долг; он написал самому Некрасову, он хотя и попытался задержать отправку герценовского письма Некрасову, списываясь об этом с Герценом, но все же вынужден был это сделать спустя несколько недель через Дружинина. Некрасов 20 июля ст.ст., отвечая на письмо Тургенева, пытался успокоить его, объяснял и обосновывал свое право сослаться на друга своего и даже унижался, завися в известной мере от Тургенева. Он приложил к этому письму записку Герцену, в которой целиком принимал вину на себя. При-

¹⁾ Июнь 1857 Рим; Пытин, «Некрасов», стр. 170.

²⁾ Соб. соч., т. VIII, стр. 552.

миренбе с Тургеневым, хотя и внешне, этим путем было достигнуто.

Вот записка Некрасова Герцену¹⁾.

Милостивый Государь
Александр Иванович.

В письме, посланном Вам недавно из Парижа, я вовсе не думал обвинять Тургенева в неуплате Вам моего долга; я прямо винил свою беспечность и говорил только, что с той поры, как получил Вашу записку об отдаче этих денег Тург.—я мало думал об этом долге имея с Тург. постоянные счеты.

Я не сказал в моем письме, будто этот долг в настоящее время число за Тургеневым; я не писал (не писал!) Вам, что эти деньги заплатит Вам Тургенев, из денег, которые он будто в настоящее время мне должен. Напротив я писал прямо, что деньги вышло вам я по возвращении в Россию.

Письмо мое, однакоже послужило источником некоторых недоразумений, которые заставляют меня просить вас 1) считать виновником в этом деле единственно меня, а не Тургенева, который виноват перед Вами разве в том, что не взыскал с меня этого долга посредством полицейских мер²⁾; 2) послать Тур. или показать ему при случае мое письмо к Вам, писанное из Парижа 3) извинить меня, что я вторично Вас беспокою по делу, в котором непростительно виноват и которое в весьма скором времени, наконец, кончу высылкой вам денег.

20 июля с. г.

Н. Некрасов.

Это письмо было послано Тургеневу для передачи Герцену. Но через неделю Некрасов послал вдогонку новое письмо, а этого просил не передавать. Это письмо Некрасова долгое время считалось утраченным, — оно было напечатано в «Русской Мысли» в 1902 г. с указанием на Огарева, как на вероятного адресата его. Подлинник письма находится в нашем распоряжении — вот его текст:

«Милостивый Государь.

Я уже послал вам следующие с меня деньги ранее получения вашего письма (из 5.000, кроме двух, которых получение вы отметили на моей росписке, было еще выдано 100 р. с. М. Ф. Корш в 1848 г. по возвращении ее из-за границы, потому я послал вам 3.000 фр.). Я не думал ни прямо, ни косвенно винить Тургенева в неуплате моего долга; я винил прямо себя, а упомянул об известной записке единственно потому, что, не будь ее, я, вероятно, не простер бы своей беспечности до такой степени и гораздо ранее позаботился бы о очистке этого дела. Так я думаю и теперь. Что же касается до при-

чины вашего неудовольствия против меня¹⁾ то могу ли, нет ли оправдаться в этом деле,—перед вами оправдываться я не считаю удобным. Думайте, как вам угодно.

26 июля 1857 г., Петергоф. Н. Некрасов.

Что же произошло в течение той недели; которая разделяет оба эти столь различные письма, по одному делу написанные? Во-первых, Некрасову удалось достать денег, — он тотчас отправил Тургеневу для передачи Герцену вексель на 3000 фр., — но не это было главным: приехал Дружинин, через которого Тургенев пересылал письмо Герцена, — почте его доверить было нельзя, — и передал Некрасову обвинительный акт Герцена. Прочитав его, Некрасов почувствовал себя прижатым к стене. Объясняться надо было по поводу писем к Марье Львовне, а не отговариваться не причастностью и «ходом перемен в личных отношениях». Он уклонился не только от объяснений с Герценом, но и с Тургеневым, с которым был в несравненно более близких и дружеских отношениях. В тот же день он написал Тургеневу большое письмо, сердечное и относительно спокойное, — письма Некрасова обычно напряженно-нервные, — писал в этом письме о чем угодно — о литературных новостях, о здоровье Тургенева, о своих стихах и русской жизни, о достоинствах Чернышевского, о циркуляре, который редакция «Современника» задумала разослать ближайшим сотрудникам, о телеграмме из Бадена от проигравшегося Толстого, о своей новой собаке и серых «родных полях», но о сути дела, которое, как он знал, волновало не его одного, — ни звука. Любопытно: он почувствовал, что Тургенева он на время отвоевал: из «Современника» он не уйдет, «Записок Охотника» не отберет, на содействие его в дальнейшем можно надеяться — и успокоился. Журналист до мозга костей, он махнул рукой на Герцена: пусть, мол, думает и делает, что хочет — проживем и врозь²⁾.

¹⁾ Курсив наш; эта формула означает огаревское дело.

²⁾ Герцен, которому Тургенев сперва не пересылал письма Некрасова, переслав только вексель (ему было жаль Некрасова), — полу-

¹⁾ См. Пылин «Некрасов».

²⁾ Намек на дело, введущееся в надворном суде. — Я. Ч.

Разумеется, служить характеристической внутреннему самочувствию Некрасова наше замечание не претендует. Некрасов тяжело и глубоко был удручен тем поворотом, какой произошел в его отношениях с Герценом и, вероятно, попытался, хоть и поздно, хоть и после разрыва, исправить содеянное. Говорим «вероятно» потому, что сожжена Панаевой вся переписка ее с Некрасовым, и нет возможности установить это точно. Не сохранилось также и писем ее к Некрасову¹⁾.

Лишь одно письмо Некрасова к Панаевой, отнесенное М. К. Лемке как раз к этому времени, — осени 1857 года, — случайно уцелело именно в той части, которая касается нашего дела. Оно было перлюстрировано и представлено в копии, снятой не со всего письма, а только с части его главноуправляющему III отделением.

Это письмо очень важно для понимания роли Некрасова в огаревском деле. Нашел его в соответствующем архиве М. К. Лемке и опубликовал в комментарии к сочинениям и письмам Герцена. Он придал, однако, при этом самому письму неверное и произвольное толкование, которое вошло широчайшим образом в историко-литературный обиход. Лемке видит в письме доказательство полной непричастности Некрасова к присвоению огаревского достоинства.

Вот текст найденного Лемке документа:

«Довольно того, что я до сих пор прикрываю тебя в ужасном деле по продаже имени Огарева. Будь покойна: этот грех я навсегда принял на себя и, конечно, говоря столько лет, что сам запутался каким то непонятным образом (если бы кто в упор спросил: «Каким же именно?», я не сумел бы ответить, по неведению всего дела в его подробностях), никогда не выверну прежних слов своих на изнанку и не выдам тебя.

чиз после настойчивого требования письмо, пишет 16 октября 1857 г.:

«Ты прислал мне гнусное, отвратительное, галерное письмо мерзавца Некрасова»...—Но он не прав, хоть и сердится. Дерзость Некрасова произошла от беспомощности—оправдаться было невозможно, а обвинение было высказано в лоб.

1) Кроме двух, которые находятся в распоряжении проф. И. Н. Розанова и в которых, по сведениям, лобезно им сообщенным, нет ничего, относящегося к этому делу.

Твоя честь была мне дороже своей и так будет не взирая на настоящее. С этим клеймом я умру... А чем ты платишь мне за такую — знаю сам — страшную жертву? Показала ли ты когда, что понимаешь всю глубину своего преступления перед женщиной, всеми оставленной, а тобой считавшейся за подругу? Презрение Огарева, Герцена, Анненкова, Сатина не смыть всю жизнь, оно висит надо мной... Впрочем ты можешь сказать, что вряд ли Анненков не знает той части правды, которая известна Тургеневу, — но, ведь, только части, а всю то знаем лишь мы вдвоем, да умерший Шаншиев... Пойми это хоть раз в жизни, хоть сейчас, когда это может остановить тебя от нового ужасного шага. Не утешаешься ли ты изречением мудреца: нам не жить со свидетелями нашей смерти?! Так ведь до смерти-то позор на мне».

К этому документу М. К. Лемке дает комментарий на трех страничках, составленный из совершенно неосновательных соображений. Начинается он весьма красноречиво:

«Читатель уже понял, — пишет Лемке, — ужасную трагедию в жизни Некрасова, оценил его рыцарскую защиту чести любимой женщины и знает теперь истинную виновницу всего грязного дела»¹⁾

Рассмотрение этого документа приводит нас к совершенно обратным, нежели выводы Лемке, заключениям. Начнем с того, что укажем, во-первых, на неверную датировку письма. Осенью 1857 года, т. е. тотчас после разрыва с Герценом, это письмо не могло быть написанным, т. к. как раз в это время Некрасов писал Тургеневу, что может в течение нескольких минут разъяснить Герцену все дело. Сле-

1) Замечу здесь коротко, что Лемке не имел права впадать в этой преувеличенный тон торжествующего обвинителя. Соображения, которые он приводит, не выдерживают критики. Как раз в той части воспоминаний Авд. Панаевой, которую он считает лживой, она наиболее близка к правде. Добролюбову действительно было около 20 лет, когда разрешалось дело. Чернышевский не дважды, а трижды высказывался об огаревском деле, и именно письмо Чернышевского от 28 ноября 1860 г. опровергает все соображения Лемке. Лемке не заметил, как и все остальные исследователи этого вопроса, что дело разрешалось после 1857—58 года, т. е. после объяснения с Герценом, а не в начале 50-х, как он предполагает, — и многое другое. Весьма содержательное и во многом справедливое рассмотрение и критику взглядов М. К. Лемке по данному вопросу читатель найдет в известной работе К. И. Чуковского о Некрасове («Некрасов». Изд. Кубуц. 1926 г.).

довательно, он в это время знал дело в подробностях — а «забыть» его мог лишь много позже. Во-вторых, осенью 1857 года Некрасов не стал бы доверять столь интимные обличения своей подруги (а не «рыцарскую» защиту, скажем в скобках) почте, да еще в заграничном письме, да еще с перечнем совершенно в то время нелегальных имен (Огарев, Герцен) или имен «подозрительных» с полицейской точки зрения (Сатин, Тургенев). Наконец, «умерший» Шаншиев, упоминаемый в письме в 1857 году, был, как нам удалось установить, живехонек. Три года спустя, осенью 1860 года, Некрасов едва не прибил его в своем кабинете, все по тому же огаревскому делу. Хорош мертвец, подписывающий в 1857 г. векселя, а в 1861 году продающий имения и подвергающийся настоящей облеве кредиторов.

Обратившись к подлинным делам архива III отделения с целью проверить по документам все перечисленные соображения, удалось разыскать «опись перлюстрационных сведений за 1857 год», заключающую извлечения из 300 с лишним писем разных лиц за вторую половину 1857 года. Оказалось, что письма Некрасова действительно подвергались перлюстрации (так, например, содержание письма Некрасова к Тургеневу от 27 июля 1857 г. изложено в описи под номером 32-м), но письма, приводимого М. К. Лемке, в перлюстрации 1857 года не оказалось, как не нашлось покамест, несмотря на энергичные поиски в архиве, и того дела, на которое М. К. Лемке сослался при публикации.

Датировка письма Н. А. Некрасова к Панаевой имеет особенное значение именно в связи с исследуемым нами делом. В самом деле, если в разгारे объяснений с Герценом, в то время как в московском надворном суде, как мы знаем, стараниями Сатина и Каракозова двигалось дело против Панаевой и Шаншиева, в то время как в это дело, по словам Панаевой, был втянут целый ряд деятелей той эпохи (Кавелин, Добролюбов, Чернышевский), — Некрасов решительно отмежевался от действий своей подруги (хотя бы в письме к ней же) — в этом было бы доказательство ре-

шимости Некрасова очиститься даже ценой обвинения Панаевой «в ужасном деле по продаже имения Огарева». Но, к счастью, этого преступления против «рыцарской защиты чести любимой женщины» не было, как не было самого письма в эту пору. Были лишь неопределенные намеки на виновность Панаевой в письме к Тургеневу и объяснениях с Герценом, столь возмущивших последнего. Письмо же Некрасова относится, вероятно, к гораздо более позднему времени, когда Некрасов позабыл даже и то, что продажи имения никакой не было (как увидит читатель), что он, Некрасов, принимал энергичнейшее и прямое участие в этом деле на всех стадиях его развития, вплоть до его окончания. К сожалению, за неразысканием копии письма в III отделении мы лишены возможности точно исправить несомненную ошибку М. К. Лемке. Тем самым, однако, уничтожается категоричность обвинений, высказанных в письме Некрасовым, т. к. оно полно противоречий и запамятований. То-есть письмо, подтверждающая виновность Панаевой, не освобождает и автора письма от ответственности.

Впрочем, виновность Панаевой, установленная судом, подтверждается также и ею самой. Долгое время не соглашаясь вернуть полученные от имени подруги с Огарева деньги и имение, она (возможно под давлением Некрасова), наконец, согласилась.

Есть тому неоспоримое свидетельство: неизвестные до сих пор письма Огарева Сатину и приложенная к нему записка М. М. Каракозову.

Если даже мы неправы в нашей характеристике некрасовского письма, то и тогда приводимые ниже письма имеют первостепенное значение, свидетельствуя, что преступление было признано одним из обвиняемых.

1

(1857).

«Грустно, грустно, саго, что так складываются обстоятельства, хотя я и не раскаиваюсь, потому что во всяком случае результат был бы один и тот же. Но я не отчаиваюсь, причины слишком законны и ты, основываясь на них откровенно, можешь же

добиться согласия. Насчет А. Я. ¹⁾ могу только сказать, что она дала мне знать, что у нее 40/т. которые она готова заплатить по первому требованию. По моему мнению лучше на этом помириться, потому что остальные она вероятно промотала и следст. веди процесс как хочешь, а где ничего нет le roi perd ses droits, впрочем это совершенно зависит от твоего усмотрения: заметишь что она только торгуется, конечно стребуешь и больше. Карак. прилагаю записку, неопределенностью которой и он и ты будете довольны, потому что она дает действовать как хочешь ²⁾.

2

«М. М. Каракозову.

Любезный Михайло Михайлович,

Вот вам искреннее рукожатие от старого дяди. Ваш поверенный дело ведет что то вяло. Панаева между тем предлагает уплату. Переговорите об этом деле с Сатиным, передайте ему письма П. и решите дело мировой что ли, или по усмотрению Сат. Но куйте железо пока горячо, а там пожалуй П. истратит деньги и никакой процесс не поможет вам. От души желаю, чтоб дело принесло вам пользу; мою часть получит Сат. Искренно вам преданный Н. Огарев ³⁾.

Эти письма Огарева свидетельствуют о том, что Герцен имел основания упорствовать в своих обвинениях. Ему обо всем до мельчайших подробностей рассказал Огарев после приезда своего в Лондон. Он ничего не «воображал», как писал впоследствии Н. Г. Чернышевский в своих воспоминаниях, а совершенно достоверно знал, что Некрасов принимал активнейшее участие в ведении процесса против Огарева тогда еще — в 1849—50 г. Роль Некрасова и тогда казалась сомнительной. В наших руках находится неопубликованное письмо Грановского Сатину, написанное в августе 1849 года, где Грановский довольно решительно говорит о не совсем чистой роли Некрасова. Подозрение, зародившееся против Некрасова, подтвердилось после смерти М. Л. Огаревой, когда капитал, находившийся в руках Шаншиева, Панаевой и Некрасова, не был возвращен. Вот что писал Грановский:

«Шаншиев наложил запрещение на оставшееся у Огарева имение. Некрасов играет в этой истории не совсем чистую роль: ему ка-

жется хочется поделиться с М. Л., ибо очевидно, что за хождение по ее делу с нее возьмут порядочные проценты. Это даже высказано было Шаншиевым, который, впрочем, порядочный человек и держит себя благороднее Некрасова, вышедшего из себя при известии (о продаже) ⁴⁾ пензенского имения».

Анненков, Герцен, Грановский, Сатин, Огарев, Тургенев, Кетчер имели основания обвинять Некрасова еще и потому, что в письмах (если не всем перечисленным выше лицам, то части из них письма были известны) Авдотьи Яковлевны к Марье Львовне много раз упоминается имя Некрасова как ближайшего участника дела. Он помогал Марье Львовне деньгами из журнальных сумм, когда в ноябре 1849 г. прекратилась высылка пенсионера; он выдал Шаншиеву деньги на расходы на завершение дела в 1851 г.; он рекомендовал Огаревой выдать доверенность Авдотье Яковлевне с правом передоверия, — лично писал Марье Львовне о деле. Он принимал участие в деле, но был ли в нем денежно заинтересован? Ответ на этот вопрос, быть может, даст дальнейшее изложение.

Здесь отметим лишь, что Герцен навсегда — до конца жизни — остался при убеждении, что Некрасов виноват, и клеймил его неизменно в течение многих лет позорными прозвищами: вора, мерзавца и т. п.

III

Панаева следовательно соглашалась вернуть часть капитала. В «Ходе дела», о котором мы говорили уже, написанном Огаревым 2 января 1856 г., имеется следующая записка: «Шаншиев... объявил, что он все деньги почти отдал в руки Панаевой, от которой имет росписки, а остальные, которые пересылал сам, на те имеет документы банкирские. В следующее воскресенье обещает показать и советовал иметь переговоры с Панаевой, а он будто в стороне».

Свидание с Панаевой состоялось между 2 и 8 январем.

Панаева, опрошенная, заявила сначала, что она поступила с капиталом,

¹⁾ Т. е. Панаевой.

²⁾ Подлинник (Архив М. О. Гершензона); приводим отрывок, относящийся к нашему делу.

³⁾ То же.

⁴⁾ В подлиннике слово пропущено.

как ее о том устно просила Марья Львовна, и сослалась на доверенность. В доверенности, содержание которой излагается в том же документе, действительно имелся пункт, который гласил примерно так: «Марья Львовна поручает Панаевой ¹⁾ взять у профессора Грановского заемные письма (на сумму 85.815 р. сер.), выданные Марье Львовне ее мужем и оставленные ею у Грановского на хранение 2) представить оные ко взысканию и полученный капитал и проценты употребить как Марья Львовна об этом лично просила Панаеву» ¹⁾).

Следовательно формально Панаева была права и обладала бы юридически неуязвимой позицией, если бы... если бы не ее письма. Сколько раз она писала Марье Львовне, чтоб та никому не показывала ее писем и лучше всего жгла бы их. Уверенная в том, что Марья Львовна исполняет эту ее просьбу, она пересылает ей даже письма Шаншиева — чрезвычайно выразительные. А Марья Львовна вместо того, чтобы последовать совету подруги, — бережно сохранила все, вплоть до незначущих, вплоть до интимных, на которых быстрой рукой Авдотьи Яковлевны было начертано сверху: «не читать вслух»...

Немудрено, что представленные в суд письма должны были решить и решили дело в пользу Огарева. И мудро ли, что Некрасов вмешался. В том же «Ходе Дела» мы находим несколько ссылок, а в двух случаях даже цитаты из недошедших до нас писем Авдотьи Яковлевны.

«Замечательно письмо г-жи Панаевой, — пишет Огарев для своего поверенного, — в котором есть упрек Марье Львовне и выписка из ее письма к Панаевой, где Марья Л(ьвовна) говорит, что не позволит водить себя за нос как дурочку».

Опровергая утверждение Панаевой, что она имела словесное распоряжение Марьи Львовны как поступить с капиталом, Огарев пишет:

«В письме Панаевой к М. Л. Ноября 26 (вероятно) 1852 года сказано, что в 1853. году дела будут поконче-

ны и М. Л. приглашается приехать за получением капитала и удостовериться, что он весь цел».

«В марте 1853 г., — продолжает тут же Огарев — М. Л. умерла. Ясно, что капитал ей не возвращен и никакого поручения на особое употребление оного не было...»

В другом месте «Хо́да Дела» мы находим указания на письма от 21 апр. 1852 г., от 3 дек. 1852 и несколько других без точных дат, но значащихся под 1852 г., которые хоть отчасти заполняют тот пробел в переписке, который измеряется внушительным промежутком времени между 6 июня 1851 года и 23 марта 1853 года — датами предпоследнего и последнего писем Панаевой, имеющихся в нашем распоряжении.

Значит Панаева виновна в присвоении денег Марьи Львовны. А Шаншиев? Как жаль, что Огарев не заглядывал в современные ему «Сенатские Объявления» о запрещениях на имения. Выходили они два раза в неделю и в тридцати, примерно, тысячах объявлений о запрещениях, накладываемых ежегодно, он нашел бы много для себя поучительного. Он не только обнаружил бы там нелюбимую летопись своих хозяйственных опытов, историю своего собственного разорения, но сразу обнаружил бы тот хозяйственный трюк, с помощью которого Шаншиев, воспользовавшись системой протекционного дворянского землевладения, особенно интенсивно в предсмертную для крепостного права эпоху, добился видимости законности в деле, которое имеет некоторое право быть одновременной исторической иллюстрацией к «Мертвым душам» и «Дворянскому гнезду» ¹⁾.

Сейчас мы попытаемся рассказать сущность предприятия нашего Чичикова-Шаншиева.

¹⁾ Образ Лаврецкого, история его отношений с Варварой Павловной, его роман с Лизой навеяны несомненно личностью Огарева. Этот роман Тургенева включает в себе синтетическое изображение именно той дворянской среды и именно тех ее прослоек к которым принадлежали и Огарев и Тучковы...

¹⁾ «Ход Дела».

В ноябре 1849 года Шаншиев отправился осматривать имение Огарева. Оно заключалось в селах Уручье, Мелечи, деревнях: Сосновом-Болоте, Колодной, Переторгах (всего около 4.000 гектаров) с 521 ревизскою душою мужского пола, по сказкам VIII ревизии 1835 г. Имение было заложено — накануне поездки Огарева с Марьей Львовной за границу — и под залог его было взято в два приема 3 и 17 февраля 1841 г. 15.760 и 15.480 рублей, всего 31.240 рублей. Со времени VIII ревизии, т. е. с 1835 г., протекло почти 15 лет; приблизилась следующая ревизия, и Шаншиев правильно расчел, что увеличение ревизских душ по новой ревизии обещает ему небезвыгодное дельце, если он получит эти «души» по «сходной цене». В одном из наших документов имеется указание, что на имении были «просрочки», это значит, что долг опекунскому совету уплачивался неаккуратно, как и проценты по долгу, — всего было утлочено за эти годы около 4.000 рублей. Воспользовавшись этим обстоятельством, Шаншиев, потрговавшись, переждав арест Огарева, более чем через год получил значительное имение за 25.000 р. с., а на основании доверенности Марьи Львовны купчую совершил на свое имя.

Таким образом в феврале месяце 1851 года Шаншиев оказался фактическим и формальным владельцем огаревского имения. Но этого ему было мало: необходимо ведь было удовлетворить Марью Львовну, перед которой он отвечал «всем своим имением и лицом», как формулировалась тогда юридическая ответственность в подобного рода делах. И Марье Львовне были предложены следующие условия: ей будут посылаться проценты на капитал в количестве трех тысяч рублей ежегодно, а самый капитал будет помещен в «верные руки», т. е. в руки, как мы теперь знаем, все того же Шаншиева.

Марья Львовна на эти условия согласилась хотя они были существенно худшими по сравнению с былыми огаревскими, так как Огарев высылал ей, как мы видели, ежегодно более 5.000 рублей серебром.

Руки у Шаншиева оказались развязанными. Подоспела IX ревизия, по которой в имении числилось уже не 521, а 603 души. Представлялась возможность перезаложить имение.

11 октября 1851 года по знакомой уже нам процедуре было выдано на имение свидетельство. Это свидетельство было представлено 20 декабря того же года в С. Петербургскую Сохранную Казну — т. е. имение было перезаложено на этот раз под весьма внушительную «осуду», а именно 51.255 рублей — пятьдесят одна тысяча двести, — как писали тогда в официальных документах, — пятьдесят пять рублей. 70 рублей Шаншиев получил пол каждую душу, и дополнительно «на случай выдачи копии со свидетельства для представления по ней означенных 603 души, каждую по пятнадцати рублей, к залогу по суконным, винным и соляным подрядам и поставкам».

Эта неизменная формула правительственной поддержки дворянского земле- и душевладения, а также цветущего состояния отечественной промышленности (вспомните: «винные подряды и поставки») в нашем случае означала, что Шаншиев, купив за 25.000 рублей серебром имение, на котором было еще 27.000 руб. серебром долга (т. е. за 52.000 руб. серебром), через восемь месяцев получил под это же имение 51.250 рублей наличными деньгами¹⁾ в виде ссуды. Вручив Панаевой 25.000 руб. серебром (вероятно) и уплатив старый долг московскому опекунскому совету, он оказался владельцем 6 деревень, населенных полутора тысячами крестьян, за 750 рублей — т. е. по полтиннику за душу! Этот трюк и Чичикова заставил бы покраснеть от зависти.

Шаншиев остался владельцем орловского имения и после отмены крепостного права. Осталось это имение

¹⁾ Если предположить, что вся сумма прежнего долга, т. е. 27.000 рублей опекунскому совету в Москве была при выдаче новой ссуды в С.-П-ге удержана, а так, вероятно, и происходило дело, то и тогда Шаншиев получил на руки 24.800 рублей — т. е. почти полностью ту сумму, которую он должен был М. Л.-не.

за ним и после постановления суда в 1859 г.; осталось оно за ним, несмотря на обильные претензии многочисленных и разнообразных кредиторов Шаншиева.

Были наложены запрещения на петербургские дома Шаншиева, запрещалось достояние по сакраментальной формуле «где бы какое ни оказалось его, Шаншиева», пришлось ему кое-что отдать Сатину и Каракозову по постановлению суда — об этом речь впереди, — но орловское имение значилось за ним — и как почетно значилось!

Когда после освобождения крестьян дворянство лишилось права собственности на души и необходимо было каким-нибудь образом разрешить вопросы о долгах дворян опекунам советам и той самой, слишком добродушной, «сохранной казне», правительство Александра II осуществило меру не столько оригинальную и действительную, сколько удобную для дворян. Оно перевело долги и залогом с душ на десятины, стало именовать «души» крестьянами, а самую уплату долга снова отсрочило...

Так, между прочим, с.-петербургская Сохранная Казна по журналу своему 22 декабря 1861 года посылала в Сенатскую типографию для опубликования новые тексты и новые формы «запрещений». Среди 20 объявлений об имениях д. с. с. Неклюдова, дочерей и сыновей генерал-лейтенанта Смагина, какой-то графини и самого князя италийского, графа Суворова-Рымнического, Константина Аркадьевича, действительного статского советника и других, прикутилось (в отличном и почетном по тем временам соседстве) также и объявление о Шаншиеве¹⁾.

При всей хищнической ловкости своей Шаншиев попал в середине 50-х годов в весьма трудное положение. По материалам, относящимся к финансовым операциям Шаншиева, — а они, очевидно, являлись профессией Шаншиева, — ход разорения зарвавшегося дельца можно проследить довольно подробно. Мы и даем в соответ-

ствующем месте сводку об этих материалах. Здесь отметим коротко, что насчитывается всего около 25 протестаций за тоды 1856—1864.

Ответственность по огаревскому делу, павшая по постановлению суда 7 мая 1859 г. на Шаншиева и Панаеву, была тяжелой: суд присудил с них полную сумму долга — 85.815 р. сер., т. е. ту сумму, на которую когда-то — в 1846 году — были выданы Огаревым векселя Марье Львовне. Как мы знаем, Шаншиев от имени Марьи Львовны по мировой по этим векселям получил только 60.000 руб. (25.000 — именьем, остальные — векселями), из коих собственно для Марьи Львовны только 50.000 рублей, следовательно ответственность на него и Панаеву должна была лечь в пределах этой последней суммы, «с интересами по числу иска», как выражаются официальные документы. Формальная сумма долга должна была быть заменена фактической. Следовательно должна была быть заключена мировая. Шаншиев и Панаева расплатились по «мировой» с Н. М. Сатиным, действующим от имени Огарева и М. М. Каракозова.

Запрещение было снято 17 декабря 1860 года («Сен. Об.» о разрешениях № № 15067—68). Через полтора месяца была совершена сделка, которая могла явиться только следствием соглашения и которая на наш взгляд свидетельствует о новом ловком ходе Шаншиева (см. «Сен. Об.» 1861 г. № 25. Март, ст. 6566).

В чем он заключался? Вопрос этот приобретает значение благодаря исключительно интересному обстоятельству: оказывается, Шаншиев уплатил Сатину, выдав купчую на принадлежавшее ему имение Панаевых — села Танкеевку (с. Богородское) и Жадеевку (с. Троицкое). Купчая эта была совершена 1 февраля 1861 года в СПб Палате гражданского суда за № 4. З. 18 дней до обнародования манифеста об отмене права дворянства владеть душами живыми и мертвыми и как собственностью распоряжаться ими: продавать и покупать, закладывать и обременять трудом, за восемнадцать дней до шпательственной ратификации процесса, уже происшедшего в

¹⁾ «Сенатские Объявления» о запрещении на имения 1862 г., январь № 7, стр. 329, статья 1751.

недрах общественных, один дворянин, дворянин-хищник, сбыл с рук другому дворянину, дворянину-романтику, обремененное долгами, выжатое, как лимон, заложенное имение. Накануне реформы это не было выгодным для Сатина. Шаншиев же, очевидно, знал, что делал.

Имение попало в руки Шаншиеву, вероятно, в 1851 году, т. е. в том же году, когда он «прибрал» к рукам огаревское имение. Во всяком случае тогда же, в 1852 году, он и его заложил, и опять, как и огаревское имение, в полной сумме (22 февраля 1852 г. ¹), заложены 241 душа крестьян и дворовых по 70 рублей под каждую душу в с.-петербургском опекуном совете — всего 16.870 руб., а 17 февраля 1853 г. Шаншиев получает надбавочную ссуду — 2.410 рублей).

Так «расплатился» Шаншиев, отдав 260 заложённых душ за 600 полученных им десятью годами ранее.

Тот факт, что имение Панаевых — Иван Ивановича и Евдокии Яковлевны — принадлежало примерно с 1851 года Шаншиеву, а в 1860 году было отдано, по требованию Некрасова, по мировому соглашению в уплату огаревского долга Сатину, интересен и знаменателен еще и с другой стороны: можно легко себе представить, что в декабре 1851 года, получив от Сохранной Казны около 25.000 наличными и заявившись к Авдотье Панаевой, Шаншиев выдвинул соблазнительное предложение.

— Вы продаете ваше имение, Авдотья Яковлевна, не так ли?

— Да, это необходимо, — «Современник» пожирает массу денег, Некрасов играет, я в долгу, как в шелку... мои гонорары уходят на обеды сотрудникам и цензорам... за границей я прожилась...

— Я готов купить его у вас.

— Вы?!.

— Да, я.

— Да где же вы денег возьмете?

— Вот двадцать пять тысяч — только что перезаложил «Уручье».

— Как, да ведь это деньги Марьи Львовны!

— Что ж из того? Ведь условлено между вами и ею, что до 1853 г. она получит только проценты на капитал, — я аккуратнейшим образом буду высылать ей 3.000 руб. в год, — а деньги — в оборот: на эти деньги я покупаю у вас Танкеевку. Идет?

Панаева поколебалась. Значит года на два Марья Львовна обеспечена — ее капитал цел. «Уручье», правда, заложено, но оно ведь за нею, Шаншиев ведь ответственен перед Марьей Львовной, — наконец, покупка Танкеевки — верное помещенье капитала подруги?.. Не так ли? Да и Шаншиев ведь порядочный человек и ловкий делец, — мы с ним имеем постоянные денежные дела, и он ведет себя в них как подобает человеку.

И Панаева, несмотря на противодействие Некрасова, пошла на эту сделку.

Этот воображаемый разговор, — конечно, только гипотеза, — мог происходить в действительности. Он не только точно соответствует фактам и отношениям, не только соответствует характеру земельных спекуляций, которые были в ходу в то время, он вполне в характере действующих лиц и особенно в характере Шаншиева...

IV

Дворянин по званию, изворотливый буржуа и промышленник по своей сущности, Шаншиев представляет собой в этом деле фигуру столь значительную, что наш рассказ будет неполным, если мы не остановимся еще раз на некоторых сторонах его отношений с Панаевыми и Некрасовым. С Иваном Ивановичем Шаншиев был в приятельских отношениях. Это видно из письма (неизд.) его к нему от 1850 года, когда Авдотья Яковлевна была за границей: они на ты; оказавшись как-то вместе в Москве, они оба кутят в маскараде, и Панаев «спасает» нашего героя от шпегательств какой-то маски; подпись Шаншиева в письме к Авдотье Яковлевне гласит: «душевно-любящий

¹ См. «Сен. Объявления» за 1852, № 22, статья 4951; запрещение по свидетельству, выданному 3 янв. 1852 г. См. «Сен. Объяв.», № 10, статья 2242.

Вас». Когда Шаншиев уезжает, Авдотья Яковлевна у родных наводит о нем нужные справки и т. д. Можно себе представить, что человек, обладавший двумя домами в Петербурге, являвшийся в 1856 г. владельцем бумагопрядильной фабрики возле Петербурга, в 7 килом. за Нарвской заставой, человек, о котором согласным хором отлично отзываются, всячески рекомендуя его, Авдотья Яковлевна и Иван Иванович и Некрасов, человек, чем-то импониравший даже Грановскому, — должен был обладать какими-либо качествами, отличавшими, а может быть, и выделявшими его из толпы народившегося поколения дворян-дельцов. Только один Чернышевский дурно отзывался о нем именно с деловой стороны: «бестолковый, но хитрый плут». Когда как-то один из друзей предлагал Огареву поручить какое-то дело Михаилу Александровичу Языкову — компаньону Николая Николаевича Тютчева, — Огарев дал в неопубликованном письме такую его краткую и выразительную характеристику:

«Языкова я очень люблю, он очень милый экземпляр рода человеческого, но дела ему никогда никакого не поручу, ибо он 1-е не принадлежит к породе *Homo sapiens*, а 2-х — принадлежит к породе *Homo inertus*, и дела вести через него, когда нет на лицо его компаньона Зиновьева, значит в дужу п.....».

Таких «*Homo inertus*» в течение четверти века уже упрямо вытеснял из хозяйственной жизни оборотистый предприниматель, хорошо понимавший, по выражению Панаевой в одном из имеющихся в нашем распоряжении писем, «значение денег в наш век».

Шаншиев и был неплохим представителем именно этого народившегося слоя рядового дворянства, перешедшего к «аферам», т. е. делам. Делец, по тогдашнему аферист, оставивший эту кличку в наследство темным дельцам, — это уже в эпоху рождения «честной», «солидной» буржуазии — он, конечно, был головой выше бесчисленных дилетантов промышленности. Он был, так сказать, уже «профессионалом» предпринимательства и своими деловыми способностями мог внушать искреннее восхище-

ние, скажем, Авдотье Яковлевне Панаевой, даме, всем сердцем устремленной к новому веку. И Некрасов, к концу 40-х годов превратившийся постепенно в крупного литературного предпринимателя, не без интереса вглядывался, вероятно, в этого человека. Позволим себе здесь одно общее замечание.

Процесс кристаллизации предпринимателей среди дворянства, процесс перерождения дворянства в буржуазию в России — одна из самых серьезных и насущных проблем не только чисто исторического изучения. С точки зрения такого изучения вся история с огаревским именем представляется прекрасной иллюстрацией этого именно процесса. Все дело в том, что по сравнению с Шаншиевым и особенно Некрасовым сам Огарев являлся в большой степени «*Homo inertus*», теснимым со всех сторон, разоряемым хозяином-романтиком, терпящим неизбежные неудачи, экспериментатором, обреченным на поражение. Если когда-нибудь к хозяйственным опытам Огарева нам придется вернуться и рассказать, например, поучительную историю его писчебумажной фабрики, — читатель в этом убедится. Здесь же мы вынуждены ограничиться только краткой формулой: он был обречен на потери и ходом вещей и самим собой. И тем же ходом вещей Некрасов или Шаншиев были обречены стать неминуемыми, пускай «незаконными», с точки зрения дворянской морали, но неустрашимыми восприимчивыми материальных ценностей старой России.

Фактическое участие Некрасова в присвоении огаревского достоинства нами доказывалось ранее, — теперь сведем воедино важнейшие соображения.

1. Некрасов неоднократно поддерживал Авдотью Яковлевну в ее предложениях Марье Львовне и деловую часть этих предложений прямо руководил, появляясь на сцене в каждый критический момент хода дела.

2. Некрасов, основывая «Современник» и организуя издание альманахов, не был богатым человеком, и мысль о резервах на случай неудачи не оставляла его, так как призрак пережитой в юности нищеты казался ему, не без

оснований, самым страшным призраком из всех существующих на земле.

3. С Шаншиевым Некрасов был связан через Панаева; имение Панаева Танкеевка принадлежало Шаншиеву.

4. В один из критических моментов в этой истории Некрасов прибег к шантажу Огарева.

5. Некрасов принимал во всей истории гораздо большее участие, нежели он приписывает себе в известном перлюстрированном письме. Это явствует из всей публикуемой нами переписки.

6. Некрасов принимал и активнейшее участие в заключительной стадии всей истории, относящейся к 1859—60 гг.

Конечно, перечисленные соображения не содержат и не могут содержать в себе утверждения о предумышленном воровстве. Вот-де Некрасов решил обворовать Огарева. Нет! Некрасову в 1848 — 49 гг., когда это было очень кстати, подвернулся случай иметь хоть какой-либо резерв в виде небольшого состояния сблизившейся с его другой женщины. Он и не думал его себе присваивать. В качестве финансового советника непрактичной дамы он мог, скажем, управлять имением, или, в случае реализации его, получить на известных условиях капитал в свое распоряжение в виде оборотных средств в своих предприятиях и т. п. С точки зрения Огарева и Грановского, например, это было некрасиво; Герцену это казалось возмутительным; по личному дворянскому авторитету самому Некрасову это тоже, вероятно, не казалось особенно благообразным, но лишь необходимым. Но с точки зрения Шаншиева, например, дело должно было казаться великолепным: дальновидность, практичность, деятельное отношение к ценностям, — никакой инерции...

Известный корректив в этот план внесла жизнь. Она, как часто это бывает с планами, изрядно в них напортила и напутала.

Сначала болезнь и дурные роды Авдотьи Яковлевны внесли смятение в ее отношения с Некрасовым, — это было в конце 49-го и в 50-м году; затем слишком медленная и чем-то осложненная реализация капитала Шаншиевым в 1851 и 1852 годах; наконец, в 1853 го-

ду — целый ряд событий: смерть Марьи Львовны, смерть отца Авдотьи Яковлевны, осложнившая материальное положение последней, болезнь самого Некрасова, весьма, как обнаружилось позднее, серьезная. Некрасов (к тому времени, кстати сказать, уже человек «состоятельный») в тех намеках на оправдание, которые имеются с его стороны в огаревском деле, и тогда и позднее неоднократно, как мы уже видели, ссылаясь на то, что в эпоху, когда выяснилось дело, т. е. когда обнаружилась необходимость вернуть Огареву деньги Марьи Львовны (следовательно в 1853—54 гг.), — у него не было влияния на известную особу, т. е. на Панаева. Возможно, даже вероятно, что это и соответствует действительности. Но если рассматривать наше дело не со стороны «вины» Некрасова (вредная точка зрения в логике имущественных отношений — и для истории быта и для истории нравов!), а со стороны обнаружения свойств некрасовской личности в определенной области жизни, такое оправдание приобретает сугубо формальный вид — результат упорного отрицания Некрасовым в самом себе (и в своей биографии), тех черт, которые в его практической (не поэтической!) деятельности были доминирующими, — черт организатора, предпринимателя, талантливо-го посредника, литературного агента. Буржуа в Некрасове — буржуа нового типа, с широкими планами, ловкий, щедрый, хорошо управляющий людьми, — был трагически силен, и едва ли не в этой непрерывной борьбе буржуа-предпринимателя с атактистическим дворянином заключается трагизм биографии Некрасова, уже не только как человека, но и как поэта.

Страстной жадной самооправдания было продиктовано то письмо, в котором он напрямик обвинял свою подругу в «ужасном деле по продаже имения Огарева». Его не смущало, что продажи никакой не было, что дело было в другом, что деловой человек, с ним деловыми отношениями связанный, — как ему не могло не быть известным, — пустил в оборот имения, за которые несла ответственность Панаева. За несколько лет перед объяснениями с Герценом он что-

то возражал против этой спекуляции — он тогда мало нуждался—Панаева не послушалась: решительно, он не виноват ни в чем и может оправдаться — он был болен, болен тогда, готовился к смерти, писал завещание: в десять минут он объяснит Герцену, почему ему нельзя предъявлять этих позорных обвинений... Но Герцен не верит в тогдашнюю самостоятельность Панаевой... что делать?..

В 1859—60 гг. Некрасов вмешивается в дело. Состоялся суд, Панаева и Шаншиев присуждены к уплате. Некрасов энергичнейшим образом хлопочет, чтобы привести к концу денежные расчеты Панаевой.

Платила, впрочем, не Панаева, — платил Некрасов. Вот три до сих пор ненапечатанных записки Некрасова к Н. М. Сатину, свидетельствующие неоспоримо о принятой Некрасовым на себя ответственности ¹⁾.

1

Если Вам угодно заехать ко мне, многоуважаемый Николай Михайлович, то я буду дома завтра (во вторник) около трех часов.

Примите уверение в моем совершенном уважении и преданности, Н. Некрасов.

Понедельник.

2

Так как Шаншиев в сию минуту находится у меня, то не угодно ли Вам, Николай Михайлович, приехать ко мне теперь.

Пред. Вам Н. Некрасов.

3

Пятьсот рубл. сер., которые Вы, почтеннейший Николай Михайлович, взяли у меня в Петербурге, прошу Вас зачесть, согласно нашему уговору, в счет денег, следующих вам с А. Я. Панаевой

Пред. Вам Н. Некрасов.

Итак, Некрасов принимал участие в переговорах по заключению мировой — третья запись датирована 23 ноября 1860 г. (через три с чем-то недели судебное запрещение было снято), а остальные относятся к тому же времени, т. е. к ноябрю 1860 года.

Н. Г. Чернышевский в письме к Добролюбову 28 ноября 1860 г. дает сжатое описание всего изложенного выше; больше того, он рисует такую сторону отношений между Некрасовым

и Шаншиевым, которая до сих пор была малопонятна и становится ясной лишь после того, как мы основательно разобрались в проделках Шаншиева.

«Да, вот еще новость! — пишет Чернышевский. — Кажется, делу Панаевой и Шаншиева с Сатиным (Огаревым) кончилось примирением. По крайней мере, подписаны мировые условия, оставалось подать мировое прошение в московский надворный суд. Сатин уже уехал в Москву, Шаншиев и Авдотья Яковлевна собирались ехать, когда я увидел их, дня четыре тому назад ¹⁾. Некрасов должен был иметь свирепую сцену с Шаншиевым, чтобы принудить его к возвращению поместья (то-есть к возвращению одного поместья вместо другого, — огаревское поместье не хотел брать Сатин, потому что на нем Шаншиев прибавил 25 тысяч нового долга, сверх прежнего, а Шаншиев не хотел возвращать по своей крайней глузости. Сатин согласился взять взамен Казанское поместье Шаншиева, которое стоит больше Огаревского, но по глупому мнению Шаншиева, скорее могло быть отдано, чем Огаревское). Что-бы уломать этого дурака Шаншиева, Некрасов принужден был попросить всех уйти из комнаты, оставив его наедине с Шаншиевым, залер дверь на замок, и что там кричал на Шаншиева, известно богу да им двоим, только, между прочим, чуть не любил его. Шаншиев струсил и подписал мировую» ²⁾.

Наша точка зрения на происшедшее в ноябре 1860 г. расходится с этим показанием современника только в одной частности: мы считаем, что Шаншиев не по «глупому мнению», а по действительному расчету сбывал Сатину казанское имение (элементарный подсчет убеждает нас, что Чернышевский ошибался или был введен в заблуждение относительно ценности казанского имения), хотя бы и под давлением Некрасова, отрицать которое у нас нет оснований...

¹⁾ Следовательно, мировая была заключена 23—24 ноября 1860 г. — это и есть дата третьей записки Некрасова.

²⁾ Переписка Чернышевского. Под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1925. Стр. 83.

¹⁾ Воспроизводятся впервые с подлинников, хранящихся в архиве М. О. Гершензона.

Литература и искусство

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Проблемы литературы. 2. ЛОКС. — Художественная манера Чехова. 3. А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — О «многоголосности» Достоевского. 4. ФЕДОР МАЛОВ. — О песне современной деревни. 5. В. СОЛОВЬЕВ. — Как надо писать о деревне. 6. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Репортаж должен быть честным.

1. ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ

КОГО ЖЕ, НАКОНЕЦ, СЧИТАТЬ КРЕСТЬЯНСКИМ ПИСАТЕЛЕМ

(Заметки)

Вяч. Полонский

1

В третьем номере «Земли Советской» напечатана статья т. Карпинского «Кого же считать крестьянским писателем!» Вызвана она моими «Листками из блокнота» («Новый Мир» № 2 за этот год). Статья заслуживает внимания.

2

Тов. Карпинский — один из знатоков крестьянского вопроса. Он справедливо замечает:

«Нельзя же в самом деле толковать о крестьянской литературе, быть крестьянским писателем, оставляя в стороне само крестьянство, не зная крестьянства, не имея ясного представления о его прошлом, настоящем и будущем».

Подписываемся под этими словами. Но пусть и т. Карпинский согласится:

«Нельзя же в самом деле толковать о крестьянской литературе, братья за критику литературы, оставляя в стороне самое литературу, не имея о ней ясного представления, не зная ее специфических особенностей».

Логика обязывает.

Если т. Карпинский в качестве специалиста по крестьянскому вопросу требует от неспециалистов, коль скоро они касаются крестьянства, хорошего

знания предмета разговора, позвольте и нам, специально изучающим литературу, требовать такого же уважительного отношения к литературе от всех, принимающих участие в литературных спорах.

Это приходится подчеркнуть потому, что т. Карпинский, авторитетный в своей области, высказывает о литературе суждения, необоснованность которых будет показана дальше.

3

Тов. Карпинский согласен с моим утверждением: нельзя называть крестьянскими произведения, написанные о крестьянах интеллигентами, дворянами и т. п. Литература о крестьянстве — не есть крестьянская литература. Но он решительно оспаривает право называться крестьянскими за теми писателями, которые «отражают интересы и настроения капиталистической верхушки крестьянства либо являются отголоском старой, уходящей в прошлое деревни с ее темнотой, предрассудками, пережитками патриархального быта». И здесь т. Карпинский неправ.

Неправота его проистекает оттого, что он составил себе неверное представление о классовой природе искусства, о специфических особенностях,

отличающих этот вид деятельности от всякой другой.

Надо заметить, что проблема эта является одной из основных, разрабатываемых современным марксистским литературоведением.

4

Речь идет не только о том, какого писателя и когда считать крестьянским. Смысл нашего спора заключается в установлении методологических основ, которые указали бы нам путь к установлению классовых характеристик писателей вообще — крестьянских, пролетарских, буржуазных, дворянских и т. п. Марксистское литературоведение, если хочет быть научным, — а иным оно быть не может, — стремится устранить субъективизм и импрессионизм из литературных оценок. Определение классового существа художественного творчества должно покоиться на твердом научном понимании предмета литературы. Потому-то спор наш ведется о методах оценки вообще.

5

Неясность принципиальных основ, которыми руководится т. Карпинский, проявляется прежде всего в его терминологии. Он, например, неоднократно употребляет термин «подлинная крестьянская литература». В бытовательском разговоре такое словоупотребление не вызвало бы возражений. Но наш спор имеет научный характер. А в научном споре — на это указывалось не однажды — всякий термин должен быть точным и ясным, иначе он перестает быть инструментом научного мышления. Оно делается немислимым при несоблюдении этого условия. Употребление же слов «подлинно крестьянская» неизбежно вызывает мысль о существовании литературы «не подлинно крестьянской». Но что это за литература? Крестьянская — или какая иная? Если она «не крестьянская» — надо найти ей соответствующее имя. Если она «крестьянская» — не присовокуплять слова «подлинно». Мы изучаем природу явления. Если в нем есть «крестьянские» элементы и

элементы «не крестьянские», смешанная природа его требует анализа «смешанности», выяснения преобладающих элементов и ясного определения, в зависимости от соотношения элементов. Но каким бы такое соотношение не было — в науке логически неправомерным будет употребление термина «подлинный».

6

Замечание это предварительное. В основе неверных представлений т. Карпинского лежит следующее его утверждение:

«Свою собственную, вполне оформленную идеологию, а значит и свою художественную литературу может создать только развивающийся класс, класс, идущий и приходящий к господству. Крестьянство не было, не является и не может быть таким классом» (курсив Карпинского).

Вот положение, способное вызвать переворот в литературной науке. Оно отчетливо устанавливает: не может быть крестьянской литературы. Для чего же тогда существует «общество крестьянских писателей», в органе которых т. Карпинский развивает свои положения? Очевидно для того, чтобы создавать пролетарскую литературу. Но в таком случае, почему эти писатели назвали себя крестьянскими? Ведь коль скоро не может быть крестьянской литературы, — вырывается почва из-под ног крестьянского писательства. Правда, у т. Карпинского есть «лазейка»: он ведь говорит о «вполне оформленной идеологии, а значит и художественной литературе». Но эта лазейка обнаруживает, что т. Карпинский пользуется безответственной терминологией. Что есть «вполне оформленная художественная литература»?

Другое дело — «идеология», т. е. стройное, последовательное социально-политическое мировоззрение. Разумеется, крестьянство никогда не создаст идеологии, хотя бы отдаленно подобной марксизму. Ибо крестьянство — класс мелких собственников — в процес-

се классовой борьбы не растет, не крепнет, не организуется в мощную, исторически прогрессивную силу, как пролетариат, но, наоборот, рассыпается, расслаивается, «раскрестьянивается», уничтожается. Буржуазный слой крестьянства, кулачество, обречен на уничтожение. Батрачество, сельский пролетариат идет к органическому слиянию с промышленным пролетариатом. Бедняцкий слой либо будет сливаться с пролетариатом, либо, по мере улучшения его хозяйственного положения, переходить в состав середняцкого крестьянства. Только середняцкий слой обнаруживает наибольшую жизнеспособность именно в силу общности его основных, исторических интересов с интересами пролетариата. Но именно поэтому не может быть создана вполне оформленная крестьянская идеология: совпадение длительных исторических интересов крестьянства с интересами пролетариата делают пролетариат, как единственно прогрессивный, передовой класс, организующий будущее, — вождем и руководителем крестьянства в социалистическом строительстве. Те же интересы крестьянства, которые не сближают, а отъединяют его от пролетариата, — неустойчивы, текучи, противоречивы, почему и не могут играть организующей роли в образовании устойчивой идеологии. Для устойчивой крестьянской идеологии нет устойчивой социально-исторической базы. На этот счет т. Карпинский высказал много правильных мыслей, против которых возразить нечего.

7

Но художественная литература? Здесь-то и обнаруживается ошибочное воззрение т. Карпинского, отождествляющего «идеологию» вообще с «художественной литературой»... Если бы социально-политическое мировоззрение во всех точках совпадало с искусством, если бы «идеология» была равна искусству, тождественна с ним, — т. Карпинский был бы прав. Но в том-то и дело, что идеология и искусство не совпадают, хотя всякое искусство — идеогично. Нет искусства без идеологии, но искусство есть явление, качественно

отличное от идеологии, т. е. от социально-политического мировоззрения. Именно поэтому невозможность создать вполне оформленную идеологию не препятствует крестьянству создавать свою собственную, крестьянскую, вполне оформленную художественную литературу. «Идеология» этой литературы, ее социально-политические идеи, ее философия может быть неустойчивой, колеблющейся, путанной, отражающей неустойчивость социального бытия крестьянства, как класса. Литература же тем не менее от этого не перестанет быть художественной. Больше того: значение ее будет тем выше, чем лучше, полней, конкретней она покажет идеологическую сумятицу класса, неформленность и противоречивость его мировоззрения, путаницу его философии. Ибо в этой идеологической противоречивости и неустойчивости художественной литературы крестьянства отразится неустойчивость его социального бытия.

8

Благодаря упрощенному подходу к литературе т. Карпинский в нашем прошлом «не находит крестьянских писателей», заслуживающих этого названия. Ну, а Кольцов, например? Ну, а Никитин, например? По социально-историческим причинам, о которых говорить здесь нет смысла, до того они общеизвестны, у нас не было крестьянской литературы. Но можно ли утверждать, что у нас не было крестьянских писателей? Именно крестьянских писателей, а не писателей о крестьянстве? «Антон Горемыка» так же, как «Записки Охотника», не были, разумеется, «крестьянскими произведениями», но поэзия Алексея Кольцова была крестьянской поэзией, несмотря на то, что Кольцов был не хлебороб, а прасол, т. е. по-нашему, даже не подкулачник, а всамделишный кулачок. Объявить его буржуазным писателем? Представителем торгового капитала? В социально-экономическом смысле такое наименование Кольцова не будет ошибкой. Но в том-то и дело, что классификация художественных произведений не вытекает непосредственно

венно из классификации социально-экономической. Ибо экономика не влияет на искусство непосредственно. Тов. Карпинский идет по дорожке В. Шулятикова, по дорожке вульгарного, примитивного отношения к искусству, не вытекающего из диалектического материализма Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова.

9

Откуда это несоответствие фактам в рассуждениях тов. Карпинского? Оно коренится именно в непонимании специфических особенностей искусства, его социальной природы. Тов. Карпинский прав, когда говорит, что капиталистическая верхушка деревни превращается в буржуазию. По роду своей деятельности, по характеру задач, в деревне кулацкая, эксплуатирующая верхушка играет в деревне ту же роль, какую играет буржуазия в городе. Поскольку эта часть деревни превратилась из трудовой в эксплуататорскую, — рассуждает т. Карпинский, — она потеряла право называть себя крестьянством. Тов. Карпинский игнорирует при этом тот факт, что художественная литература крестьянства имеет корни в мироощущении, вырастающем в условиях деревенского, а не городского образа жизни, на основе сельскохозяйственного, а не индустриального способа производства. Психология, мироощущение, взгляд на мир, все то, что входит в личный, внутренний опыт каждого человека, как наследие отцов и дедов, как влияние социальной среды, словом, общественное сознание, обусловленное социальным бытием, — это «сознание» не меняется в день, год, в пять лет ¹⁾. Человек пе-

1) «Крестьяне — особый класс. Как труженики — они враги капиталистической эксплуатации, но в то же время они собственники. Крестьянин столетиями воспитывался на том, что хлеб его, и что он волен его продавать. Это мое право, — думает крестьянин, — ибо это мой труд, мой пот и кровь. Переделать его психологию быстро нельзя, это долгий и трудный процесс борьбы». (Курсив мой. Вяч. П.).

Ленин. «Об обмане народа лозунгами свободы и равенства», речь на съезде по внешкольному образованию 19 мая 1919 г. Том XVI, стр. 215—216. Цит. по изд. 1923 г.

реживает многие перемены, бросающие его то вверх, то вниз. Но в искусстве он проявляет себя нередко вопреки этим внешним переменам. Крестьянин может быть середняком, даже бедняком, даже батраком, а в поэзии его, в искусстве его, если он художник, — скажется сознание кулацкое, если человека этого вышестовала кулацкая среда, знушила ему свой взгляд на мир. По той же самой причине нередко хорошие коммунисты, выходцы из буржуазной среды, пролетарские революционеры, создают художественные произведения, буржуазность которых не вызывает споров.

10

Но тов. Карпинский неправ не только тогда, когда говорит об искусстве. Он совершает ошибку также в вопросе о крестьянстве. Кулак — не крестьянин; поэтому кулацкая литература не может называться крестьянской литературой, — утверждает тов. Карпинский.

Я не стану здесь, разумеется, производить обстоятельного исследования этого вопроса. Я приведу лишь те высказывания В. И. Ленина, которым решительно противоречат мнения тов. Карпинского.

11

В своем исследовании «Аграрный вопрос в русской революции» Ленин говорил о крестьянстве как о классе не капиталистического, а крепостного общества, как о классе-сословии. Далее Ленин показывал, как по мере вытеснения капитализмом крепостнических отношений крестьянство перестает быть единым классом. Оно распалось на «сельский пролетариат и сельскую буржуазию» (крупную, среднюю, мелкую и мельчайшую) ¹⁾. В позд-

1) «Аграрная программа русской с.д.». Т. IX, стр. 289—290. Изд. 1923 г.

В черновых заметках к статье «Социализм и крестьянство» (октябрь 1905 г.) Ленин писал:

«Различать группы: крестьян четыре: 1) беззем(ельные); 2) малозем(ельные); 3) среднезем(ельные) и 4) многозем(ельные), пользующиеся н(аемным) трудом. «Лозунги

нейших работах Ленин уточнял и развивал понятие крестьянства. Но ни в одной работе мы не найдем у него утверждения, которое отрицало бы крестьянское естество кулачества. Кулачество, по Ленину,—это высшие слои сельской буржуазии, а **з а ж и т о ч н ы е крестьяне, крестьянская буржуазия.**

Это утверждение, научное значение которого не подлежит ни малейшему сомнению, дает основание признавать, что с падением феодальных отношений следовало бы изгнать из обращения самый термин «крестьянство». Крестьянство в том смысле, в каком оно существовало в крепостническую эпоху, — «класс-сословие» — ушло в прошлое вместе с эпохой, его породившей. На месте класса-сословия мы имеем сельское население, распадающееся на классы, указанные Лениным. Но термин «крестьянство» пустил слишком глубокие корни, он крепко вошел в словесный оборот — мало ли мертвых слов, давно утерявших первоначальный свой смысл, засоряет нашу речь! Поэтому мы встречаем его и в каждомдневном обиходе и в научной литературе. Но всегда, когда появлялся этот термин, — он охватывал все сельское земледельческое население. Потому-то сельский батрак, деревенский пролетарий не изымался из понятия «крестьянин» так же точно как кулак, деревенский капиталист продолжал почитаться крестьянином. Потеряв свой первоначальный смысл, термин «крестьянин» сделался синонимом деревенского, сельского населения, занимающегося обработкой земли с помощью ли собственных руд или с помощью наемного труда. В таком именно смысле этот термин употреблял Ленин, равно как и другие марксисты ученые и политики. Отсюда же происходили и противоречия, связанные с употреблением этого термина. Говоря о кулачестве, Ленин называл его «крестьянской

буржуазией» (т. IX, 448, 449, т. XI, ч. I, стр. 63), деревенских наемных рабочих называя «крестьянским пролетариатом» (т. XI, ч. I, стр. 63). «Зажиточное крестьянство» и «крестьянская буржуазия» — встречаются во всех почти работах Ленина, где он касался классово-борьбы в деревне (см., напр., т. III, стр. 11, 136, т. VI, стр. 359). Этой терминологии он не изменил после Октябрьской революции, когда классовое расслоение в деревне пошло особенно быстро. В речи на петроградской общегородской конференции 14 апреля 1917 г. он говорил о «зажиточном крестьянстве», т. е. кулаках, проводивших на крестьянских съездах мысль об отсрочке решения аграрного вопроса до Учредительного собрания (т. XX, ч. II, стр. 107). В «Письмах о тактике» Ленин писал о новом явлении деревни, заключавшемся в «более глубоком расколе батраков и беднейших крестьян с крестьянами-хозяевами» (Курсив мой. Вяч. П.) (т. XIV, ч. I, стр. 31). В «Ответе на запрос крестьянина» в 1919 г. Ленин, говоря о трех главных группах крестьян, так характеризовал вторую группу: «кулаки, т. е. богатые крестьяне, которые угнетают чужой труд либо нанимая работников, либо давая деньги в рост и тому подобное» (т. XVI, стр. 29).

Я полагаю, эта справка должна убедить тов. Карпинского в том, что его употребление термина «крестьянство» расходится с употреблением, какое делал Ленин. Карпинский в этом пункте не согласен с Лениным. У Ленина была на этот счет одна точка зрения, у Карпинского — другая. Но почему в таком случае тов. Карпинский утверждает, что именно он, Карпинский, стоит на правильной марксистско-ленинской точке зрения?

12

Я могу сослаться еще на книгу т. Сталина «Вопросы ленинизма»¹⁾. Автор этой книги пользуется той же самой терминологией, определяя сло-

наши (ольго) для 1—3». (Ленинский сборник, пятый, стр. 392). Этой классификации Ленин придерживался во всех своих трудах.

¹⁾ Цитаты по изданию 1929 г.

вом крестьянство деревенское, земледельческое население, в пределах которого происходит борьба сельской буржуазии и сельского пролетариата. И в «Вопросах ленинизма» мы встречаем неоднократно «беднейшее крестьянство», «зажиточное крестьянство», т. е. кулачество (стр. 625—626). Мало того, в статье «О трех основных лозунгах партии по крестьянскому вопросу», отвечая Ян-скому, Сталин не однажды, а трижды повторяет: «Как можно утверждать, что кулаки (тоже ведь крестьяне) могли поддерживать...» и т. п. Слова эти: «кулаки (тоже крестьяне)» повторяются в книге несколько раз (стр. 615, 616, 621). В другой статье — «О лозунге диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства» — на стр. 630 мы читаем: «кулачество (тоже крестьяне)», и т. д. Значит ли это, что, выписывая эти слова, Сталин стирает классовое противоречие между кулаком и середняком или кулаком и бедняком? Утверждать так значило бы извратить смысл, какой вкладывается Лениным, Сталиным и другими марксистами-писателями в понятие «крестьянство». Это тот именно смысл, о котором я писал выше. Можно возражать против него, можно выдвигать свое, новое понимание этого термина. Не следует лишь в таких случаях утверждать, будто это новое понимание — есть ленинское, марксистское понимание.

13

Тов. Карпинский пишет, что искусство, литература являются выразителем классовых интересов. И здесь наш автор упрощает вопрос. Искусство выражает психологию, мироощущение, мировоззрение. Все это, конечно, зависит от производственных, бытовых, конкретных условий, в которых вырос человек, от его социального опыта. Интересы отражаются не прямо, а косвенно, через психологию, мироощущение, иногда сознательно, чаще всего бессознательно.

Сводить искусство к выражению классового интереса, это значит тащить марксистское литературоведение на те позиции вульгарного упрощенства, ко-

торые со времени плехановских работ покинуты диалектическим материализмом.

«Запоздалость» точки зрения т. Карпинского мешает ему правильно поставить и правильно понять вопрос об искусстве. Тов. Карпинский подходит к искусству, к литературе, как если бы «экономика», «интерес» оказывал на искусство непосредственное влияние. Надо ли повторять то, что было сказано по этому поводу Энгельсом и Плехановым?

14

Говоря о «крестьянском искусстве», надо иметь в виду те особенности мироощущения, вырастающего в деревне, которые создают идеологические и формальные черты, отличающие искусство деревни от искусства города. Если бы не было этой «внутренней среды», которая и находит непосредственное отражение в искусстве (а через эту среду — посредственное отражение в искусстве находят «интересы»), — тогда было бы все очень просто, тогда ничего не стоило кому угодно сделаться в эпоху пролетарской диктатуры «пролетарским» писателем. Действительность говорит обратное. Ибо искусство коренится не столько в логической, сколько в психологической стихии человека, в той стихии его, которая оказывается вместилищем эмоций, чувствований, привычек и т. п., всего того, что в противоположность термину «мировоззрение» охватывается термином «мироощущение». Искусство — мышление не логическое, а образное, не рациональное, а чувственное по преимуществу, хотя и не лишено, разумеется, рациональных элементов. Расхождением между «чувством» и «мыслью», между «умом» и «сердцем», психологией и идеологией объясняется то обстоятельство, о котором уже было говорено выше: многие хорошие коммунисты, с большим партийным стажем, превосходно разбирающиеся в идеологических вопросах, т. е. испытанные и бесспорные пролетарские революционеры, когда берутся за кисть художника, своими произведениями обнаруживают, что в глубине их сознания еще не прекратили существования

буржуазные, мелкобуржуазные и крестьянские вкусы, повадки, настроения. Известны такие факты т. Карпинскому? Известны. Почему он не вспомнил их и не объяснил по-марксистски?

15

Тов. Карпинский пишет:

«В основу характеристики писателя должен быть положен социально-классовый критерий. Какого класса интересы выражает данный писатель — вот что решает дело. Таково общее бесспорное — по крайней мере для марксистов — положение, из которого мы исходим».

Если бы марксистская критика приняла «классовый критерий» тов. Карпинского, — пролетариат оказался бы разоруженным перед потоком литературных подделок. Наличие выражения или защиты интересов того или иного класса в художественном произведении само по себе мало говорит о социальной природе произведения, о действительной, подлинной, а не показной идеологии вещи.

16

Тов. Карпинский не отделяет искусства, как особого рода деятельности, от всякой иной деятельности. Другими словами, он не усвоил специфических черт искусства, т. е. тех особенностей его, которые отличают искусство от политики, истории, статистики, всякой другой идеологической деятельности. Он не делает разницы между идеологией вообще и идеологией в образной форме. Он говорит: в наше время «всякий представитель крестьянства, претендующий в нашу эпоху на роль действительного вождя, действительного выразителя основных и существенных интересов крестьянских масс, должен отказаться от крестьянской идеологии (идеологии крестьянства, как класса мелких собственников), усвоить пролетарскую идеологию, усвоить марксизм, ленинизм — научную форму этой пролетарской идеологии». Это —

правильно. Всякий сознательный крестьянин-революционер, выросший до правильного понимания исторических интересов крестьянства, должен поступить именно так. Но разве об этом спор? Разве такая деятельность крестьянина-революционера совпадает с деятельностью художника-писателя? Марксизм говорит о художнике, как выразителе классового мироощущения, классового взгляда на мир, понимания мира и человеческих в нем задач, не только тех, которыми должны обладать «вожди» классов, но также тех, которыми в реальной действительности обладают живые люди, рядовые представители классов, его основная масса. Разве в нашей реальной действительности крестьянство всей массой поднялось на такую высоту самосознания, что готово воспринять марксистско-ленинскую идеологию? Нет. Оно в большей своей части еще одержимо и навывками прошлого, и мелкобуржуазными, собственническими инстинктами. Если бы этого не было, тогда не было бы сложной борьбы нашей в деревне за то новое, революционное, что проводит советская политика. Но искусство, реалистическое искусство, имеет дело с тем, что есть, с реальной действительностью, хотя и стремится к действительности идеальной, т. е. к преодолению того, что есть. Так что формула «должен отказаться», имеющая силу и ценность в нашей политической, агитационной, пропагандистской работе, — теряет свою силу, поскольку имеет дело с искусством. Последнее, если хочет быть реальным, не сможет не исходить из того, что есть. Ведь с точки зрения тов. Карпинского, если он захочет быть последовательным, выходит, что крестьянская литература — середняцкая, бедняцкая, — поскольку эти массы крестьянства еще не перешли на марксистско-ленинскую точку зрения, — попросту не существует.

17

Тов. Карпинский, рассуждая об искусстве, по-моему мнению, сошел с точки зрения диалектического материализма. Он пишет: позволительно спро-

ситель, почему же будет «антимарксистской, антиленинской чепухой» требование, чтобы крестьянский писатель, желающий в художественных произведениях правильно передать и выразить жизнь и интересы крестьянства во всей их многосложности и противоречивости, чтобы такой писатель отказался от мелкобуржуазной идеологии и перешел на пролетарскую, марксистско-ленинскую точку зрения». Да просто потому, что если крестьянин (допустим вслед за тов. Карпинским такую возможность) усвоит пролетарскую, марксистско-ленинскую точку зрения не на словах, а на деле, т. е. воспримет ее всем своим опытом, рассудком и чувствами, то он перестанет быть крестьянином, а станет пролетарием. Если же он перестанет быть крестьянином, т. е. потеряет крестьянский взгляд на мир, на вещи, на жизнь, который останется характерным для массы крестьянства, еще не превратившейся в пролетарскую массу, то он потеряет все основания, формальные и по существу, быть крестьянским художником. Наступит время, когда не будет ни пролетариата, ни крестьянства. Но поскольку это время еще не наступило, — постольку существует крестьянская психология и психология пролетариата. И если человек обладает пролетарской психологией и идеологией, на каком основании т. Карпинский уверяет нас, что этот пролетарий и есть подлинный крестьянин?

18

Искусство — образно. Искусство — мышление образами. Вот аксиома, признаваемая марксизмом. Из нее надо исходить в рассуждениях об искусстве. Принимает эту аксиому т. Карпинский? Если принимает, — он должен будет принять и выводы из этой аксиомы¹⁾.

Чем отличается образное мышление от необразного, прозаического, научного, теоретического? Тем, что образ

является созданием не только логической, рассудочной, интеллектуальной сферы, имеющей дело с понятиями. Образом является живое представление, связанное с чувственной сферой человека, не логическое, абстрактное, а материальное, конкретное, окрашенное чувством. В чувственной природе «образа» лежит причина его «заразительности». В создании его принимают участие и рассудочная стихия человека, но чаще всего и больше всего та, еще научно не исследованная, область подсознательного, где накапливается чувственный опыт, рефлексы условные и безусловные, которыми, как капиталом, частью наследственным, частью приобретенным, распоряжается человек. При этом образное творчество может не подчиняться логической, рассудочной способности человека, может противоречить ему, не совпадать с ним, вступать с ним в конфликт. Мы об этом уже говорили выше. Образное мышление есть особого рода деятельность, действующая по другим принципам, чем мышление прозаическое, научное. Логика — один инструмент человеческого мышления. Образ — другой. Оба эти «инструмента» пользуются одним и тем же материалом. И наука, и искусство имеют дело с одним и тем же миром — миром человеческих отношений, человеческой борьбы, человеческого стремления раскрыть смысл природы и человека. Но берут они его под разными углами зрения, разными инструментами и подвергают различной обработке. И потому, что в основе искусства лежит это особое мышление образами, потому-то искусство и представляет особую деятельность, в которой могущественное участие принимает чувственная сфера. Человек может менять убеждения, взгляды, поскольку его развитие поддается логическому воздействию разума. Но нередко он не может по своему желанию менять свои вкусы, чувства, психологические черты. Потому что, говоря языком рефлексологии, в образовании его чувств, навыков, психологических установок, в основе его мироощущения принимает участие множество безусловных рефлексов, т. е. таких, которые были унаследованы им

¹⁾ Рекомендую вниманию тов. Карпинского хотя бы статью И. Беспалова «Проблема литературной науки» в сборнике «Литературоведение». Это одна из новейших работ, вводящая в понимание литературы.

как природные, неизменяемые волей особенности, во-первых, и, во-вторых, такие условные, т. е. приобретенные рефлексы, которые, будучи усвоены с детства, вошли в плоть и кровь, сделались второй натурой, пустили глубокие корни, стали почти что автоматическими, приблизились к рефлексам безусловным. Вот в образовании таких крепких условных рефлексов, накапливаемых индивидом с детства под влиянием воздействия социальной среды, вырастающей на основе определенных производственных отношений, и обнаруживается тот социальный детерминизм, который предопределяет характер художественного творчества, игнорируемый т. Карпинским.

19

Когда мы имеем дело с искусством, мы имеем дело с мироощущением писателя, с тем, что лежит в его крови, в его неистребимых привычках, в его психологии, не только в рассудке, но во всем его существе. Все это отражается в образности. Основные черты этой образности писатель не может изменить по своему хотению. Это значило бы обладать такой свободой воли, которая меняла бы социальную, внутреннюю природу человека в силу одного его хотения. Но такой свободой воли человек не обладает. Это не значит, что не может меняться внутренний мир человека. Но он, как правило, может меняться в основных чертах лишь под влиянием изменяющейся социальной среды, обуславливающей тот, а не иной социальный опыт. Образность — это не только сравнения, метафоры, эпитеты, типы. Образность в широком смысле означает целый ряд особенностей, включая также идеологические, которые отличают художника одного класса, одной эпохи, одного времени от другого. Тов. Карпинский полагает, что Лев Толстой отличается от Гоголя, или Пушкин от Некрасова тем, что они защищали интересы разных классов. Это наивное, в корне неправильное представление. Отличие Пушкина от Некрасова, а Гоголя от Толстого заключалось во всем их творчестве, в главном и в

деталях, во всех частях и в основном, ибо оно выражало разное мироощущение людей разных эпох, разных социальных групп. Марксизм в области литературоведения уже вышел из того состояния, когда могут иметь успех упрощенческие рассуждения Шулятикова о непосредственном отражении интересов в искусстве. Марксизм проделал огромный путь исследования. В активе марксизма есть работы Меринга и Плеханова, высказывания Энгельса, замечательные статьи Ленина о Толстом, исследования наших современников, и возвращаться к Шулятикову или выдавать шулятиковщину за настоящий марксистский подход к литературе — сейчас не удастся никак.

20

Потому-то я думаю, что в споре «кого же называть крестьянским писателем», неправ т. Карпинский. Крестьянским писателем, по моему мнению, следует называть такого писателя, в творчестве которого, в художественных образах которого выражается мироощущение, характерное именно для человека, выросшего в деревне, выражающего взгляд на мир деревенский, а не городской, человека, мироощущение которого сформировалось в производственных условиях сельскохозяйственных, а не индустриальных, в подходе которого к миру сказывается точка зрения человека, имеющего дело не с фабричными корпусами, а с землей, не с промышленностью, а с природой, не с городом и пролетарской коллективистической психологией, а с деревенской, в значительной степени индивидуалистической, пока еще мелкохозяйственной и собственнической. Это общие черты, характерные для подавляющей массы крестьянства нашего времени. Но ведь крестьянства, как единого класса, нет. Крестьянство расслоилось, дифференцировалось, крестьянство раздирается классовой борьбой, оно распалось на враждебные группы. **И сказать теперь про писателя: «крестьянский» — значит сказать очень мало.** Необходимо добавить — с каким крестьянским писателем мы имеем

дело? Уточняя наши определения, мы получили бы крестьянские писательские группировки: а) буржуазно-крестьянские (кулацкие) писатели, правое крыло крестьянской литературы, б) крестьянско-мелкобуржуазные писатели, выдвигаемые средним крестьянством, идущим в союзе с пролетариатом, под его руководством, но тем не менее еще не преодолевшим мелко-собственнической психологии, в) революционно-крестьянские писатели, левое крыло крестьянского писательства, которое отражает мироощущение батраков, бедняков и той части середняцкого крестьянства, которая под влиянием классовой борьбы в деревне, под влиянием уроков жизни и других воздействий успешно преодолевает собственнические мелкобуржуазные точки зрения и принимает участие в социалистическом строительстве. Но и эта последняя революционная часть крестьянского писательства является группой смешанной, переходной, не пролетарской в прямом и чистом смысле слова, а пролетарско-крестьянской.

21

И всероссийский съезд крестьянских писателей, на мой взгляд, совершил ошибку, воспользовавшись для резолюции темным, противоречивым термином «подлинно-крестьянские писатели» вместо того, чтобы сказать «революционно-крестьянские» или «пролетарско-крестьянские» писатели. Что же «социально-классового» в определении «подлинный»? Оно, пожалуй, могло иметь смысл в устах П. Замойского, доказывавшего, что подлинным крестьянским писателем является крестьянский писатель, усвоивший пролетарскую, марксистско-ленинскую идеологию. Но насколько видно из резолюции, съезд не пошел за П. Замойским по чепуховистому пути, отверг эту немарксистскую формулировку и принял определение, более близкое к истине, менее ошибочное, хотя и оставил в резолюции слова: «подлинно крестьянские». По этой причине резолюцией не изжита некоторая путаница определений. Но она (резолюция) далеко ушла

вперед от платформы, принятой в мае 1928 года и напечатанной в сборнике «Пути крестьянской литературы». Понятным становится также, почему «платформа» в резолюции объявлена «проектом», который хотя в «основе» и одобрен, подлежит детальной разработке.

Было бы полезно и для революционно-крестьянской литературы и для марксистского литературоведения, если бы ближайший пленум ВОКП не только уточнил свои формулировки, но изменил бы также свое название, объявив себя «Всероссийским обществом революционно-крестьянских» или «пролетарско-крестьянских» писателей. Это помогло бы ему еще энергичнее отмежеваться от писателей нереволюционных, мещанских и реакционных.

22

Чтобы определить классовую природу писателя, недостаточно изучить его тематику, содержание его произведений, его идеи. «Идеологию» писателя, мысли, которые он развивает, надо поставить на очную ставку с его «образностью». Надо исследовать эту образность и в связи с образностью отношение художника к миру и к его собственной тематике. Изучая изобразительные средства, в связи с материалом произведения, не только идеи, но характер изображений, эпитеты, сравнения, типы, весь арсенал изобразительных средств, мы сумеем ясно представить себе классовые особенности его именно как художника, а не как политика или социолога. Не одна «идеология» художника, но идеология плюс образованность, идеология, проверенная образностью — вот что дает ключ к правильному классовому анализу произведений искусства.

23

«Все дело в «образах!» — восклицает тов. Карпинский. Но ведь это же только формально технический подход».

Неверно, т. Карпинский. Для марксиста-литературоведа «образ» не техника, а специфическое, именно художественное выражение идеологии. Идеология, с которой мы имеем дело в искусстве, отличается от

идеологии, какую, скажем, имеем в статьях т. Карпинского или в моей, или в любой теоретической работе, именно тем, что она дается качественно иным способом. «Образ» в искусстве — не техника, а идеология, оформленная эстетически, своеобразно. В этом отличии специфика искусства. Это надо усвоить, тогда все станет ясно. Никакой «формы», как голой техники, нет. Тов. Карпинский представляет себе художественный «образ» подобно «форме», какую можно снимать и надевать, как пиджак. «Форма» или «образ» в искусстве тем-то и отличаются от пиджака или иной какой части туалета, что их можно отодрать только с мясом, так как «форма» приросла к мясу, она и есть мясо, т. е. идеология. Так, кстати, и разрешается вопрос о форме и содержании. В художественном содержании нет ничего, что не было бы в то же время художественной формой, и, наоборот, в художественной форме нет ничего, что не было бы в то же время художественным содержанием.

Художественное произведение — не механическое соединение «формы», как независимой сущности, и «содержания», изолированного от «формы». Оно — высшее единство, органически слитное, соединение химическое, а не механическое. И если мы говорим иногда о несоответствиях между «формой» и «содержанием», то следует понимать это не механически, а диалектически, как живой процесс, как борьбу противоречий внутри художественного произведения. Плеханов превосходно понимал это. «Всякий сколько-нибудь значительный художественный талант, — писал он, — в очень большой степени увеличит свою силу, если проникнется великими освободительными идеями нашего времени. Нужно только, чтобы эти идеи вошли в его плоть и в его кровь, чтобы он выражал их именно, как художник». (Курсив мой. Вяч. П.). Чтобы сделать еще более убедительной высказанную только что мысль, имея, очевидно, в виду упрощенцев и вуль-

гаризаторов своего времени, Плеханов добавлял в примечании: «Тут я с удовольствием сошлюсь на Флобера. Он писал Жорж Занд: «Je crois la forme et le fond... deux entités qui n'existent jamais l'une sans l'autre» («Я считаю форму и сущность... двумя сущностями, никогда не существующими одна без другой». «Correspondence», *quatrieme serie*, p. 225). Кто считает возможным пожертвовать формой «для идеи», тот перестает быть художником, если и был им прежде» («Искусство и общественная жизнь», соч., т. XIV, стр. 208).

24

Самым слабым местом т. Карпинского является именно непонимание роли и значения в искусстве «образа». Это обнаруживает он в своем возражении по поводу «изобразительных средств». По его мнению, «изобразительные» средства отнюдь не являются отличительной особенностью художника. «Писателя, — уверяет он, — в основном характеризует социальное классовое содержание его произведений, а не художественные образы, которые он может заимствовать из разной социальной среды».

Напротив, т. Карпинский! Вот именно — наоборот. Именно содержание, тематику произведений писатель может заимствовать, откуда хочет, какую хочет. Потому-то дворяне — Тургенев, Григорович, Толстой, Бунин и множество других — заимствовали тематику из деревни. А вот художественные образы, изобразительные средства, в которых отражается психология художника, его собственное лицо, его собственное отношение к заимствованной тематике, — этого не заимствуешь. И обнаружить социально-классовый характер тематики (идеологии) без анализа этих средств — невозможно.

Я говорю, разумеется, о тех случаях, когда перед нами настоящий художник, т. е. мастер с оригинальными художественными образами, не списанными с чужих, хотя бы и классических образцов.

В выборе тематики художник волен. Но даже этотвольный выбор ограничен его социальным опытом. Художник может черпать тематику откуда угодно. Но в том,

как он эту тематику отобразит,
под каким углом зрения ее покажет,
каким светом осветит,

какие художественные формы ей
придаст,

какими изобразительными средствами
эту тематику разработает,

какой смысл эта тематика под его
кистью приобретает, —

вот все это и определит его классовую природу.

25

Совсем недавно на примере одного поэта я показал, как мало значит положить революционную тематику в основу произведения и как много значит почувствовать и передать ее по-настоящему, по-революционному. А передать по-настоящему, так, чтобы она дошла до читателя, «заразила» его — значит передать в настоящих художественных образах. Тут-то и обнаруживается ложь в искусстве.

Когда перед вами произведение, полное до краев самой благонамеренной, надежной, стопроцентной идеологии, но люди — бескровны, движения — механичны, краски бледны, слова — фальшивы, речи — неубедительны, а само произведение — скучно и не заражает — знайте,

что, несмотря на идеологически выдержанное социально-классовое содержание, перед вами фальшивка, а не произведение искусства.

Одно из двух:

либо перед нами человек честный, но бездарный, который хочет, но не может быть художником, — тогда это не искусство;

либо человек талантливый, но нечестный, Молчалин, желающий потрафить, который хочет, но не может изнасиловать свою собственную неревOLUTIONную, мешанскую природу. И в этом случае шерд нами — не искусство.

26

Тов. Карпинский не заметил, как в одном месте «попался» на удочку. Приводя «деревенские» образы из стихотворений С. Есенина и М. Исаковского, он указывает на то, какое разное употребление делают эти поэты из одного и того же запаса деревенских образов. «Не ясно ли, — вопрошает он, — что художественный образ, как оружие, можно повернуть и в ту и в другую сторону. Кто же использует крестьянские художественные образы в интересах крестьянских масс, и кто — против них?» (курсив мой. Вяч. П.).

Во-первых, т. Карпинский говорит только об образе-метафоре. Метафора является частным случаем «художественного образа». Это во-первых. Во-вторых, суть в том, что у поэтов революционного и реакционного, не смотря на это их различие, появляются одни и те же метафоры, одни и те же «крестьянские», как говорит т. Карпинский, образы. Вот про это-то я и говорю. Не смотря на то, что один поэт революционный, а другой — реакционный, потому, что оба они — поэты деревенские, крестьянские, у них встречаются одни и те же деревенские, крестьянские метафоры. Будучи враждебными по идеологической установке, оба они оказываются поэтами «крестьянскими», хотя тов. Карпинский за Есениным и Клюевым право на это звание отрицает, присовокупляя: «не смотря на художественность и крестьянский (курсив мой. Вяч. П.) характер образов последних».

Образы у поэтов — «крестьянские», а поэты они — не крестьянские. Вот загадка для решения¹⁾.

¹⁾ Кстати: в речи своей на первом всероссийском съезде крестьянских писателей, напечатанной в «Земле Советской» (№ 7, стр. 49) т. Керженцев заметил: «Некоторые товарищи указывали, что наиболее подлинными (курсив мой. Вяч. П.) крестьянскими писателями у нас являются такие писатели, как Клычков и Клюев». Мне неизвестно, кого имел в виду т. Керженцев. Заявляю лишь, что моя точка зрения, — как видит читатель, — с этими «некоторыми товарищами» не имеет ничего общего.

27

Противоречие это, как неоднократно указывалось выше, возникает именно оттого, что т. Карпинский игнорирует специфические особенности искусства. «Вопрос решает не образ, — категорически заявляет он, — а социально-классовое содержание произведения». Он не хочет понять того, что

социально-классовое содержание произведения неотделимо от «образа», что это самое содержание постигается через образ, что «социально-классовое содержание» в искусстве только тогда убедительно, неподдельно, когда находит соответствующее «образное» выражение.

«Социально-классовое» пролетарское содержание не сможет найти подлинного выражения в образах, характерных для феодального искусства или для искусства буржуазного. Только тогда оно будет «подлинным», настоящим, заражающим искусством, когда найдет свою, соответствующую социально-классовому содержанию образную формулировку. Отличие пролетарского писателя от крестьянского идет именно по линии образности. И пролетарский и революционный крестьянский писатель могут иметь одну и ту же политическую установку, одну и ту же цель, одну и ту же идеологию. Тем не менее произведения их будут разными, непохожими, потому что один из них — пролетарий, т. е. горожанин, индустриалист, а другой — деревенский житель, человек, выросший на земле, среди лесов и полей. Единство материала и политической установки не мешает произведениям этих художников иметь разное образное оформление: крестьянское, деревенское — у одного,

городское, рабочее — у другого. Эти произведения, другими словами, будут отличаться своим «стилем». Говорят: «человек — это стиль», т. е. человек, как образ, — характерное, законченное целое. То же самое можно сказать про искусство: искусство — это стиль. Классовое искусство — классовый стиль.

28

Тов. Карпинский упрекает меня в «полубарском, интеллигентски-индивидуалистическом» отношении к организациям вообще, к ВОКПУ в частности. Это несправедливый упрек. У меня отношение к «платформам» и «организациям» производственное. Я отношусь к делу так: меньше разговоров о творчестве, больше самого творчества. Я считаю недостаточным основанием для причисления человека к советскому писательству наличие у него членского билета литературной организации. Вот такое отношение к литературе я считаю мещанским, пенкоснимательским. Я утверждаю, что билетом на право входа в литературу являются не членские карточки, а «вещи», настоящая продукция. Что тут барского и интеллигентски-индивидуалистического?

И я приветствую резолюцию первого всероссийского съезда крестьянских писателей, подчеркнувшего «перевод всей организации на творческие рельсы» и заявившего: «Съезд считает особо важным перенести центр внимания на творческую литературную работу». Разве не к такой именно установке на творчество сводилось мое ироническое замечание о том, что на «платформе», как бы хороша она ни была, далеко не уедешь, если в нее не впряжена живая творческая сила.

2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАНЕРА ЧЕХОВА

К. Локс

I

Сейчас Чехов для нас—писатель другой исторической эпохи. Мы привыкли его читать, не особенно интересуясь его искусством,—милое, дорогое имя, легкость и какая-то необязательность, вот что испытываем мы, перелистывая, в который раз, томики его рассказов. Между тем, внимательное изучение Чехова как художника открывает ряд новых возможностей в его оценке и понимании. Как ни велико сделанное им, все же неизбежна мысль, что он мог сделать гораздо больше. Это интересно для некоторых общих вопросов искусства.

Чехов начал с небольшого рассказа, или, вернее, «сценки», сфотографированной и запечатленной на лету: «доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря, — вспоминает он впоследствии. — Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, ни мало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом... Писал я и всячески стараясь не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые, бог знает почему, берег и тщательно прятал» (Д. Григоровичу, 26/III 1886 г. Письма, I, 208). Основой такого небольшого рассказа является умение схватывать и закреплять некоторое жизненное положение. Его сюжет не нужно изобретать, это не вымысел, не та или иная искусственная комбинация, а, наоборот, некоторое обобщенное, бесспорное для всех положение. Безыменный рассказ такого типа, не обозначающий действующих лиц, близок к анекдоту. Его соль в типичности, иногда юмористической, иногда трагической, в неожиданной развязке, неожиданном ответе. Комизм того или другого положения всецело зависит от изобретательности автора, от его уме-

ния играть обычными бытовыми положениями, извлекать из них при помощи счастливо найденного случая необходимый комический эффект. Весь первый период Чехова представляет собой чередование двух манер. Он верен быту и действительности в том смысле, что типичность персонажа и обстановки газетного или журнального рассказа, рассчитанного на злободневность, для него обязательна. Комическое разрешение типичного случая достигается или пародийными стилистическими средствами или довольно обычными сюжетными приемами — ошибкой, неожиданностью, несоразмерностью исходного положения и развязки. Таковы рассказы первого тома: «Страшная ночь», «Чтение», «В потемках»... В первом случае гроба в квартирах в ночь под рождество, «когда темная беспросветная мгла висела над землею», оказываются принесенными спасающим их от кредиторов приятелем. Обнаженность комического впечатления достигается соответственно подобранными фамилиями — Панихидин, Трупов и т. п. Во втором рассказе чиновники, занявшиеся по приказу своего начальника самообразованием, заблевают: один из них сходит с ума, читая роман Дюма «Граф Монте-Кристо». «В потемках» целиком построен на комической развязке: товарищ прокурора, посланный женой узнать, не забрались ли воры на кухню, возвращается оттуда в спальню с шинелью пожарного на плечах.

На ряду с этими обычными для комического рассказа сюжетными приемами пародируется стиль. Такова «Сирена», построенная на стилистических пародийных моментах («но налимья печенка—это трагедия, а жареная индейка? Белая, жирная, сочная этакая, знаете ли, в роде нимфы». «Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик! Полнота, формалистика в теле и прочее» («В бане»).

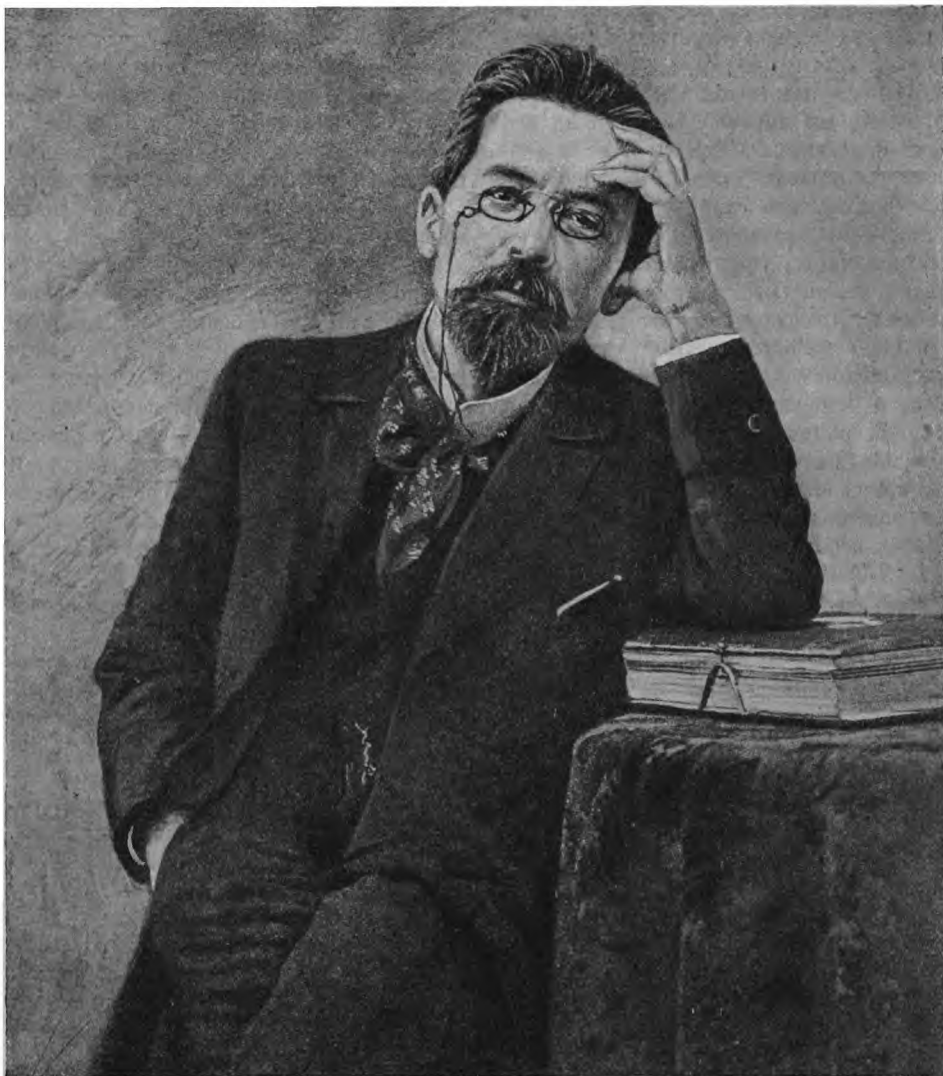
Рассказ, построенный таким образом, не нуждается в индивидуальном оформлении действующего лица; наобо-

рот, чем типичней персонаж, тем лучше. В этом смысле классические примеры можно найти у Гоголя, — исключительная типичность персонажей и неожиданность в деталях, в отдельных положениях создают обстановку несравненного комизма. Но типический бытовой материал может быть источником рассказа совсем другого стиля. Рассказ, построенный на общеизвестном сюжете, на сразу познаваемой ситуации, разрешенной так же типически, обладает той особой силой впечатления, которую создает так называемая верность действительности. Такой рассказ мы определим как рассказ социального опыта или социальной тематики, его основа — общеизвестное бытовое положение и общеизвестное, сразу узнаваемое лицо. Таков «Злоумышленник» — он настолько общеузнаваем по своей ситуации и действующим лицам, что стал неизбежной принадлежностью всевозможных «чтецов-декламаторов». Эффект такого рассказа достигается именно его бесспорностью и типичностью. Так мы определяем исходное положение Чехова как художника, которое осталось у него в той или иной форме навсегда. Отсюда ясно и признание современников — быстрое и почти всеобщее. Чехов в большей степени, чем кто бы то ни было, был воспринят в качестве близкого и любимого писателя. Трудный и сложный путь варьирования методов бытового рассказа, попытки выйти за его пределы и по-новому разрешить задачу ответственного жанра, — это и представляет собой творчество Чехова в целом, где для него лично, как для художника, было немало поражений, в которых он, впрочем, не виноват.

II

Ум ясный и точный, — вот что прежде всего отличает художественную манеру Чехова. Исследователями и им самим не раз было отмечено значение научного склада и особой «медицинской» наблюдательности. Но кроме этого нужно принять во внимание большую и подавляющую традицию, от которой Чехов зависел, быть может,

сильнее, чем от своих навыков врача-аналитика. Мы говорим в данном случае о значении Льва Толстого, особенно его последнего периода, — таких вещей, как «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хозяин и работник». Здесь не только литературное влияние, заметное только после больших и точных изысканий, но и значение понятия «истины» в качестве руководящей нормы творчества и способа обработки материала. «Художественная литература потому и называется художественной, — писал Чехов Киселевой в 1887 г., — что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная... Литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек — обязательный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью». Совпадение этих мыслей с воззрениями Толстого поразительно. Во имя «правды» Толстой отрицал всякую «декадентщину», узко покрывая этим досадным термином часто утонченные и подлинные произведения искусства. Чехов в этом отношении шире Толстого, но так же, как и он, определяет весь круг художественного долга и своих возможностей. И в этом отношении он действительно достиг максимума. Каждый его рассказ деловит и существен, неизменно запечатлевает какое-нибудь жизненное происшествие и очень редко переходит в «событие». С этой точки зрения мы можем установить глубокое различие основной новеллистичной манеры XIX в. от новеллы итальянского Возрождения, Стендаля и Мериме, отчасти даже Мопассана. Событие в настоящем смысле этого слова представляет эстетическую сущность новеллы — его значение в экспрессивности самого факта, в тех сюжетных возможностях, которые из него вытекают. Случай, наоборот, типичен, не исключителен, это то, что встречается на каждом шагу. Для наблюдателя жизнь — ряд случаев; для художника — ряд событий. Чехов замечателен тем, что он остался художником случая и даже больше — старался превратить событие в случай. Только несколько раз он пытался подняться до высот подлинного события и искал вы-



А. П. Чехов

хода из случаев и случайностей, но всегда отступал на этом пути, как будто не доверяя собственным силам или не желая узаконять неизвестность. В этом смысле он верный сын своего времени или, вернее, своего «безвременья». Вот почему сюжет, в конце концов, для него безразличен; он не считает нужным выбирать, долго вынашивать его, он пишет и может писать регулярно по утрам каждый день и столь же мало нуждается во «вдохновении», как и всякий честно и аккуратно работающий человек, которому

жизнь на всякий день поставляет свой материал.

Здесь критики пытались найти общие черты у Чехова и Мопассана. И тот и другой пользовались обычным жизненным происшествием, тот и другой брали заготовленные самой жизнью сюжеты. Но сходство на этом и кончается. Достаточно бегло просмотреть рассказы Мопассана, чтобы убедиться, насколько литературность, самый принцип «искусства» преобладает у него. Мопассан всегда старается утонченной и сложной литературной манерой рас-

цветить жизненный случай, для него все же на первом месте занимательность сюжета, он рад его усложнить, сделать необычайным. Чехову не нужно ни то, ни другое. Экспозиция его рассказов скупа и коротка, ее в собственном смысле даже нельзя назвать экспозицией, это скорее «приступ к делу», немногословный и простой: «В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кириллова скончался от дифтерита его единственный сын» («Враги»). «В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих ехал молодой поручик Климов» («Тиф»). «В большой двор водочного завода «Наследников М. Е. Ротштейн», грациозно покачиваясь на седле, в'ехал молодой человек в белоснежном офицерском кителе» («Тина»). «Уездный врач и судебный следователь ехали в один хороший весенний полдень на вскрытие. Следователь, мужчина лет тридцати пяти, задумчиво глядел на лошадей и говорил» («Следователь»). Вот типичные чеховские «начала». Они не интересны ему: начать можно с чего угодно, лишь бы поскорее приступить к делу и рассказать о том, что нужно. И соответственно этому все описательные части, характеристики персонажей основаны на принципе типического оформления материала. Вот почему чеховские герои почти все безымянные.—вы не запомните ни их лица, ни костюма. Даже их индивидуальность, если она есть, типична. А иногда не стоит даже называть такого героя по имени. Таков, например, замечательный рассказ «Следователь», где действующие лица все время известны нам по своей профессии: следователь и доктор; только раз встречается имя героини — Наташа.

Этот прием шаблонизации сказывается во всем. Герои Чехова—не герои, это прежде всего «люди», и он отмечает неизменно черты их схожести. Все необычайное в человеке под пером Чехова становится обычным, и в этом заключается его сила. Сколько помещиков, земских врачей,—все одинаково одетые и одинаково настроенные,—становятся участниками странных житейских случайностей, которые им со-

всем не по плечу. Поручик в рассказе «Тина»—самый заурядный поручик с «тоненькими черными усиками»—вовлекается в ужасное и странное приключение, в которое вслед за ним попадает и его брат, «высокий, плотный мужчина с большой черной бородой, с мужественным лицом»,—таков же и герой «Ариадны». Правда, все эти действующие лица наделены некоторыми индивидуальными чертами, выталкивающими их на мгновение из граней общего шаблона. Они все до известной степени «чудаки», но эти чудачества кончаются ничем,—таков закон строго проведенной сюжеттики, где развязка отличается совсем особым характером: возвращением к первобытному состоянию. В этом типичная черта чеховского сюжета. Он обычно делится на три части: 1) исходное положение—самое обычное и простое; 2) случай,—рассказ в собственном смысле этого слова,—трагедия, иногда даже катастрофа; 3) развязка—более или менее потрясенный герой возвращается «к самому себе», к своему исходному положению, пусть даже с потрясенной душой. Так конструируется основная тема Чехова, тема «жизненной неудачи», его единственная, быть может, и неотвязчивая.

В самом деле, трудно найти художника, который бы так любил полагать в основу своих рассказов житейскую трагедию в самом прямом значении этого слова. Он умеет обострять каждое положение до его предела, а мы незаметно читаем его рассказы, восхищаемся их душевностью, простотой и не замечаем той страшной разрушительной силы, которая заложена в них. Причина заключается в том, что трагические истории Чехова всегда превращаются в типическое жизненное положение. Это—трагедии ежедневностей, до известной степени столь же обычные, как и герои, вовлеченные в них. И мы приходим к неизбежному заключению, что первый период в творчестве Чехова, его сценки и юмористические рассказы,—не случайны. Принцип шаблонизации материала, его упрощения, как основной прием, навсегда останется в творчестве Чехова, превращаясь время от времени в его

собственную трагедию, трагедию художника, ограниченного эпохой и поэтому идущего по пути художественного самоограничения.

III

Тема в художественном произведении может выступать с большей или меньшей очевидностью, в той или другой степени разрешения. От умения открывать тему в непосредственном художественном воплощении, в конце концов, зависит значимость писателя.

В способе раскрытия темы Чехов так же, как и Толстой, сознает ее первенствующее значение. Правда, Толстой орудовал какими-то огромными массами жизненного материала, который, словно глыбы земли, засыпает его героев и предстает перед нами с неоспоримой очевидностью сил природы. В этом отношении Чехов слабее его, но близок ему своим влечением к существовавшему, к наиболее реальной основе искусства. Отсюда у него сосредоточенность на проблемах или такая настойчивость в их постановке, что тема выступает со всей отчетливостью публицистического произведения. Напрасно принято думать, что Чехов избегал ответов на свои вопросы, наоборот, ряд его повестей и рассказов в сущности — злободневные трактаты по поводу народной темноты, невежества, бесправия, общего убожества русской жизни. Такие вещи, как «На подводе», «Новая дача», «В родном углу», «Мужики», по своей тематической отчетливости ничем не отличаются от любой злободневной статьи какого-нибудь передового журнала 90-х годов. Даже «Дом с мезонином», этот прославленный своей лирикой рассказ, отличается остро поставленными проблемами русской современности. Любой рассказ Чехова переполнен рассуждениями: рассуждают или сами герои, или за них рассуждает автор. Часто эти рассуждения беспомощны или бессильны, но они, словно кольцом, охватывают событие, разрешить которое точно так же бессильны герои, как и понять его разумом или чувством. Все это — основа творческой манеры Чехова. Не было ли, однако, у него несколько более

серьезных сложностей в вопросах искусства, не создал ли он на ряду со своей типичной чеховской новеллой чего-то другого, а если не создал, то, может быть, пытался создать? В этих попытках мы и встретим роковую обреченность писателя, невозможность выйти из тех границ, в которые он был поставлен своей собственной типичностью.

IV

Чехов иногда любил шутить по поводу собственных произведений. Некоторые из этих шуток на самом деле, если внимательно присмотреться к его признаниям, рассеянными в рассказах и письмах, чрезвычайно серьезные и любопытны. «Надоело все одно и то же, хочется про чертей писать, про страшных вулканических женщин, про колдунов, но, увы, требуют благонамеренных повестей и рассказов из жизни Иванов Гаврилычей и их супругов». (Письма, т. IV, 344 стр.). Несмотря на это, Чехов все-таки несколько рассказов посвятил «чертям» и «колдунам», а в начале своей литературной работы написал даже уголовный роман «Драма на охоте». Мы говорим о таких рассказах, как «Ведьма», «Гина», «Случай из практики», «В море». Все они необычны для Чехова по сильным подемам сюжета и очень характерны для него способом разрешать несвойственные ему темы, которые соблазняли его, быть может, тем, что выступали из границ обычной повседневности Иванов Гавриловичей и их супругов. «Ведьма» могла быть великолепной романтической повестью во вкусе «Кармен» Мериме или «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова. Нужно было только развить «демонический» характер дьячихи, поставить ее в другую обстановку, и сильная захватывающая вещь с драматическими коллизиями и непреклонными характерами была бы налицо. Начало рассказа — классический для русского романтизма пейзаж метели — и сама дьячиха сделаны в этом смысле безупречно. Но какая обстановка для этой неосуществившейся повести о «ведьмах» и «колдунах», какой конец! Рядом с героиней «дьячок Савелий Гыкин» — «из одного края

засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутков одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно немые ноги». Неизменная обстановка русской жизни, тот пугающий проклятый быт, который, словно кольцами удава, сжимает и волю и тщетные порывы разрушить его. «Ведьма» Чехова живет в состоянии какой-то летаргии — «ни желания, ни грусти, ни радости, — ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет». И во всем рассказе, в его тонкой символике Чехов как бы нарочно пользуется самыми сильными образами только для того, чтобы с еще большей силой развенчать необычайное. «Я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца». «Наведьмачила паучиха». В последнем прозвище, кажется, единственный раз Чехов пользуется словом Достоевского, столь несвойственным ему. Но это чистая случайность, как случаен и романтический сюжет, окончившийся ударом в переносицу. Пусть даже вошедший почтальон оказывается обладателем сабли, «похожей фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна». Из этого ничего не следует — дьячиха не Юдифь, дьячок не Олоферн. Конец рассказа неизбежно прост. Пусть «эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежащей около него женщине особую непонятную прелесть...» «Отстань! — крикнула она, и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры».

Итак, рассказ построен на контрастах заглавия и надвигающегося события исключительной силы, которые разрешаются ничем. Это обычный чеховский прием: всякий раз, как только он подходит к какому-то пределу, ему немедленно нужно отступить назад и показать или торжество пошлости, или страшной силы обыденщины. В рассказе «Случай из практики» Чехов заговорил языком, которого он во-

обще избегал. Профессор, выехавший за город к больной дочери фабриканта, по дороге начинает подозревать что-то неладное: «когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смиренно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и тушой эгоизм хозяев, скучный нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые». Так оказалось и на самом деле. Гнетущая тоска охватывает профессора в богатом и нелепом доме. Болезнь девушки непонятна, вернее всего, она просто задыхается от тоски. И позитивно настроенный медик начинает в этой обстановке испытывать какие-то странные чувства: «похоже было, как-будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других». «Он сел на доски и продолжал думать: «Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, — она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается,—это дьявол». «И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь». Но все кончается более или менее благополучно, дьявол только померещился расстроеному воображению, и профессор, уезжая, «уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе», он думал о времени, когда жизнь будет светлой и радостной, и о том, как приятно ехать утром на тройке и «греться на солнышке». Здесь разрешение темы дано в более мягких чертах, чем в «Ведьме», но суть этого разрешения остается той же. Профессор одинаково далек и от мистицизма и от революции. На самом деле все, по его мнению, гораздо проще, и как-нибудь жизнь сама собой станет светлой и прекрасной. Несколько других рассказов в том же стиле — «Ти-

на», «Шампанское», «В море», во многом необычные для Чехова, — разрешены в том же роде, хотя написаны с большей остротой. В «Тине» «вулканическая женщина» попросту ворует векселя у поддавшихся чарам этой Цирцеи поручиков и помещиков, в «Шампанском» герой самым прозаическим образом погибает на улице и становится босяком после того, как его «подхватил страшный бешеный вихрь», в «В море», этом рассказе и сюжетно и стилистически чуждом Чехову, — отвратительная житейская сцена купли-продажи женщины, сделанная во вкусе Мопассана. Вся эта линия в творчестве Чехова, закончившаяся «Черным монахом», разрешается совершенно одинаково: необычное — или плод расстроенного воображения, или скрывает самую пошлую банальность, самые низменные стороны души, которым лучше не выходить из граней обыденности. И если эту обыденность можно просветить тихим светом душевности, примирения, как это сделано в «Даме с собачкой», «Трех годах» и «Моей жизни», — то большего требовать нельзя.

Так окончились попытки обработать романтические сюжеты с «чертями и вулканическими женщинами». «В мире есть много непонятого и загадочного» — часто любят повторять чеховские герои, но автор разрешает это непонятое и загадочное по-своему или, вернее, по тем законам, которые для него определила жизнь, а основной закон жизни — трагедия ежедневности, столь же шаблонная и чепредодолимая, как шаблоны и безысходны герои, вовлеченные в них. В этом смысле ни один русский писатель не был так ограничен и определен давлением быта, теми бесспорными арифметическими данными, которые открывались точному и ясному уму. Отсюда редкая устойчивость в способе построения и разрешения сюжета. Это построение сюжета с определенным разрешением темы аналогично стилистической манере Чехова. По краткости, сжатости и точности языка, его гармонии он один из лучших стилистов, продолжающий прекрасные традиции нашей классической прозы. В

этом стиле, таком изящном и гибком, никогда нет ни одной неправильно-сти, избочающей трудную работу художника над самым восприятием материала и передачи его в словесной стихии. Здесь Чехов отличается и от Пушкина и от Толстого, — мы говорим в данном случае о самом принципе оформления материала в слове. У некоторых художников слово неразрывно связано с преодолением материала, так что чувствуется непосредственная связь между стихией языка и восприятием. У других эта связь дана не в восприятии, а в сознании. Они работают над материалом, так сказать, второй степени, прошедшим через сознание, упорядоченным и приведенным в систему им. Предела в этом смысле достигает Тургенев в своих романах. Чехов тоньше и глубже Тургенева, но стилистически более связан с ним, чем с Пушкиным или Толстым. Иначе не могло и быть. Для Чехова слово прежде всего общезначимо. Явлений, типических по своей природе или навсвязь понятых разумом, на которых нет аромата неожиданного открытия, удивления, всего того, что заставляет художника спотыкаться, падать, быть косноязычным или невероятным, у него не найдете. И точно так же, как в своих сюжетах, вот-вот подводивших грани чего-то исключительного, Чехов стилистически работает по линии снижения образов, их шаблонизации. Иногда, чувствуя невозможность передать эти явления во всей их значительности, переносит образную стихию в другую, более доступную область. Эти особенности чеховского стиля, по большей части непоняты, истолковывались обычно в качестве примеров предельной простоты, мы бы лучше сказали — упрощения. Чехов, действительно, в пределах самого образа часто прибегает к такому упрощению, — выступить за границы сюжета, определяющего стиль, само собою разумеется, для него невозможно. Но перебор, которые слышатся в сюжетах, точно так же звучат и в его образах, вот-вот готовых прорваться неожиданным сравнением или метафорой. В этом смысле по структуре образов чрезвычайно интересен рассказ «Красавицы».

Стилистическая задача была, без сомнения, очень трудна. Нужно было передать то потрясение, которое мальчик испытал, встретившись с красотой. — «Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мной стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию». Последнее сравнение прекрасно, оно сразу исчерпывает все, что нужно было сказать, пусть даже рядом с ним «обворожительные черты прекраснейшего из лиц». И дальше Чехов продолжает развивать эту тему, интересную исканием стилистических выходов из того трудного положения, когда нехватает слов на человеческом языке. Он делает это очень удачно, рассказывая о впечатлении заката, красоту которого все понимают, но не знают, как ее выразить. Постепенно, тем не менее, закат приобретает «чеховские» черты и становится совсем обыкновенным: удар молнии уже погас где-то на горизонте, «зарев охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток... И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа, — все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота».

Таков предел стилистических возможностей для Чехова — там, где нуж-

но перейти какую-то черту, он стыдливо умолкает с глубоким сознанием своей обреченности. И чувство этой обреченности часто приводило к признаниям, которые до конца открывают трагедию Чехова-художника: «Мы пишем жизнь такую, какая она есть, а дальше—ни тпру, ни ну. Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником». (А. Суворину, от 25 ноября 1892 г.).

И всякий раз, когда наступает это сознание, Чехов ищет выхода на путях искусства. Он страстно мечтает написать роман, но роман не удается, с любовью он вспоминает лермонтовскую «Тамань», этот насыщенный своеобразной прелестью приключения рассказ, где весь бытовой груз выброшен за борт по воле случая. Но рассказы в стиле «Тамани» не удавались, а драмы в сущности были теми же повестями с избытком лирики, безысходных положений, — для них не нашлось настоящего трагического пафоса. «Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что-то новое, странное» («Шампанское»).

Так рядом с большим, громадным делом у Чехова тлела неосуществленная мечта о полном, законченном искусстве, об этой «бабочке», которая изредка залетала к нему и которую он, поэт неудачников, любил больше всего.

3. О „МНОГОГОЛОСНОСТИ“ ДОСТОЕВСКОГО

(По поводу книги М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского»)

А. Луначарский

1.

М. М. Бахтин в своей интересной книге касается только некоторых проблем творчества Достоевского, специально избирает некоторые стороны его и подходит к ним по преимуществу и даже почти исключительно со стороны формы этого творчества. Бахтина заинтересовали некоторые основные, почти невольно из всей социально-психологической природы Достоевского вытекающие приемы конструкции его романов (и повестей), определившие их общий характер. В сущности говоря, формальные приемы творчества, о которых говорит Бахтин в своей книге, вытекают все из одного основного явления, которое он считает особо важным у Достоевского. Это явление есть многоголосность Достоевского. Бахтин даже склонен считать Достоевского «основателем» полифонического романа.

Что такое, по Бахтину, эта многоголосность?

«Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского» — говорит он.

При том... «сознание героя дано как другое, чужое сознание, но в то же время оно не опредмечивается, не закрывается, не становится простым субъектом авторского сознания».

И это относится не только к герою, а вообще к героям или, вернее, — к действующим лицам романов Достоевского.

Бахтин хочет сказать, что Достоевский, создавая своих действующих лиц, отнюдь не делает их масками своего «Я» и не располагает их в известной системе взаимоотношений, которая в конце концов привела бы к какому-то заранее поставленному себе авторскому заданию.

Действующие лица у Достоевского развиваются совершенно самостоя-

тельно и высказываются (а в их «высказываниях», как правильно отмечает Бахтин, заключается соль романов), независимо от автора, согласно логике того основного жизненного принципа, который является доминантой данного характера.

Действующие лица Достоевского живут, борются и в особенности спорят, исповедываются друг другу и т. д., несколько не насилуемые автором. Автор, по мнению Бахтина, как бы дает каждому из них абсолютную автономию и в результате столкновения этих автономных лиц, словно независимых от самого автора, появляется вся ткань романа.

Само собой разумеется, при таком построении автор не может рассчитывать на то, что все его произведение в конечном счете докажет какой-то дорогой автору тезис. По этому поводу Бахтин утверждает даже, что «в настоящее время роман Достоевского является, может быть, самым влиятельным образцом не только в России, где под его влиянием в большей или меньшей степени находится вся новая проза, но и на Западе. За ним, как за художником, следуют люди с различными идеологиями, часто глубоко враждебными идеологии самого Достоевского: порабощает его художественная воля... Художественная воля не достигает отчетливого теоретического осознания. Кажется, что каждый, входящий в лабиринт полифонического романа, не может найти в нем дороги и за отдельными голосами не слышит целого. Часто не схватываются даже смутные очертания целого. Художественные же принципы сочетания голосов вовсе не улавливаются ухом».

Можно сказать даже, что эти принципы не только остаются нераскрытыми, но даже, пожалуй, отсутствуют. Это оркестр не только без дирижера, но и без композитора, партитуру которого он выполнял бы. Это есть столкновение интеллектов, столкновение

воль в атмосфере величайшего со стороны автора попустительства.

В таком углубленном виде понимает полифонию Бахтин, когда он говорит о полифонизме Достоевского.

Правда, Бахтин как-будто бы допускает какое-то высшего порядка художественное единство в романах Достоевского, но в чем оно заключается, если эти романы полифоничны в указанном выше смысле, — понять не сколько трудно. Если допустить, что Достоевский, заранее зная внутреннюю сущность каждого действующего лица и жизненные результаты их конфликта, комбинирует эти лица таким образом, чтобы при всей свободе их высказываний, получилось в конце концов каким-то образом очень крепко внутренне спаянное целое, тогда надо было бы сказать, что все построение о полноценности голосов действующих лиц Достоевского, т. е. об их совершенной независимости от самого автора, должно было бы быть принято с весьма существенными оговорками.

Я склонен скорее согласиться с Бахтиным, что Достоевскому, — если не при окончательном выполнении романа, то при первоначальном его замысле, при постепенном его росте, — вряд ли был присущ такой заранее установленный конструктивный план, что скорее мы имеем здесь дело действительно с полифонизмом типа сочетания, переплетения абсолютно свободных личностей. Достоевский, может быть, сам был до крайности и с величайшим напряжением заинтересован, к чему же приведет в конце концов идеологический и этический конфликт созданных им (или, точнее, создавшихся в нем) воображаемых лиц.

Таким образом, я допускаю, что Бахтину удалось не только установить с большей ясностью, чем это делалось кем бы то ни было до сих пор, огромное значение многоголосности в романе Достоевского, роль этой многоголосности как существеннейшей характерной черты его романа, но и верно определить ту чрезвычайную, у огромного большинства других писателей совершенно невысказанную, автономность и полноценность каждого «голоса», кото-

рая потрясающе развернута у Достоевского.

Считаю необходимым подчеркнуть также правильность другого положения: М. М. Бахтин отмечает, что все играющие действительно существенную роль в романе голоса представляют собой «убеждения» или «точки зрения на мир». Это, конечно, не просто теории; это теории, вытекающие как бы из самого «состава крови» действующего лица, неразрывно с ним связанные, составляющие основную его природу. Кроме того, эти теории являются активными идеями, они побуждают действующих лиц к определенным поступкам, из них следуют определенные индивидуальные и социальные нормы поведения, — словом они имеют глубоко этический социальный характер, положительный или отрицательный, т. е. действительно влекущий личность к общественности или, наоборот, — как это особенно часто бывает у Достоевского, — отрывающий личность от нее.

Романы Достоевского суть великолепно обставленные диалоги.

При этих условиях глубокая самостоятельность отдельных голосов становится, так сказать, особенно пикантной. Приходится предположить в Достоевском как бы стремление ставить различные жизненные проблемы на обсуждение этих своеобразных, трепещущих страстью, полыхающих огнем фанатизма «голосов», при чем сам он как бы только присутствует при этих судорожных диспутах и с любопытством смотрит, чем же это окончится и куда повернется дело? Это в значительной степени так и есть.

Хотя М. М. Бахтин стоит в своей книжке главным образом на точке зрения формального исследования приемов творчества Достоевского, но он вовсе не чуждается и некоторых экскурсий в область социологического их выяснения. Он сочувственно цитирует Кауса («Достоевский и его судьба») и в основном соглашается с его мнением. Приведем и мы (в переводе) некоторые положения Кауса, цитируемые Бахтиным:

«Достоевский — это хозяин дома, который умеет хорошо обойтись с самы-

ми пестрыми гостями, с каким угодно дико составленным обществом, при чем он владеет им и умеет держать его в напряжении... Здоровье и сила, самый радикальный пессимизм и пламенная вера в искупление, жажда жизни и смерти — все это борется неразрешающейся борьбою; насилие и доброта, высокомерие и самоотверженное смирение, необозримая полнота жизни и т. д. Ему не нужно насилловать своих действующих лиц, ему не нужно произносить последнее слово поэта. Достоевский многогранен и непредвиден в своих движениях, его произведения насыщены силами и намерениями, которые, казалось бы, раз'единены друг от друга непроходимыми пропастями».

Каус полагает, что это происходит вследствие отражения в сознании Достоевского противоречий капиталистического мира.

Бахтин очень хорошо поясняет идею Кауса:

«Каус утверждает, что мир Достоевского является чистейшим и подлиннейшим выражением духа капитализма. Те миры, те планы,—социальные, культурные и идеологические,—которые сталкиваются в творчестве Достоевского, раньше довели себе, были органически замкнуты, упрочены и внутренне осмыслены в своей отдельности. Не было реальной, материальной плоскости для их существенного соприкосновения и взаимного проникновения. Капитализм уничтожил изоляцию этих миров, разрушил замкнутость и внутреннюю идеологическую самодостаточность этих социальных сфер. В своей всенивелирующей тенденции, не оставляющей никаких иных разделений, кроме разделения на пролетария и капиталиста, капитализм столкнул и сплел эти миры в своем противоречивом становящемся единстве. Эти миры ещё не утратили своего индивидуального облика, выработанного веками, но они уже не могут дозвезть себе. Их слепое сосуществование и их спокойное и уверенное идеологическое взаимное игнорирование друг друга кончились, и взаимная противоречивость их и в то же время их взаимная связанность раскрылись со всей ясностью. В каждом атоме

жизни дрожит это противоречивое единство капиталистического мира и капиталистического сознания, не давая ничему успокоиться в своей изолированности, но в то же время ничего не разрешая. Дух этого становящегося мира и нашел наиболее полное выражение в творчестве Достоевского».

Он сам дополняет к этому, что самой благоприятной почвой для полифонического романа явилась именно Россия времен Достоевского, «где капитализм наступил почти катастрофически и застал нетронутое многообразие социальных миров и групп, не ослабивших, как на Западе, своей индивидуальной замкнутости в процессе постепенного наступления капитализма. Здесь противоречивая сущность становящейся социальной жизни, не укладывающаяся в рамки уверенного и спокойно созерцающего монологического сознания, должна была проявиться особенно резко, а в то же время индивидуальность выведенных из своего идеологического равновесия и столкнувшихся миров должна была быть особенно полной и яркой».

Все это очень хорошо и верно.

Какой общий вывод можем мы сделать из приведенных положений Бахтина и Кауса, на которого первый в социологической части своего анализа опирается? Достоевский, будучи сыном своего века и отражая в себе ту колоссальную этическую разруху, которую пестрога капиталистических отношений, бурно хлынувших на дореформенную Россию, породила, является художественным зеркалом, в котором это разнообразие нашло свое адекватное отражение. Разнообразно кипит жизнь, сталкиваются между собой отдельные мировоззрения, отдельные морали, законченные ли в виде теории, осознанные ли своими носителями или почти подсознательно прорывающиеся в действиях и дисгармоничных речах: и у Достоевского идет такой же спор, такая же борьба. Так же точно нет камертона, по которому можно было бы настроить эту какофонию, и нет гармонии, которая могла бы ее превозмочь и, так сказать, впитать в себя, нет силы, способной какофонию эту организовать в некоторый хорал.

М. М. Бахтин понимает, однако, что такое представление о Достоевском было бы не совсем правильным.

Прежде чем мы перейдем к изложению дальнейших наших мыслей по поводу того, какое именно значение имеет у Достоевского его полифоничность, и постараемся внести некоторые поправки или пояснения к интересным идеям Бахтина, сделаем краткое сравнение полифониста Достоевского с некоторыми другими писателями — полифонистами.

Бахтин утверждает, что в драматическом произведении полифония типа Достоевского невозможна, что драматическое произведение вообще не может быть полифоничным и что вывод, к которому приходили некоторые исследователи Достоевского, будто бы романы его представляют собой в сущности своеобразно изложенные драмы,—совершенно неверен.

Бахтин считает такой вывод неверным по самым глубоким причинам. Ему кажется, что хотя в драме и имеются действующие лица, которые говорят и действуют в определенном сопоставлении друг с другом, но на самом деле они всегда являются как бы марионетками в руках автора, который непременно направляет их по заранее предопределенному им плану.

Так ли это?

Мы, конечно, вовсе не склонны подозревать Бахтина, показавшего в своей книге достаточную тонкость суждения, будто он предполагает, что все вообще драмы (трагедии, комедии и т. д.) представляют собою непременно «пьесы с тезисом». Вопрос о драмах, доказывающих некоторый тезис, и о свободной драме, представляющей собою просто повышенный, крепко скованный кусок жизни,—вопрос давний, и углубляться в него сейчас мы намерения не имеем. Но нам кажется странным, что Бахтин, утверждая невозможность полифонии в драме, забывает о величайшем представителе драматургического искусства—о Шекспире. Конечно, на самом деле Бахтин забыть его не мог, и, конечно, повторяем, Бахтин вовсе не думает, чтобы всякая драма была «тенденциозной». Он поллагает только, что так как всякая драма

представляет собой весьма стройное и закономерно развивающееся целое, то тут допустить «полноценность голов» было бы уж крайне нерасчетливо и совершенно невозможно для автора. По крайней мере, так объясняю я себе решительное заявление Бахтина относительно необходимости царящего в каждой драме монизма.

Я позволю себе радикально не согласиться с Бахтиным, и именно прежде всего на примере Шекспира.

Разве не характерно, что относительно Шекспира в течение чрезвычайно долгого времени констатировалось полное отсутствие каких бы то ни было руководящих идей или норм в его произведениях? Шекспир в своих драмах — автор необычайно «безличный», почти никогда нельзя ничего сказать о его тенденциях. Мало того, он, по видимому, в огромном большинстве своих произведений до такой степени чужд какой бы то ни было тенденции, что невольно напрашивается мысль о его внутреннем, осознанном или бессознательном, могучем отвращении к такой тенденциозности. Шекспир словно бы кричит каждым своим произведением, что жизнь сама по себе грандиозна и великолепна, несмотря на то, что она преисполнена скорбей и катастроф, и что всякое суждение об этой жизни представляется жалким и односторонним, не улавливает всего ее разнообразия, всей ее ослепительной иррациональности.

Будучи бестенденциозным (как, по крайней мере, очень долго судили о нем), Шекспир до чрезвычайности полифоничен. Можно было бы привести длинный ряд суждений о Шекспире лучших его исследователей, подражателей или поклонников, восхищенных именно умением Шекспира создавать лица независимые от себя самого и притом в невероятном многообразии и при невероятной внутренней логичности всех утверждений и поступков каждой личности в этом бесконечном их хороводе.

Тот самый Гундольфнейт, на которого в одном месте ссылается Бахтин, проводя параллель между Гете и Шекспиром, утверждает, что Гете всегда черпал материал для своих произве-

дений (по крайней мере, значительных) из своих переживаний, а фигуры своих героев — из своей собственной личности, и видит в этом нечто контрастирующее Шекспиру, который, по его мнению, наоборот, умел порождать независимые от себя и вне всякой связи с личными переживаниями стоящие, словно самой природой сотворенные человеческие фигуры.

О Шекспире нельзя сказать ни того, чтобы его пьесы стремились доказать какой-то тезис, ни того, чтобы введенные в великую полифонию шекспировского драматического мира «голоса» лишились бы полноценности в угоду драматическому замыслу, конструкции самой по себе.

И, однако, когда мы ближе присмотримся к Шекспиру (чему особенно помогает, может быть, еще недоказанная, но весьма вероятная гипотеза о Шекспире-Рютлэнде), мы видим, что в полифонизме его имеется тем не менее некоторый упорядочивающий момент, — «хозяйин дома», выражаясь термином Кауса.

Правда, все, что касается Шекспира, — для нас крайне темно, и темнота эта весьма мешает анализу (что служит одним из доказательств неверности положения некоторых литературоведов, которые говорят, что личность автора и биография его совершенно бесполезны при толковании его сочинений). Мы не можем даже сказать с точностью, являлся ли фактически в драматическом мире Шекспира кто-либо е д и н о л и ч н ы м хозяином. Не говоря о многочисленных позаимствованиях, переделках чужих пьес, не говоря о пьесах, навязанных Шекспиру, нельзя отделаться от весьма оригинальной и глубокой гипотезы Гордона Крага, видящей в Шекспире еще совсем особую многоголосность, а именно слышащей в его произведениях несколько авторских голосов. Все это чрезвычайно затемняет для нас понимание шекспировской полифонии. Однако, повторяю, ближе присматриваясь к этому грандиозному литературному явлению, нельзя не признать, что некоторая личность, хотя мало уловимая уже в силу своей многогранности и титанич-

ности, чувствуется за произведениями Шекспира.

Какие социальные факты отражались в шекспировском полифонизме? Да в конце концов, конечно, те же, по главному своему существу, что и у Достоевского. Тот красочный и разбитый на множество сверкающих осколков ренессанс, который породил и Шекспира и современных ему драматургов, был ведь, конечно, тоже результатом бурного вторжения капитализма в сравнительно тихую средневековую Англию. И здесь так же точно начался гигантский развал, гигантские сдвиги и неожиданные столкновения таких общественных укладов, таких систем сознания, которые раньше совсем не приходили друг с другом в соприкосновение.

Как же отнестся к этому предполагаемый Шекспир? Был ли он в полной мере только безучастным зеркалом, которое сумело отразить весь этот переплет неслыханно разнообразных сил, существующих вне его? Я уже сказал, что о Шекспире часто утверждали именно это. Надо, однако, помнить, что великий писатель, обладатель весьма могучего сознания, по самой сущности нашего сознания, которое имеет непреодолимую тенденцию объединять отдельные идеи, отдельные факты, строить некоторую систему представлений и критических суждений, неизбежно стремится в своих произведениях не просто отразить мир, но, так сказать, его упорядочить, гармонизировать или, по крайней мере, осветить его с какой-то определенной точки зрения.

Если это не всегда констатируется у отдельных великих писателей, то потому, что часто упускают из виду различные формы этой объединительной задачи. Писатель, если он поэт, вовсе не обязуется, конечно, на практике вносить единство и порядок в общество и природу, ни даже сводить их к какому-то монизму путем философских толкований. Он может, например (как может, впрочем, сделать это и философ), признать существование непримиримого плюрализма, он может признать неразрешимым трагизм, вытекающий из конфликта

борющихся между собою в мире начал. Он может с величайшей скорбью констатировать этот разлад, может совсем не видеть никакой возможности его разрешения. Но даже и это суждение, — с выводом ли, что жить вообще не стоит и что мир есть бессмыслица, или с выводом, что, несмотря на всю эту дисгармонию мира или именно благодаря ей, жизнь прекрасна в самой своей иррациональности, или что она должна утверждать себя героически, вопреки окружающему его хаосу, — даже и такие суждения являются, по существу говоря, об'единяющей концепцией или об'единяющей эмоцией, которая вряд ли может отсутствовать в действительно могучей индивидуальности.

Я этим вовсе не хочу утверждать, как это будет видно из дальнейшего, того, что такие могучие индивидуальности сами не могут быть расщеплены, одновременно или в различные периоды своей жизни, как бы на отдельные личности. Когда Гамлет восклицает у Шекспира:

Распалась связь времен,
Зачем же я связать ее рожден?

то в этом сказывается, на мой взгляд, глубочайший лирический порыв автора: воссоздать эту связь времен или найти новую связь Шекспир хотел бы. Это есть подлинное его внутреннее стремление, и каждая драма, которая в конце концов не приводит к примиряющему результату, есть как бы полученное им поражение.

Но оставим в стороне Шекспира и отметим только, что, будучи несомненно полифоничным не в меньшей степени, чем Достоевский, и допуская у себя действительную полноценность голосов (чего, мне кажется, отвергнуть М. М. Бахтин никоим образом не сможет), Шекспир проявляет лишь весьма далекую от соприкосновения с читателем тенденцию к оценке жизни, даже к ее переделке.

Но не ясно ли, что подобные тенденции существуют также у Достоевского? Этого опять-таки Бахтин никоим образом отрицать не сможет. Он сам понимает, что не только действующие лица Достоевского, но и он сам стремится к созданию какого-то нового об-

щества. Он сам говорит об этом, он сам подчеркивает, что разные представления о соборности, о гармонии, хотя бы метафизической, протусторонней, присущи Достоевскому. Достоевский не просто зеркало, с увлечением концентрировано повторяющее хаос жизни, мучительные ее конфликты. Эти конфликты болезненны для него, внутренне он желал бы примирить их и, уж если на то пошло, он в гораздо большей степени, чем Шекспир, и гораздо заметнее, чем Шекспир, занимается этим делом. Правда, занимается он этим безуспешно. Но об этом впереди.

Мне хочется здесь привести еще одно имя, совершенно не упоминаемое у Бахтина, — имя Бальзака. Маркс чрезвычайно высоко ставил Шекспира именно как певца молодого капитализма и всего бесконечного разнообразия капиталистической эпохи. Восхищался он также и Бальзаком. У Бальзака есть чрезвычайно много черт, общих с Шекспиром. Нельзя не отметить, что Достоевский в свою очередь восхищался Бальзаком и, как известно, переводил его произведения. Роднит Бальзака с Шекспиром не только замечательное разнообразие красок в окружающем Бальзака мире первоначального установления более или менее законченного капиталистического строя после бурь Великой революции, но и полифонизм, в смысле свободы и полноценности «голосов». Это опять-таки настолько верно, что и до сих пор, несмотря на то, что биография Бальзака нам превосходно известна, невозможно установить, каковы были тенденции самого Бальзака. Его философские, политические убеждения, не представляют того интереса, что убеждения Достоевского. Можно сказать, что Бальзак — менее крупный мыслитель, чем Достоевский. Чрезвычайно характерно вместе с тем, что в то время как в романах Достоевского авторский голос, как голос менторский или как голос поучающий, совершенно отсутствует, — у Бальзака вы можете встретить длинные рассуждения, вставленные в самое повествование и представляющие собою часто засушивающие его страницы рациональных суждений об изображаемых им фактах. И не-

смотря на это, Бальзак в гораздо меньшей мере тенденциозен, чем Достоевский. Разве мыслимо утверждать, что у Достоевского нет «бога» в чеховском смысле? (Я говорю о письме Чехова к Суворину об отсутствии бога, отсутствии предмета благоговения, любви у современного писателя.) Можно ли отрицать у Достоевского, по крайней мере, колоссальную устремленность к такому «богу», а в известные моменты и убежденность в том, что он им обладает? Относительно же Бальзака можно сказать, что он обыкновенно переходит от одной точки зрения к другой, что эти точки зрения у него случайны, что они даже мало интересны. Бальзак могуч почти исключительно своей полифоничностью, т. е. своей чрезвычайной объективностью, своим оборотничеством, своим умением почувствовать себя на месте самых разнообразных типов современного ему общества.

Поэтому, конечно, неправ Бахтин, утверждая, что Достоевский был создателем полифонии или хотя бы полифонического романа и многоголосности, при самостоятельности и полноценности отдельных голосов.

Бальзак в этом отношении безусловно превосходит Достоевского. Это объясняется, конечно, не только особенностями таланта Бальзака, но и многими чертами современного ему общества, сказавшимися как на материале, черпавшемся Бальзаком из окружающего, так и на строении сознания самого Бальзака. По отношению же к Шекспиру мы, видя у этого великого певца эпохи начала капитализма в Англии прорывающиеся то там, то здесь совершенно своеобразные «тенденции», тоже должны все-таки подчеркнуть его необычайную полифоничность в вышеуказанном смысле.

2

Возвращаясь к той задаче, которую мы наметили до наших параллелей.

Мы видим, что у Шекспира при его полифоничности имеется как-будто глубоко выстраданная попытка притти к какому-то единству, объективному или хотя бы субъективному. Мы чув-

ствуем, что у Бальзака нет даже такой тенденции, мы чувствуем у него чистый полифонизм.

Но у Достоевского, который интересует нас в данном случае больше, чем эти два западно-европейских гиганта,— как обстоит дело у Достоевского? Имеется ли у него, кроме полифонизма, кроме заинтересованности в вольном развитии самостоятельных голосов, еще и некая тенденция?

Мы уже упоминали вскользь, что и сам М. М. Бахтин не отрицает и не смог бы отрицать, что такая тенденция у Достоевского имеется и что если как автор он не выступает перед читателями в своих романах, то читатель прекрасно чувствует присутствие «хозяйина дома», читатель великодушно понимает, на чьей стороне симпатии Достоевского. Бахтин сам отмечает среди других голосов голоса провидящие, голоса несомненно, по мнению Достоевского, произносящие высшую правду, голоса «близкие к богу», т. е., по пониманию Достоевского, к источнику всякой правды,— богоносные голоса.

Но и в тех случаях, когда этих голосов нет, вся конструкция романов рассчитана таким образом, что у читателя не остается больших сомнений относительно суждений самого Достоевского о происходящем в романе. Великодушно, конечно, как художественный пример, то, что Достоевский сам этого не высказывает, но биенье, даже судороги авторского сердца, обливающегося кровью за писанием романов, чувствуются постоянно.

Формалисты повторяют здесь то, что они так часто стараются навязать нынешнему читателю, который никогда им в этом не поверит,— что писатели вообще, и даже величайшие писатели, совершенно чужды своим произведениям, относятся к ним как к ремесленной поделке и интересуются ими лишь с формальной точки зрения. Особенно чудовищным было бы подобное утверждение по отношению к Достоевскому, и к этому утверждению, повидимому, Бахтин несколько не склоняется. Достоевский прислушивается к великим диспутам, ведущимся словом и делом

в его романах, с величайшим волнением, с любовью и ненавистью.

Но почему же, однако, надо признать, что есть значительная доля правды в утверждении Бахтина, что трудно сформулировать окончательные выводы Достоевского, если не как теоретика и публициста, то именно как беллетриста, как романиста? почему романы его произвели и на Кауса впечатление «неоконченных споров»? почему в них как-будто бы никто в конце концов не победил? почему в понятие самостоятельности и полноценности голосов у Достоевского приходится включить и то, что он как бы пасует перед такими голосами, которые вовсе не совпадают с его убеждениями, вернее с убеждениями, которые он хотел бы иметь и которые он себе приписал? почему, с другой стороны, те голоса, которые явным образом пользуются его сочувствием (Соня, Зосима, Алеша и др.), не кажутся окончательно убедительными, отнюдь не производят впечатления победоносных, может быть, даже к значительной досаде Достоевского?

Для того, чтобы подойти к уяснению этого явления, без которого, конечно, утверждение Бахтина о полноценности и самостоятельности голосов у Достоевского было бы неверным, надо принять во внимание не только расщепленность мира окружающих Достоевского лиц, но и расщепленность его собственного сознания.

Не претендуя в этом небольшом очерке дать ответ на «проблемы творчества Достоевского» (чего, конечно, не смог сделать и Бахтин в целой книге), не претендуя хотя бы на то, чтобы сейчас дать мало-мальски исчерывающее представление об этой расщепленности сознания Достоевского, мы здесь хотим наметить только один основной сдвиг в его сознании — сдвиг болезненный, ужасающий, делающий в то же время Достоевского глубоко типичным для его эпохи или, вернее, для целых десятилетий истории русской культуры.

Явлением необычайно широким и охватывающим более столетия являет-

ся крайнее несоответствие общественной среды в России тому повышенному сознанию, которое постепенно начало организовываться в лучших слоях напшей дворянской, а потом и разночинской интеллигенции и которое, конечно, особенно характерно для крупных писателей, для разного типа вождей этой интеллигенции.

Оставив в стороне Новикова и Радищева, припомним только ужасающую фразу Пушкина: «Догадал меня чорт родиться в России с умом и талантом». Несмотря на то, что Пушкин был человеком до чрезвычайности уживчивым со средой, показал себя способным к очень гибкому внешнему и внутреннему оппортунизму, жизнь его была отравлена, и общественный скандал, жертвой которого он пал, вытекает с неумолимой логикой из всего его положения между декабризмом, с одной стороны, и Николаем Палкиным — с другой.

При этом, разумеется, Пушкин несколько не изолирован. Наоборот, вокруг него другие страдали еще больше, и страдали не только внутренне, но и внешне. Это факт общеизвестный.

Предтечей грядущей могучей волны разночинской интеллигенции явился Белинский. Ему также присуща была вся полнота сознания ужаса своего положения. Он несколько раз говорит о том, как кошмарно проснуться к полноте сознания в стране замордованной, в стране, в которой командуют глубоко некультурные и перешоленные чванством фельдфебели, в стране, в которой нет сколько-нибудь серьезных элементов протеста, сколько-нибудь серьезной опоры для критики тех многих, которые для подобной критики созрели.

Если Белинский, несмотря на это, остался верен своему призванию, то отнюдь не без колебаний: статья о Бородине, как бы ее ни объяснять неправильным пониманием Гегеля (дело может идти только о неправильном применении гегелизма), является в сущности глубокой параллелью политическим настроениям и верованиям Достоевского. Белинский чуть не скатился в ту пропасть внутреннего оп-

португизма, которая заключается в принятии ряда общих и эмоциональных ухищрений для того, чтобы оправдать свое примирение с «царяющим злом». К тому же Белинскому буквально повезло: умереть раньше того острого испытания, которое выпало на долю Чернышевскому, Достоевскому.

Я не утверждаю, что Гоголю в какой бы то ни было период его жизни было присуще резкое и сознательное протестантское отношение ко всей действительности, его окружавшей. Тем не менее, бросавшийся в глаза постепенный переход Гоголя от сатиры к прославлению самодержавия и православия был, как известно, принят и Белинским и обществом с глубоким стыдом и горем.

Психологически дело шло, разумеется, не так, как утверждают поверхностные исследователи судеб Гоголя. Вообще не в том дело, что Гоголь будто бы с самого начала мыслил как законченный верноподанный помещик. Гоголь, несомненно, поднимался до достаточно могучей критики, которой, по понятным причинам, не осмеливался замахать на общественные вершины. Отказ от роли идейного руководителя своей страны и внутренне нисколько не удовлетворяющая, необедительная замена этого водительства верноподанным кликушеством несомненно были не только следствием болезненной ипохондрии Гоголя, но и самой глубокой причиной ее.

Эпоха, можно сказать, усеяна была трупами и полутрупами, из которых одни сопротивлялись и были сломлены, другие согнулись, остались в живых, но были искалечены, приобрели резко выраженные патологические черты.

Могутый и светлый Чернышевский, который, занимая даже самые радикальные позиции, не мог уже чувствовать себя таким одиноким, как Белинский, все же весьма скептически относился к надеждам революционного порядка для своего времени. Блестящим и раздирающим памятником этих сомнений, этого научного скептицизма Чернышевского является так мало оцененный в нашей литературе роман

его «Пролог». Чернышевский все-таки оказался искупительной жертвой, но он старался сделать все от него зависящее, чтобы не растерять своих сил, сил подготавливателя на прямую, еще несвоевременную борьбу. Хотя Чернышевский героически вынес искушения каторги и ссылки, но сравнение Чернышевского, каким он выехал в Сибирь, с Чернышевским, каким он приехал оттуда, наводит не меньшую тоску, чем какое угодно крушение других великанов нашей мысли, нашей литературы.

Этот список можно было бы длить до бесконечности. Мы все время находили бы людей, которые, проснувшись до полноты сознания, ориентировавшись в окружающей тьме, в той или другой мере, бросили ей вызов, в той или другой мере были ею разбиты то физически, то морально-политически, а часто и так и этак.

Нельзя, однако, не припомнить здесь печальную фигуру Некрасова. Как-никак, а Некрасов сделал очень много для развития революционного движения, революционной мысли в нашей стране; но степень его гражданской сознательности гнала его на протест гораздо более яркий, на который, однако, он не решался, частью по слабости характера, а гораздо больше по почти очевидной бесполезности жертв.

Покаянная песнь Некрасова достигла пределов самомучительства после известного особенно яркого его «падения», выразившегося в славословии Муравьеву-Вешателю. Можно сказать, ослепительный факт, свидетельствующий о том гнете, который заставлял ломаться и гнуться проснувшихся к сознанию граждан страны и прежде всего ее писателей!

Михайловский именно на основании морально-политического портрета Некрасова говорит о людях «больной совести» России. Все эти люди «больной совести» были более или менее сознательными оппортунистами, выработавшими две формулы: или — «вижу ужас, но не могу бороться с ним», или — «вижу ужас, но желаю видеть вместе с ним некое благо, чтобы можно было мне не бороться с ним и в то же время не перестать уважать себя».

Глеб Успенский был замечательным мастером в изображении людей «больной совести». «Неплательщиками» называл он большую часть интеллигенции и, что страшнее всего, сам умер с раздвоенной личностью, заявляя, что в нем с одной стороны сидит священномученик Глеб, а с другой — трусливый и эгоистический обыватель Иваныч. И это несмотря на то, что Глеб Иванович Успенский был любимцем передовой публики и своей литературной деятельностью колоссально много сделал для того дела, помогать которому считал своим долгом.

Даже Лев Толстой поднимается перед нами как искалеченный титан. Его непротivление злу насилием на самом деле является тоже формой самозащиты от совести человека, внутренне великодушно понимающего злую неправду жизни, но не решающегося на непосильную прямую радикальную борьбу с ней.

Вот в рамки этого-то явления, — как видит читатель даже на основании этого частичного перечня относящихся сюда фактов, весьма широкие, — надо вставить и Достоевского.

Социальное положение Достоевского, загнавшее его в общественные низы, давшее ему отвечатъ горечь существования униженных и оскорбленных, вместе с его необыкновенной чуткостью, способностью страдать и сострадать, не могли не толкнуть его в молодости на путь достаточно яркого протеста, на путь мечтаний о радикальной реформе всего общественного уклада. Пытаются представить близость Достоевского к петрашевцам как явление поверхностное и случайное, а вызванное этим осуждение к смертной казни — как очередную, ни на чем не основанную, бессмысленную юридическую жестокость самодержавия. Однако, это дело совсем не статочное. Надо быть лишенным всякой психологической чуткости и прежде всего не иметь в своем сознании ряда политически звучащих струн, чтобы — даже в случае отсутствия прямых доказательств — усомниться в том, что молодой Достоевский был в стане «взыскующих града», был преисполнен

гнева против социальной несправедливости, и настолько глубоко, что эти настроения продолжают свою полускрытую вулканическую деятельность через всю его жизнь. Раскаты их не слышны только политически глухому, и зарево их не видно только политически слепому.

Столкновение Достоевского с самодержавием произошло в самой острой форме. Чего острее — приговорен к повешению! «Смягчением» этой ситуации явилась каторга.

Вопрос о физиологических корнях болезни Достоевского и о самом начале ее до сих пор еще является спорным. Скажем мимоходом, что марксистской литературной критике придется еще весьма переведаваться с современной психиатрией, которая на каждом шагу истолковывает так называемые болезненные явления в литературе как результат недугов наследственных или, во всяком случае, возникших без всякой связи с тем, что можно назвать социальной биографией данного лица. Дело, конечно, совсем не в том, чтобы марксисты должны были отвергать самую болезнь или влияние психической болезни на произведения того или другого писателя, бывшего вместе с тем пациентом психиатра. Однако, все эти результаты чисто биологических факторов оказываются вместе с тем необыкновенно логически вытекающими и из социологических предпосылок.

К этой богатой и интересной теме мы в свое время еще вернемся, но сейчас нам необходимо вскользь упомянуть о ней при нынешнем кратком анализе расщепления сознания Достоевского, явившегося не менее важной причиной его «многоголосности», чем условия среды в эпоху бурного роста капитализма. Ведь в конце концов в той же среде жили и другие писатели, его современники. А вот М. М. Бахтин устанавливает, что именно Достоевский был, по крайней мере, на русской почве, создателем полифонического романа.

По показаниям самого Достоевского первый припадок эпилепсии произошел с ним на каторге и имел форму, по

субъективному самосознанию, какого-то озарения свыше, последовавшего за спором на религиозные темы и за мучительными и страстными возражениями Достоевского атеисту: «нет, нет, верю в бога!» Факт в высшей степени характерный. И здесь социальная почва и почва биологическая дают как бы один и тот же плод или, еще вернее, дают его совместно, не вступая в борьбу между собой. Загнанный на каторгу Достоевский, которому уже в величайшей степени присуще было сознание своей гениальности и особой своей роли в жизни (очень родственное такому же самосознанию Гоголя), всем своим существом сознавал, что самодержавие пожирает его. Быть сожраным он не хотел. Надо было занять такую позицию, которая спасала бы положение пророка и не вела бы к конфликтам с властью, грозившим в кратчайший срок катастрофой.

Я вовсе не хочу сказать, что Достоевский попытался сделаться монархистом сознательно, подделяваясь к господствующим. Подобное предположение было бы жалкой психологией.

Конечно, в Достоевском происходили целые бури сомнений, но «интерес» способствовал элиминации, затушевыванию, ослаблению «голосов», которые звали к протесту и борьбе, звали к жертве. Возражавшие голоса, и не те, которые были слишком откровенны, не те, которым присуща была окраска самосохранения, даже не те, которые кричали «при нынешних условиях эта жертва будет бесполезной», а те, которые оправдывали некоторую противоположную позицию,—напротив, сублимировались этим в стороне стоящим, на вид скромным «интересом».

Рукою ловкого фокусника «интерес» налагал даже на самосохранение Достоевского и рожденный им консервативный романтизм венец героизма. В самом деле, разве Достоевскому не предстояло бесстрашно выйти на борьбу с радикалами, на борьбу с передовой общественностью? Ведь для этого тоже нужно мужество.

Так в этих бурях и внутренних спорах организовывался основной фундамент грядущей примиренческой по от-

ношению к самодержавию и соответствующему общественному укладу позиции. Достоевский, однако, внутренне переживал ад. Убедить себя, не только сознание свое, но и свое подсознание, свою могучую общественную совесть в правильности этой позиции Достоевский не мог до самой смерти.

При первом же самом поверхностном анализе эпилепсии, в частности в ее проявлениях, присущих Достоевскому, мы найдем, с одной стороны, повышенную чувствительность, так сказать, обнаженность нервов, и отсюда,— в особенности в тяжелых условиях современного ему общества,— непрестанные, часто мелкие, но преувеличиваемые страдания. С другой стороны, эпилептический припадок представляет собой по свидетельству самого Достоевского (с внутренней стороны), наступление великого мира, чувства гармонии, единения со всем мирозданием, словом, победу некоторого эмоционального оптимума.

Но как можно иначе представить себе психологию тогдашнего Достоевского? Какие полюсы должны были проявляться в этой постоянной борьбе? С одной стороны—омерзение и негодование против действительности, с другой—страстная надежда на примирение всех противоречий, хотя бы в мире потустороннем, хотя бы в порядке мистическом.

Даровитая и страстная натура Достоевского углубляла это в одну сторону до того ужасного мучительства себя и других, которое является одной из доминирующих черт его писательства, а в другую—до экстазов.

Так социальные причины толкали Достоевского к «священной болезни» и, найдя в предпосылках физиологического порядка подходящую почву (несомненно связанную с самой его талантливостью), породили одновременно и его мирозерцание, писательскую манеру и его болезнь. Я вовсе не хочу сказать этим, что при других условиях Достоевский ни в коем случае не был бы болен эпилепсией. Я говорю о том разительном совпадении, которое составляет мыслить Достоевского уже по самому строению своему подготовлен-

ным для той роли, которую он сыграл. Между тем Достоевский, первый великий мещанин-беллетрист в истории нашей культуры, этими своими настроениями выражал смятение широкого слоя мещанской интеллигенции и интеллигентного мещанства, являясь их необычайно сильным и необычайно для них нужным организатором, источником той «достоевщины», которая была одним из самых главных путей самоспасения для известных широких прослоек этого мещанства вплоть до эпохи Леонида Андреева и даже вплоть до наших революционных дней.

Уже в силу этого «эпилептического» характера социальных переживаний и социального творчества Достоевского, религия должна была играть для него значительную роль. Однако, такую роль могла сыграть всякая мистическая система. Достоевский остановился на православии. Любопытно бросить взгляд и в эту сторону.

Православие, при всей грубости своих догматических форм, если сравнить их с утонченной прочной католической теорией и острым духом рационалистической критики протестантизма, тем не менее сумело сыграть некоторую положительную роль в пользу господствующих классов России не только в качестве основной формы идеологического обмана некультурных масс, но даже в смысле своеобразного «ослиного моста» для потребности самых изощренного оппортунизма людей высокой культуры, желающих найти примирение с действительностью. В самом деле, как-никак христианская религия, даже в ее православном оформлении, говорила о любви, равенстве и братстве. Православие понималось абстрактно, как явление наджизненное, отчасти даже загробное, но тем не менее вносящее какой-то свет и правды и человечности в земные отношения.

Самым приятным для господствующих классов должно было явиться то, что оно в сущности не требовало никаких реальных реформ, вовсе не желало найти какого бы то ни было подлинного отражения в действительности, за исключением таких пустяков как милостыня, пожертвования, монастыри

и т. д. Все в жизни могло и должно было оставаться попрежнему: православный царь, православные жандармы, православные помещики и фабриканты, православные рабочие и крестьяне. Одни — во всем блеске своих эксплуататорских функций, другие — во всем ужасе своего эксплуатируемого положения; и все в качестве «братьев во христе», примиренных, как этого хотела православная церковь, в одной общей идеологии божьей правды, которая сказывается и в муках поосторонней жизни и в наказаниях жизни загробной.

Сейчас, когда мысль нашей общечеловечности уходит от соответствующего уровня, все это построение кажется до такой степени ребяческим или даже дикарским, что порою спрешься себя, каким образом возможна была для православия даже роль своеобразной идеологии некультурных масс. Но такого рода умонастроение является в значительной мере искусственным. Я поймал себя, например, во время моего последнего пребывания в Швейцарии на каком-то глубоко, я бы сказал, наивном удивлении, что в этой стране стоят церкви, отправляются службы верующих по ритуалам разных церквей. Мне как-то захотелось нарочно взять в руки газету, журнал чисто церковного характера, и я не мог не смеяться, — опять-таки самым наивным смехом, — читая там, в европейской обстановке, глупенькие ухищрения или наивные повторения задов, написанные верующими шерьями.

Между тем религиозная мысль и чувство вовсе не сдаются в Европе, а, наоборот, имеются симптомы некоторого несомненного укрепления их в некоторых средах, между прочим в среде буржуазной молодежи во Франции, Италии и т. п.

Как бы то ни было, но это хитрое в своей наивности построение правды небесной, которое оправдывает все неправды земные и даже слегка реально смягчает их (больше на словах, а иной раз «делами милосердия»), могло служить формой примирения с действительностью для проснувшихся к острой критике умов, для сердец, начавших содрогаться при виде со-

циального зла, которым, однако, впоследствии. понадобилось парализовать это содрогание или так или иначе умерить его, чтобы оно не привело к фатальному столкновению с господствующей силой.

Если мы возьмем к примеру три стадии подобного использования религии в русской литературе и выберем для этого Гоголя, Достоевского и Толстого, то мы получим такую трагедию.

У Гоголя дело обстоит совершенно наивно. Припомните знаменитое место из переписки с друзьями, где Гоголь рекомендует помещикам читать евангелие крестьянам, дабы сии, проникшись смыслом слова божия, беззаветно служили помещику и понимали, что такое служение является целью их существования.

Я не думаю, чтобы внутри у Гоголя не было известного изъяна, известного внутреннего сомнения, может быть, хорошо скрытого, а может быть, царявшего сознание Гоголя лишь изредка, сомнения относительно того, действительно ли все это так, и не является ли «слово Божие» просто удобным для помещиков измышлением?

Прямых данных для этого, насколько я знаю, не имеется. Ежели кому угодно принимать веру Гоголя за нечто монолитное, он волен это сделать. Но и монолитная вера есть все-таки внутреннее социальное приспособление к внешней среде, и Гоголю, окруженный смехом критический гений которого мог стремительно принести его в плоскость самого резкого столкновения с самодержавием и помещичьим строем, было в высшей степени необходимо найти такое прекрасно пахнущее миром и ладаном примирение с действительностью¹⁾.

На другом полюсе взятого нами периода — у Толстого — мы имеем нечто как будто совершенно противоположное. Толстой резко отменяет православие, как таковое, является прямым врагом церкви, не только совершенно

ясно понимает, что церковь играет роль аппарата для укрепления рабства, но именно за это больше всего ненавидит ее.

Однако, надо помнить, что основной задачей религиозного приспособления в подобных случаях является все же парализовать или, по крайней мере, крайне ослабить возможность конфликта совести со злом. Толстой оставил как раз столько религии, сколько необходимо для оправдания его теории непротивления злу насилем. Мировоззрение рационалистическое до жонца (если бы Толстой к нему пришел) ни в коем случае не могло бы служить логическим фундаментом для проповеди этого фактического уклонения от острых форм борьбы со злом.

Достоевский занимает в некоторой степени промежуточное положение. Он гораздо менее наивно православен, чем Гоголь. Тут уж никому не придет в голову отрицать целые смерчи и самумы сомнений и мучительных внутренних дискуссий.

Достоевский очень редко опирается на всякие формы ортодоксии. Важно ему не это, ему важно то углубленное «внутреннее» понимание церкви, которое давало ему возможность даже отчасти противопоставить ее государству. Действительно, у Достоевского церковь не только оправдывает государство своим существованием, алтарь не только является украшением и освящением дворца, каземата, фабрики и т. д., но даже представляется силой, во многом противоречащей всей остальной жизни.

Достоевский, конечно, прекрасно понимает, что синод и все духовенство являются чиновниками самодержавия, но ему недостаточно того, что эти жрецы освящают деятельность министров и станковых приставов. Ему еще кажется, что, по крайней мере, лучшие из этих чиновников духовенства и самый «дух» его в своем роде «революционные».

«И буди и буди» — говорят у Достоевского вдохновенные монахи. Что буди? Буди то, что церковь со своей любовью и своим братством когда-то победит государство и основанное на

¹⁾ Достоевский, подхихивший к делу сложнее, высмеивая пророческую миссию Гоголя вообще, высмеивает и это место, вкладывая его почти полностью в уста Фомы Опискаина («Село Степанчиково»).

частной собственности общество, что церковь когда-то построит какой-то особенный, почти неземной социализм, в основе которого будет находиться та соборность душ, которой Достоевский старается подменить когда-то сиявший ему, а потом отвергнутый им идеал социализма, который подсказали ему его друзья петрашевцы.

Однако, церковная революция протекает у Достоевского еще в большем «смирении», чем у Толстого его сектантская революция. Это — задание на сотни лет, это отдаленное будущее или даже нечто потустороннее. Возможно, как у Толстого, так и у Достоевского, по самой мысли автора, гармоничная соборность есть только нормативный идеал или нечто осуществляющееся в вечности, в бесконечности, в метафизической плоскости.

Таким образом бог, православие, христос, как демократическое, индивидуалистическое, чисто этическое начало в церкви, — все это было крайне необходимо Достоевскому, ибо все это давало ему возможность не рвать окончательно своей внутренней связи с социалистической правдой, в то же время предавая всяческому проклятию материалистический социализм.

Эти позиции к тому же дали ему возможность сохранить глубоко верно-подданническую позицию по отношению к царю и всему царскому порядку, в то время как с казового, алтарного конца в этих церковных ладах можно было разыгрывать всевозможные фиоритуры. Таким образом у него православие есть глубоко консервативное начало и вместе с тем какой-то максимализм. Максималисты в области религии могли всегда сказать материалистам: «Вы же не осмелитесь выставить в ваших программах право на бессмертие. Вы не сумеете требовать абсолютного блаженства и слияния всех людей в один вседух. А мы этими прекрасными вкусными вещами можем манипулировать сколько угодно, выставляя их за подлинную реальность».

Натура менее трагическая, чем Достоевский, может быть, была бы полностью удовлетворена такого рода хитросплетенной самоутешалкой. Но Достоевского, бездонно глубокого гения,

грызла огромная совесть, тонкая чуткость к жизни. Достоевский все вновь и вновь вызывает в разных формах своих врагов, и не только мешанство, не только всякого рода пороки, но прежде всего и главным образом этот проклятый и самоуверенный материализм. В своей душе он убил его, он похоронил его, он наворожал громадные камни на могилу. Но под этими камнями был не мертвец. Кто-то постоянно шевелится, какое-то сердце громко бьется там и не дает покоя Достоевскому. Достоевский продолжает чувствовать, что не только социализм вне его, не только разворачивающееся русское революционное движение, Чернышевский и его теории, западный пролетариат и т. д. не дают ему покоя: прежде всего беспокоит его материалистический социализм, живший в нем самом, которого ни в коем случае нельзя выпустить из подполья, который нужно оплевать, затоптать, забросать грязью, унижить, сделать в своих собственных глазах ничтожным и смешным. Достоевский делает это. Не раз и не два. Он доходит в этом отношении до неистовства в своих «Бесах». И что же? Проходит немного времени, дым возражений, грязь инсинуаций проходят, и вновь начинает сверкать непримиримый диск подлинной правды.

Конечно, Достоевский ни одну минуту в своей последующей послекаторжной жизни не чувствовал подлинной веры в этот свой материалистический призрак. Но достаточно было, чтобы он чувствовал по отношению к нему сомнение для того, чтобы не находить себе покоя. С другой стороны, Достоевский, со всей присущей ему гениальностью мыслей, чувств, образов, воздвигал к небу возносящиеся алтари. Чего только тут нет: изощреннейшие софизмы и вера угольщика, иступленные «блаженного» и тонкий анализ, подкуп читателей прозорливостью религиозно мыслящих персонажей, что так легко для поэта, и т. д. Все-таки вновь и вновь Достоевский с сомнением смотрит на свои многосложные построения, понимая, что они непрочны и что один сильный подземный удар от движения того скованного титана, кото-

рого он закопал в себе, — и все эти кучи бирюлек распадутся.

Вот из такого понятия о Достоевском, кажется мне, нужно исходить для того, чтобы понять действительную глубину отмеченного М. М. Бахтиным полифонизма в его романах и повестях. Лишь внутренняя расщепленность сознания Достоевского, рядом с расщепленностью молодого русского капиталистического общества, привела его к потребности вновь и вновь заслушивать процесс социалистического начала и действительности, при чем автор создавал для этих процессов самые неблагоприятные по отношению к материалистическому социализму условия.

Однако, самое слушание процесса теряет решительно всякий смысл, как форма самоутешения, самоуспокоения, разрешения внутренних бурь, если этому процессу не придать хоть видимость нелицеприятности. А выпущенные на волю из внутреннего мира Достоевского родившиеся там типы, длинной цепью рассеянные от революционеров до мракобесов, сейчас же начинают говорить своим голосом, вырываются из рук, доказывают каждый свой тезис.

И Достоевскому это приятно, мучительно приятно, тем более, что он сознает, что как писатель он имеет все-таки в руках дирижерскую палочку, является хозяином, принимающим все это разношерстное общество, и может в конце концов внести сюда «порядок».

И то высшее художественное единство, которое М. М. Бахтин чувствует в произведениях Достоевского, но не определяет и считает даже почти неопределимым, есть именно эта подтасовка, деликатная, тонкая, боящаяся себя самой, а временами вдруг грубая, жандармская подтасовка процесса, идущего в каждом романе, в каждой повести.

А та неслыханная свобода «голосов» в полифонии Достоевского, которая поражает читателя, является как раз результатом того, что в сущности власть Достоевского над вызванными им ду-

хами ограничена. Он сам догадывается об этом, он сам догадывается, что если перед читателем на сцене своих романов он может внести вышеупомянутый «порядок», то за кулисами никак нельзя будет разобраться, что к чему. Там артисты могут решительно выйти из повиновения, там они могут продолжить те противоречащие линии, которые они чертили на зримом небосклоне и начать по-настоящему раздирать душу Достоевского.

Если Достоевский хозяин у себя, как писатель, то хозяин ли он у себя, как человек?

Нет, Достоевский не хозяин у себя, как человек, и распад его личности, ее расщепленность, — то, что он хотел бы верить в то, что настоящей веры ему не внушает, и хотел бы опровергнуть то, что постоянно вновь внушает его сомнения, — это и делает его субъективно приспособленным быть мучительным и нужным отражением смятения своей эпохи.

Настоящая, подлинная апелляция от Достоевского может быть не к какому-нибудь современному ему писателю и пока что не к какому-нибудь последующему писателю, а только к последующему времени, к эпохе, когда на общественную арену выступили новые силы и создалась совершенно иная ситуация.

Однако, и наша нынешняя ситуация, ставшая все проблемы под другим углом зрения, отнюдь не заставляет нас относиться к Достоевскому равнодушно. Если никто из нас ничего положительного в Достоевском не почерпнет, то ведь мы не составляем еще большинства в стране, и Достоевским будут вооружаться и болезнями Достоевского страдать еще многие и многие группы и прослойки. Достоевский ни у нас, ни на Западе еще не умер потому, что не умер капитализм и тем менее умерли его пережитки (если говорить даже о нашей стране). Отсюда важность внимательного рассмотрения всех проблем трагической «достоевщины».

4. О ПЕСНЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВНИ

Федор Малов

Изучение народного поэтического творчества в наше время задача ответственная и актуальная. Чтобы создать новые экономические и бытовые формы, новые жизненные отношения, противопоставить старому заскорузлому укладу другой и упорядочить художественную жизнь деревни, для этого необходимо прежде всего знать, чем живет эта деревня сейчас и какие творческие силы бродят в ней, являя собой доосу небывалого культурного движения. Изучение современного фольклора и дает нам в этой области богатый материал своим конкретным и действительным отображением всех существующих деревенских настроений; дает возможность увидеть внутреннюю деревенскую жизнь, со всеми ее оттенками и особенностями, до которой не так-то легко добраться со стороны, поскольку глубоко сокрыта она в непролазных недрах и трещинах многовекового, тяжеловесного уклада.

Поэтическое творчество содержит в себе всестороннее отражение деревенской жизни: молодость, любовь, встречи, разлуку, общественные, семейные, интимные взаимоотношения, военную службу, налоги, повинности, труд в хозяйстве, в полях, в лесах, на гумне, на сенокосах, на промыслах, политические взгляды, земельные и экономические вопросы, гражданское сознание, общечеловеческие проблемы — все мелочи и важнейшие явления деревенского быта, все дни ее трудовой и праздничной жизни.

Какие песенные формы представляют собой современное поэтическое творчество деревни — вот первый вопрос, который возникает прежде всего при знакомстве с народной поэзией, вопрос, относительно которого сейчас нет положительно никаких расхождений у исследователей и собирателей современного фольклора.

Частушка — почти единственная современная поэтическая форма, которая живет и разрастается сейчас в деревне. Так называемые «протяжные»,

«долгие» песни — хороводные, исторические, разбойничьи, бытовые, «духовные стихи» и т. п. — очень редко встречаются в употреблении в наше время. Если они и встречаются порой на свадьбах, «пирах» или гостебе, то лишь исключительно среди пожилых, «старобытных» крестьян, совершенно незатронутых новшествами. Но и при такой обстановке употребление старинных песен бывает не иначе, как с оговорками («А что нам эту частушку-повертушку петь, мы люди старомодные, нам простительно и старое вспомнить, пускай молодежь смеется»), — что определенно доказывает, насколько изменилось отношение к прежней песне. Перелом в отношении к ней произошел отнюдь не потому, что старинная поэзия мало художественна. Нет, это совершилось от того, что даже пожилое население деревни стало жить другими запросами, другой духовной жизнью, на которые совершенно нет ответа в старой песне. Деревня сама признает высокую художественность традиционных песен и справедливо считает современную поэзию — частушку — ниже их, но отходит от прежних произведений в силу устаревшего их мировоззрения, мало имеющего общего с современным. В отказе деревни от старых песен сыграло роль не только одно содержание, но также и поэтическая конструкция их, в основном мало похожая на конструкцию позднейших поэтических произведений.

До сих пор еще никем не обнаружена настоящая песня-«долгуша» с современным содержанием. Традиционная же народная песня — если она не из песенника-лубка — быстро сходит с деревенской сцены и вымирает не по дням, а по часам. И здесь, как ни подходи к вопросу, можно констатировать лишь только один факт отмирания.

Однако, нельзя безоговорочно утверждать, что деревенские «песнотворцы» решительно и навсегда отмежевываются от старых песенных форм. То, что творчество частушки сейчас преобла-

дает — это бесспорно. Но на ряду с ее ростом повсеместно наблюдаются попытки отыскать какие-то новые творческие возможности подыскать свежему, сегодняшнему содержанию другие поэтические формы, минуя частушечную. Изредка можно встретить кого-нибудь одного из сотни, сочиняющего длинную песню, очень близкую по форме к литературному сочинению: стихотворению или басне. В каждой деревне кто-нибудь да слаживает «стишки», если не для всенародного употребления, то «так, про себя» на какую-нибудь чрезвычайно современную тему. И даже не приходится сомневаться в том, что это «так, про себя» через несколько лет может вылиться в определенное новое поэтическое движение, очень близкое по своим формальным особенностям к обыкновенной литературной поэзии.

Эта близость не носит случайного характера, а представляет собой последовательное и сильное влияние поэтических произведений из книг, журналов и газет, в большом количестве попадающих сейчас в деревню. Произведения из источников печати не только пленяют собой деревенский творческий молодежь, но и по-другому формируют его психику, вызывая новые требования к искусству.

Уже и теперь наблюдается среди молодежи яростная борьба за стихи. Большинство ребят и девушек еще продолжают смеяться над «стишками-выдумками» и не хотят признать за ними права на существование в быту гулянья. Но ярые сторонники стихов — обычно комсомольцы или деревенский актив, имеющие дела с книгами — презрительно морщатся над частушкой и считают «отсталостью» серьезно распевать их публично. Они хоронятся по овинам, баням и сараям, «сочиняют и слаживают» одно стихотворение за другим и покорно сносят от остальных ругательства и насмешки над своей «новомодной» страстью. Это деревенское творчество живет уже в иных формах, чем частушка. Оно помещается в местных стенгазетах, альбомах и тетрадях, появляющихся не только у наиболее грамотной молодежи — комсомольцев, учащихся в школах II сту-

пени, — но и у самых заурядных ребят и девушек.

Это самый передовой участок деревенского поэтического творчества. Между ним и частушкой существует еще полукolleктивное творчество. Произведения этого рода нельзя назвать ни чисто народными, ни типично литературными. От стихов они отстоят дальше, чем от традиционной, коллективной поэзии. В создании их участвует редко один человек, чаще целая компания, а бывает, что и вся деревня «помогает» главному заправиле. И, несмотря на это, они резко отличаются от обыкновенных «умирающих» песен. Для примера приводим текст песни, составленный в подобной обстановке, который знает и поет целая волость:

На краю деревни нашей
Непокрытый дворик у Кандраша.
Тут живет хозяин, парень ловкий,
С хитрепой-смекалкой, да и со саровкой.
Знахарит он, летит с давних пор,
И слывет, как плут, лентяй и вор... и т. д.

Песня почти как песня. Однако, между ней и обычными огромная разница. Особенно показательно отсутствие в ней высокой поэтизации и романтичности, являющихся основными элементами традиционной песни. В обычных песнях — за исключением плясовых и краткостопных (стоящих по конструкции на особицу от остальных долгих песен) — не встречается правильного рифмования строк и тем более в однородной рифме, как здесь. Одно это придает ей характер искусственности. Причесанный ритм также чужд настоящим песням, и, несмотря на эту ритмическую сглаженность, выдержанность, к напевности эта песня не тяготеет. Содержание ее представляет собой бледное и вялое описание, лишенное тематической занимательности и поэтической яркости. Сравним с наиболее подходящим примером старой песни:

На горе, горе, на крутой горе
Стояла корчма, корчма царская.
Во той во корчме шинкарка сидит,
Молодая шинкарка, красавица... и т. д.

Доказывать художественное преимущество ее и разницу не приходится. Еще более разнится с традиционным песенным творчеством обновленный «духовный стих», записанный у слеп-

пов-нищих в Казанской губернии — теперь Татарской республике.

Солнце за лес, за овраги закатается,
Молодая жена мужа дожидается.
Уж погасла ала-зорька, наступала ночь,
Упрощала тута мать свою малу дочь:
— Ты поди ляг, усни, чадо родное,
Истомилась ты озябла, вся холодная...
Проливалось слез сиротских велики ручьи,
Мать с малым дитем сидели дождаючись,
Выходил тут на крылечко свекорь-бабушка,
Говорил, утешал внучку с матерью:
— Молодая ты жена, будет жалиться,
Наш Иван с Колчаком ведь сражается.
Прирадит его гаду—к нам воротится.
Об тебе толи подумает, позаботится...
Тут и утренняя заря занималась,
Дожидалась жена мужа не дождалась.
А и стала творить честну милостыню,
Нищим-странникам, убогим-слепцам,
Нам, калекам, да уродам переходим.

Конечно, обновлен этот стих по очень простой причине: духовно-нищенское пение имеет установку исключительно на эмоциональные достоинства, чтобы сильнее «бередить» и «тревожить» слушателей, дабы не отказывали в милостыне. Но «душеспасительно-божественные» мотивы вызывают у передовой деревни, главным образом, у молодежи только недоумение и насмешливое любопытство, почему и утрачивается основная установка на «бередливость». Только новый опыт применения заставил вложить новое содержание — близкое и волнующее недавним прошлым — в эту чрезвычайно специфическую и консервативную форму.

Кроме деревенских нищих-певцов, есть еще городские слепцы, летом разъезжающие на пароходах и в поездах, зимой выступающие на базарах, ярмарках в людных пригородах. Они выступают сейчас с совершенно новым «репертуаром» и непременно под аккомпанемент скрипки или гармоники. Пение и музыкальное сопровождение у них более «светское», чем у деревенских, и носит прямой характер заработка. Искусство их близко не примыкает к деревенскому, духовно-нищенскому. Оно стоит ближе к номерам ресторанов, пивных и самого низкого пошиба эстрады. Но мотивы этих «номеров» тоже печальные и трагические. Покинутая «беспутным мужем» жена, обманутая девушка, не получающая алиментов, брат-кулак и брат-бедняк, сражающиеся в разных — красной и белой — армиях,

задохнувшийся в нужде простоволосый бедняк, несознающий облегчения от тяжелой участи в организованности — вот основное содержание таких произведений. Составляют их сами слепцы, перенимая потом друг у друга, а иногда списывая даже за плату. Общей характерной особенностью этого искусства является унылое, расслабляющее воздействие на слушателей, в то время как у деревенских нищих нередко встречаются зазорные, подбадривающие мотивы, вызывающие здоровые, бодрые настроения.

Но постараемся снова вернуться к полукolleктивному сектору народной поэзии. Он пока занимает небольшое место в художественной жизни деревни. В этих произведениях — в одних случаях более коллективных, в других менее — не встречаются в полной мере элементы, придающие качеству настоящей народности. Новые формы творческого процесса, другая, измененная обстановка, в которой совершается и проходит это творчество, — частушка создается большей частью «невидимо», т. е. незаметно, в одиночку, тайно, а эти песни складываются в избе, на заваленке, у крыльца целой компанией — являются основной причиной данного явления.

Это молодое и сравнительно незначительное народное творчество еще не отыскало соответствующих путей как творческих, так и формальных, а затем и бытовых, в которых бы оно нормально протекало и развивалось. Все творческие силы и весь художественный интерес все еще продолжают быть сосредоточенными исключительно на частушке, хотя конец ее тоже не за горами. По мере культурного роста и изменения социально-бытовой обстановки деревни — школы, культпросветы, деревенский театр, комсомол и т. д. — частушка будет не в состоянии отвечать предъявляемым к ней культурно-художественным запросам. В виду ее крайне сконцентрированной формы нет возможности использовать все поэтические возможности, имеющиеся в арсенале народного творчества. В коротенькой, сжатой частушке нельзя проникнуть до предельной глубины восплаемого или широко развернуть

ся, нельзя выразить целиком большое широко развернутое содержание. В дальнейшем она потеряет художественную свежесть: ее приемы, оформление, образы, ритм перестанут быть новыми, надоедят деревне, и частушка выродится тогда, уступив место новым формам. Но это еще впереди. А пока она продолжает расти и все более культивируется.

О социально-исторических причинах, способствующих процветанию именно этого жанра народной поэзии, говорилось немало. Предпосылкою явились пробуждение народных масс, растревоженных и встряхнутых революцией и войнами, другой характер времени и жизни. Отсюда вытекают рост и пробуждение политической и общественной активности, стремление решительнее отойти от старого, скорее изменить свою жизнь. Время, ставшее напряженно-пульсирующим и привносящим с каждым днем все новые и новые явления, коренным образом изменило деревенскую духовную культуру. Весь старый уклад жизни, со всеми своими устоявшимися и окаменевшими чертами — продуктом которого и была долевая песня, формой и всеми своими элементами отражавшая «свою эпоху» — рухнул или же неизбежно сходит на нет. Без этого уклада не выживает старая песня и умирает заодно с ним.

В обстановке неустойчивости и ломки старой культуры, в обстановке налаживания новых форм жизни, чрезвычайной смены настроений и интересов разрослась бодрая и темпераментная частушка, острая, революционная и свежая песенка. Ее не сразу сложившаяся форма вытекла постепенно из долевой песни, а не является самостоятельным продуктом фабрично-городского быта, как полагали во время первоначального знакомства с ней. Частушки XIX столетия по манере воспевания, образности и применению изобразительных приемов тождественны с долевой песней. Порой они разнятся от последней только сконцентрированностью формы, краткостью метрики и убыстренным ритмом. Структура частушек того времени аналогична структуре плясовых и «скоморошских» песен, которые имели место в народном твор-

честве еще в эпоху былин. Многие поэтические приемы и элементы долевой песни свойственны частушке той поры. Основной поэтический мир традиционной песни «долгуши» состоял прежде всего из романтики, эпических мотивов; был высоко опоэтизирован и переплетен с теми или иными явлениями природы, воспетыми под особым углом зрения. А именно: «лесами дремучими, болотами-топучими, непросветными туманами, солнцем-красным закатающимся, месяцем ясным, но не греющим, громом-молоньей пугающей, грозой-тучей надвигающейся» и т. д. и т. п. Неизбывная грусть, страдания и скорбь, трогательная печаль и жалость являются доминирующими настроениями в старой песне. Художественное оформление содержания тяготеет к идеализированию людей, к прикрашиванию их внешнего и внутреннего облика в «расприятеле, друге, защитнике» и к ступению отрицательных черт в «злом враге, притеснителе, разлучителе» и т. п. Суеверно-обрядовые мотивы, соединенные с верой в сверхъестественную силу; религиозно-философские идеи в сплетении с мистикой, ведущие в безысходность; самобытно-доморощенная мораль и правоучения людей, притесненных и забытых, страдающих под тяжелым игом социально-экономического уклада того времени, замыкают вполне кругозор долевой песни. Исключением были только плясовые песенки, наполненные бунтующим разливом определенно революционных настроений. В них чувствовался и взмах мужицкого мстящего топора, и свист помещичьей плетки, и бунтарский призыв к борьбе.

Частушки прошлого века, находясь под определяющим воздействием долевой песни, также насыщены родственными ей элементами и настроениями. И только песенки XX столетия решительно высвобождаются из-под этого влияния и переключиваются от «белых берез, ив плакучих, моря синего, глубокого, путь-дороги непроезжей, темной ноченьки непроглядной» к человеческой культуре — ножам, саням, телегам, топорам, пароходам, аэропланам и предметам жизненного обихода — юбочкам, кофточкам, стуличкам, ко-

ечкам, платкам, кисетам и фотографиям. Естественно, что в современной частушке уже нет того идеализирования и приукрашивания человека, показываемого в традиционном образе героя: «добра-молодца» с «бровями соболинами, очами соколиными» и героини: «красной-девицы, белой лебеди» с «щечками алыми», с «сладкой речью», с «легкой поступью». Весь поэтический мир частушки оказался совершенно иным, чем в доленой песне. А именно: более реальным, конкретным, близким к действительности. Изменился и подход к воспеваемым героям, предметам, окружающей обстановке.

На гулянье не поспела,
Повидать симпатию,
Навести лицо хотела
Я на фотографию.

Или вот частушка с подробным фиксированием места действия и точной датировкой времени, чего в прежних песенках не было:

Мы свыкались с милкой в бане,
Расставались на селе.
Мы свыкались с милкой в мае,
Расставались в сентябре.

В описаниях природы появляются другие реальные и конкретизированные настроения:

Когда солнышко горячо,
Сквозь ботинки ноги жжет
Какой миленький, желанный
Из далеку письма плет.

Особенно охотно выражает частушка складывающиеся новые отношения героев:

Мой-то милый комсомолец,
А я в бога верую.
Извиняюсь, синпатеечка —
Не ладно делаю.

Отражая современность, песенки воспевают новые конкретные явления быта и обстановки:

Через речку быстрою,
Телефон я выстрою,
Как по этим по струнам,
Пошло милке тилиграм.

Теперь воспевается и то, что раньше не входило в поле зрения поэтических произведений и оставалось вне их, за строго очерченной гранью:

Богородица — красавица,
Никола — молодец.
Богородица — капуста,
А Никола — огурец.

Человек в частушке фигурирует с более реальными — «житейскими» — своими чертами и особенностями:

У миленка поговорка
— «Ничего подобного».
Где же мне его любить,
Такого благородного.

В описании человека наблюдается склонность к обнаруживанию в нем внешних недостатков:

У меня миленок есть,
Как куриная напесть:
Ноги длинные, как луточки,
Глаза серы, как у кошки.

Большую часть дается образ героя с подтруниванием и насмешкой:

У мово-то у миленочка,
Коротенький носок,
Восемь курочек усядутся,
Девятый — петушок.

Описания не расплывчаты и не носят общего характера, а метко воспеваются отдельные детали:

У моей у милочки —
Глазки, как у рыбочки.
Раскурносенький носок,
Звонкий, милый голосок.

Переходя от романтики к реализму, частушка наших дней рисует действительных, реальных людей без всякого приукрашивания их внешнего и внутреннего облика. Частушка редко касается глубоких, внутренних переживаний, и только в редких песенках воспевается психологическое состояние:

Снежки белые пушисты
Призакрыли поля чисты.
Не покрыли одного —
На сердце горя моего.

Или:

Он завлек меня речами,
Я не стала спать ночами.

Даже из таких наиболее характерных в этом отношении примеров видно, насколько мало места отводится в песенках внутренним переживаниям. Но и в том случае, когда частушка касается этого переживания, оно показывается в ней слегка и вообще, не конкретизируясь и не расчлняясь, как это наблюдается в традиционных песнях с широко развернутыми психологическими полотнами. Зато движения, жизни, конкретной насыщенности, действия в частушке гораздо больше, чем в плавновялой, меланхолической «долгуше».

Вы курите — спички жгите,
Вы любите — крепче жмите;
Вы курите — дым пускайте,
Вы любите — не бросайте.

Или:

У меня милашек тридцать,
Я не знаю куда скрыться;
Шесть да пять — одиннадцать,
Семь да семь — четырнадцать,
Три да два, так будет пять, —
Гуляю с ноженкой опять.

Изменившаяся жизнь деревни влияет на частушку с исключительной силой. Это влияние сказывается не только на тематике, но играет большую роль и в изобретении художественных образов, подборе эпитетов и сравнений, построении психологических параллелизмов, выборе красок, создании новых художественных сочетаний. Но, главным образом, это влияние отразилось на содержании, целиком составляющем настроение сегодняшнего дня. В частушке оно темпераментно и выпукло, как ни в одной из других песенных форм.

Попутно с этим частушка стала быстро освобождаться от мистики, суеверности, слепого преклонения перед могучими явлениями природы. Безысходности и абсолютно трагических мотивов в современных песенках нет: в них преобладают бодрые бытовые и лирические настроения, оформленные в плане художественного реализма.

Поцелуй меня, миленок,
Без отрыва сорок раз;
Я тогда тебе поверю —
Любовь крепкая у нас.

Простота и естественность, точная тематическая формулировка и сосредоточенность на определенном факте — свойственны подавляющему большинству песенок. Частушки позднейшего происхождения стремятся к упрощению своей архитектурной формы, к разгруженности от образов — особенно это показательно на приведенной ранее песенке «У меня милашек тридцать», не содержащей в себе ни одного эпитета и сравнения. Но за счет этого увеличивается сила воспеваемого факта, музыкальная обогащенность, четкость образов, когда вместо нескольких расплывчатых и бледных в ней дается один, но зато красочный и яркий.

Мои щечки, что листочки,
Мои глазки — чернослив

Кто полюбит мои глазки,
Тот навек будет счастлив.

Один из важнейших приемов построения — психологический параллелизм — ранее исключительно состоял из материала различных явлений природы. В них воспевался окружающий материальный мир именно в таком настроении, какое заключалось в основной части песенки:

Что ты, белая березка,
Ветру нет, а ты шумишь. ...
Ретиво мое сердечко,
Горя нет, а ты болишь.

От степени тонкости построения психологического параллелизма, наибольшей логической увязанности его с остальной частью частушки зависело художественное качество последней.

Не от ветру ли рябина
Кисти принавесила?
Не от славы ли девченка
Голову повесила?

За последнее время построение параллелизмов происходит на совершенно новом материале.

У меня в кармане роза,
Освещает темнотой.
Мне давно, милый, хотелось
Познакомиться с тобой.

Здесь материалом для построения послужила новая домашняя обстановка, появившаяся в крестьянском обиходе за годы революции:

Стулик венский, стулик
венский,
Ножки гнуты у него.
Во своей деревне милая —
Не надо ничего.

Материал для психологических параллелизмов подбирается уже из действий человека:

Папирочка с духами,
Сама закурилась.
Мой миленок со кудрями,
Я в него влюбилась.

Но и тогда, когда песня задается целью построить психологический параллелизм на материале, взятом из природы, подход к этому материалу наблюдается новый:

Светит, светит, светится
Половина месяца.
Отдадут меня в солдаты,
Синпатеяка взбесится.

Раньше, в период отвлеченного опознания природы, «половина ме-

сяца» не воспевалась, а «солнце-красное» и «ветры-буйные», и «ясны-звездочки», и «поднебесная высота» фигурировали в общих и канонизированных образах без реальной конкретизации их, как теперь.

Культивирование психологического параллелизма иногда превосходит подобные образцы лирической поэзии. Они обладают весьма значительной глубиной, строгой, отчетливой и острой, почти афористической формулировкой:

Пролетает наша молодость
Как в трубу высоко дым..
Если нет на море ветра—
Лодка не колыхнется..
Течет речка по песочку,
Так и жизнь наша идет..
В небе молнию не слышишь.
В ручки счастье не возьмешь...

Также наблюдается тяготение к boldности и оживлению ритма, к его наиболее яркой выразительности. Ранее частушечный ритм был менее оживленным, напр.:

Никого в лесу не слышно,
Кроме пташечки соловья.
Соловей поет про милую—
Не стерплю девченка я.

Теперь характерной в отношении ритма будет следующая частушка:

Про меня, про молодую,
Четыре славы на году.
Проходи десятая—
Ни в чем не виновата я.

Такие сложные поэтические приемы, звуковая инструментовка произведений нередко встречаются в завершенном виде:

Я ходила по полю,
Искала чернотополо.
Чернотополо корней,
Приворачивать парней.
У милашки глазки баски.
Как с полоски васильки.
Как с полоски васильки—
Глазки у сударушки.

Как наиболее удачный пример гармонизации можно привести следующую песенку:

Про меня, про молодую,
Славы лей—перелей.
А я выйду за ворота,
Запою, как соловей.

Приемы звуковой инструментовки в частушках встречаются особенно часто, в таких случаях дается звукопо-

дражание воспеваемому в песенке обстоятельству:

Дорогого моего
Ломало и коверкало.
Его ломало за платок,
Коверкало за зеркало.

Наиболее употребительны рифмы — мужская и женская; дактилические встречаются весьма редко, поскольку требуют для себя многостопных и длинно растягивающихся слов при редко употребляемых падежах в деревенском песенном лексиконе, в роде: льянными, дождливными, опрокинулся, надвинулся. Положение рифм чаще перекрестное, т. е. первая строка рифмуется с третьей, вторая—с четвертой, и затем парное, когда рифмуются смежные строки. Описанное рифмование встречается довольно редко. Зато часто применяются внутренние рифмы, когда одна отдельная строка имеет рифмование внутри, а затем уже рифмуется в целом:

Меня сватай конопатый,
А рябой—наперебой.
Я рябому отказала,
Конопатый—милый мой.

Стремясь полнее использовать свои поэтические возможности, частушка в своем построении иногда отступает от обычной симметрии окончаний и характера рифмования и строится на новых сочетаниях. Вот песенка при трех однородных, открытых женских рифмах и одной мужской закрытой:

Я у тяти пятак,
У мила десятая;
Ни чего нас так не губит,
Как любовь проклятая.

А здесь частушка с однородной рифмой — женской открытой — во всех четырех строках:

Поп кадит кадилою.
Сам глядит на милюю:
— Господи помилюю,
Акулину милюю!

Необходимо отметить как явление весьма положительное: частушка богаче и разнообразнее исполняется, чем долевая песня. Последняя, как правило, распевается на один известный напевный мотив как в северных, так и в южных районах. Напевы таких песен как: «Ты воспой, воспой, млад жаворончочек...» или «Полоса ты моя, полосонька...» везде одинаковы. Хотя и

обладают наиболее сложным музыкальным рисунком в противовес остальным долгим песням, обычно состоящим всего только из трех-четырёх нот. Частушки исполняются везде и всюду по-разному. Каждая местность, губерния или этнографически-географический район исполняют частушку на разные мотивы. Это исполнение само по себе может быть различным и для песенника и гармониста, или для одной и той же местности. Так, на мотив «Саратовская» исполняется частушка и быстро, и плавно, и спокойно, и меланхолично, и скоро, как плясовая песня, и на чрезвычайно высоких нотах, и на спущенных низких и глухих. Деревенский гармонист и исполнитель прежде всего стремятся к новаторству и оригинальности исполнения, чем художественно и освежают частушки.

Искусство современного исполнения не снижается по сравнению с тем, как пелась долевая песня. Деревня представляет собой в наше время чрезвычайно своеобразную музыкальную лабораторию, в которой беспрерывно протекает работа художественного искания. Местами исполняется частушка в декламационной форме несколькими лицами.

- Куда едешь?
- За водой!..
- Где милая?
- Под горой!..

Здесь первый и третий стихи исполняются одним парнем, второй и четвертый — другим:

- Дорогой, куда идешь?
- Дорогая, в лавочку!..
- Дорогой, не позабудь
Лампасен баночку!..

В пении этой частушки участвуют трое.

Затем следует остановиться на любопытном спутнике частушки — припевке. На почве обогащения частушки музыкальностью возникла и культивируется припевка, которая обрамляет ее или пронизывает, смотря по своему строению. Припевки не связаны в частности ни с одной из частушек, но они в то же время применяются чаще при одном музыкально-напевном мотиве, и реже при нескольких. Роль припевок очень велика. Прежде всего припевка оживляет частушки и уя-

зывает целый ряд их в одно эмоционально-художественное целое. Как правило, четырехстрочная и однообразная по своей поэтической структуре частушка слишком обрывиста, однохарактерна и коротка, чтобы суметь в достаточной мере выразить то или иное настроение или удовлетворить полностью предъявляемые к ней художественные требования. Припевка помогает ей в этом: продлевает и увеличивает комплекс затронутых эмоций и держит их на известной высоте более продолжительное время. Напр., если нужно девушке выразить настроение покинутой и забытой милым, ей приходится спеть целый ряд песенок. Пусть эти песенки по содержанию однородны, но они каждая по-своему и по-новому начинаются, в этих началах неизбежно встретится какой-либо поэтический элемент, отвлекающий и рассеивающий основное настроение, и полного эффекта достичь будет нельзя. Что бы связать эти частушки в непрерывную цепь, нужно непрестанно петь и аккомпанировать, но это будет слишком однообразно. Являясь по ритмической структуре ярко выразительной и музыкальной, припевка разрешает этот вопрос полностью. Она оживляет музыкальный рисунок как аккомпанемента, так и напева, а главное, тесно связывает между собой отдельные, разрозненные песенки.

Припевки начинаются от несложных и простых и доходят до очень высоких и совершенных форм. Так, в исполнении мотива «Родимая» припевка следующая:

Первая половина песни:

Эх, я под ту березу встану
Чтобы дождь не проливал...

Припевка:

Эх, это верно совершенно,
Чтобы дождь не проливал...

Вторая половина песни:

Я такого любить стану,
Чтобы век не забь вал,

Припевка:

Это верно, товарищ,
Товарищ, правду говоришь...

При мотиве «Саратовская» исполнение происходит: а) с повторением спетого; б) с убыстрением темпа исполне-

ния; в) с обратным переходом на медленный темп и г) с ярким выделением на высокие ноты зачина и концовки. Словесный материал припевки один и тот же, что и в «Родимой». Следующий мотив «Подгорная»:

Припевка:

Ой, подгорна,
Ой, подгорна,
Березонька белая.

Здесь в пении пауза и переход гармониста к другому темпу.

Песня:

Эх, высоко орел летает,
Перелеты делает.
Хорошо милка целует,
Да измены делает.

Ни вокальной, ни музыкальной пауз нет, переход совершается сразу, не прерываясь:

Припевка:

Ой, подгорна,
Ой, подгорна,
Березонька белая.

Первые два стиха — в данном случае две строки — неизменны в этой припевке. Третий стих иногда меняется, органически сцепляясь с песней и входя в нее:

Припевка:

Ой, подгорна,
Ой, подгорна,—

Переход к песне:

Соловей живет в лесах,—

Песня:

Любовь слаще, чем конфетка,
Да не взвесишь на весах.

Иногда припевка по отношению к песне занимает внушительное по размерам место.

Так, припевка «Шиндарба», применяющаяся при плясовых частушках, выполняет, главным образом, фонетические функции:

Припевка:

Дули-или, дули-дули,
Дули-или, дули-дули,
Шиндарба струна—она
Шиндарбачивала.
Шиндарба струна—она
Приколачивала.

Песня:

Эх, что ж тебя
Заставило,
Пойти замуж
За старого.

Припевка:

Дули-или, дули-дули и т. д..

Здесь частушка уже совершенно тонет в разнообразии ритма, напевности и музыкальном просторе припевки. Таким образом, обладая сжатостью формы, однообразием ритмики, двухстрочная частушка, благодаря припевке, музыкально обогащает себя, блестяще разрешая задачу наибольшей гармонизованности.

Следующий мотив «С приахиваением» поется без припевки, внося лишь новую манеру исполнения:

Ах, шла-ях, лесом антире-ех-сом,
Антире-ех-сня-ах трава-ах.
Ах, давай милой-ах, распе-ах-ча-таем,
Ах, запре-ех-тные ах, сло-ва-ах.

Закрепленное здесь на бумаге в неуклюжем и неудобочитаемом виде на самом деле является искусным мастерством при исполнении, чрезвычайно богатым музыкальностью, свежестью и «новомодной» красотой.

Эстетические вкусы современной деревенской улицы меняются с большой быстротой. К старинным, канонизованным манерам исполнения относятся с презрением. «Он играет по-старинному», «Она поет по-старушески», «Больно уж заунывно выходит, как на поминках», «Какой это гармонист, если не знает модной игры» — это самое обычное заявление молодежи о своем искусстве пения и музыки. Этот вопрос, очевидно, заострен настолько, что та же частушка упоминает об этом:

Играй чище, играй чище,
Играй чище, чище пой.
Играй чище, чище пой,
Мое сердце успокой.

Частушка более, чем долевая песня, находится во взаимодействии с музыкой. Только «подыгрывание» да хорошее исполнение доводят ее до слушателя в полноте художественной законченности. Пение частушек без подыгрывания — только половина ее. «В сухомятку много не напоешь» — говорит молодежь по этому поводу. Вот почему пение частушек чаще всего встречается под гармошку, балалайку, гитару и вообще в сопровождении какой-либо музыки. Оттого, что частушка более всего тяготеет к музыке, ее основными

элементами и оказываются аллитерации, гармонизирование, звуковая инструментовка, наиболее яркая образность, ритмическая выразительность и т. д. В творческом процессе гармониста, певца-исполнителя эти элементы строго учитываются, отчего между пением, подыгрыванием и текстом наблюдаются логическая и художественная связь и согласованность.

Народная музыка постоянно жизненна и современна. Она живет в условиях непрерывного совершенствования. Парень, обучающийся на балалайке или гармонии, является в одно и то же время и музыкантом и композитором. Запоминая где-нибудь на гулянье слышанное и новое для себя, он, возвращаясь домой, незаметно слетает «запаматованную музыку» с собственными настроениями и переживаниями. И у себя в деревне «по памяти» слышанное воспроизводится с новыми оттенками и другими звуковыми сочетаниями. Гармонист не сдерживает свою творческую фантазию и смело строит по-своему вкусу тот или иной музыкальный мотив. У вышедшего «со своей музыкой» на гулянье ее перенимают другие, и в результате случайно возникшее становится впоследствии устойчивым элементом в игре остальных. Немало способствует совершенствованию музыки и общественное мнение, выражающееся прямо в лицо гармонисту. Нередко во время игры слушатели делают ему детальные замечания и разбирают по точкам слышанное. То предлагают, чтоб играл «мягче, да напевнее», то требуют — «повеселее, да пожарче», «не сбивайся — глаже играй», «взвни-мись повыше, играй потоньше, красивше» — вот что приходится слышать гармонисту непосредственно при своей игре. В тесной связности творческих моментов с массой, в свободе и необязательности следовать предыдущему и состоит преимущество народного коллективного творчества. То, что неприятно и чуждо, что не захватывает и не располагает к себе — отбрасывается и отмирает сразу. То, что отвечает запросам и вкусам — решительно входит в художественное богатство и культивируется на протяжении долгого вре-

мени в зависимости от удовлетворяемости тех запросов, которые к нему предъявляются. Вот любопытные «беседы» с «деревенскими художниками», проливающие яркий свет на их отношение к своему творчеству.

«От ребят, а больше всего от девок,— говорит гармонист,— только и слышишь, что играй, да играй веселее. И никакого проходу и отступа нет. Учился играть один, самоучком, все подмечанием, прислушиванием. Где-нибудь на гулянии хороший гармонист играет, я и замечаю у него все: и то, как он пальцы перебирает, и как мехи растягивает в каком месте и при каких ладах. Сперва песня не сразу дается, а местами. А потом, когда приобщишься, где какой голос держится — подбирать становится легче. А научился,—проходу не дают, чтоб играл, и отказаться нельзя — обижаются, а то и фуражку на голове поправят. Наше дело не то, что в городской чайной: вышел, сыграл, поклонился и кончено. Иногда в праздник по три дня жарить—пальцы деревянеют и в ушах звон, а того, чтобы отказать—в нашем обиходе этого нет».

«Частушек знаю около пятисот,—говорит заядлый песенник их, парень лет 19,—а может, и больше. Не со счету они в голове находятся, а целую жизнь собираются, копятя. Но сразу скажу не больше сотни и то с перепинкой, потому что не распелся как следует. Вот, как только заиграет гармошка, так тогда меня как кипятком ошпарит: частушки идут, идут без конца. Одну поешь — других уж с десятком в голове вертится, не знаешь, с которой и начинать. А если да гармонист хороший—так пропоешь весь день без передыху и то, кажись, не надоест. При игре забываешь про все на свете и только и думаешь, как бы пофартовее спеть».

«По-моему почастьки каждый парень и девушка складывают,—говорит девушка, тоже отменная песенница.— Порой вот что-нибудь влезет в голову и вертится там неотступно. А то ляжет что-нибудь на сердце и не отвязывается, пока не вложишь в песню, а попоешь — выравнишь. А то придешь на гулянье, да и расскажешь про

то, что у тебя в голове. Глядишь, повая почастька готова. Только ведь это простая штука, не какое-нибудь ученое замудрепье».

Для наглядности об общем состоянии частушки привожу здесь одну простую таблицу с выводами, полученными из собранного материала в количестве 2.000 частушек, записанных в период с 1919 по 1925 г. Мои наблюдения над частушкой имеют массу недочетов и, конечно, далеки от тех выработанных

научных методов, которыми пользуются современные фольклористы. Во-первых, не всегда записывалась каждая слышанная частушка; во-вторых, был ограничен район записи. Более или менее постоянно приходилось наблюдать только в нескольких деревушках очень глухого района — Ветлужского края. Однако, художественная жизнь деревень достаточно однородна, и поэтому, даже при ограниченности района, приводимая таблица весьма показательна.

№ п/п.	Частушечные жанры	Отделы жанра	Колич. част.	Процент соотнош.		
1.	Ларические частушки.	Любовь 540 ч. Быт 100 ч. Рекрутчина 40 ч. Труд 20 ч.	} 700	35		
2.	Частушки всех жанров отображающие явления революционной действительности.	Идеологически-отрицательные 303 ч. Положительные 227 ч.			} 530	26,5
3.	Антирелигиозные.	Духовенство 241 ч. „Бог“ „святые“ и т. д. 71 ч.				
4.	Неприлично-похабные.	Эротика 319 ч.			} 424	21,2
5.	Заумные и обрывки.	Цинизм 105 ч.	} 34	1,7		
Всего записанных частушек					2.000	100

В приводимую здесь таблицу не вошли плясовые частушки, поскольку они содержат в себе указанные мотивы и примыкают к определенному делению. Как видно, из всего количества 2.000 частушек 26,5 проц. приходится на творчество, порожденное революцией и так или иначе отображающее ее. Это вполне понятно и естественно, так как в первые годы праздничные гулянья молодежи ложились скорее на обоняние и диспуты, чем на обычное времяпрепровождение. Все общественные явления, порожденные революцией, создавали в деревенских социальных группировках те или иные настроения и противоречия, которые поднимали вокруг себя огромный шум и затем отражались незамедлительно в песенном творчестве.

Так, сатирические частушки, появившиеся в огромном количестве за первые

годы революции, насыщены волевым напряжением, нетерпимостью к старому укладу, к отрицательным и нежелательным явлениям в новом. В то время наблюдалась за частушкой неостановимая страсть к желчи, высмеиванию, надругательству. Песенки были злы и бранливы и исключительно сатирические по оформлению. Они не только желчно смеялись, но определенно ругались тогда, ругались зло и сварливо как по адресу политическо-общественных явлений, так и по поводу своего быта, своих человеческих взаимоотношений, не щадя даже интимных, приятельских и сердечных, не щадя ни положения, ни возраста, ни стечения обстоятельств. Образы и эпитеты острыми иглами вонзались в своих жертв, злость и ненависть содержания направлялись в самые больные, сокровенные места. От таких песенок до-

сталось не мало головотяпам, простофилям, попам, собюрократам, чинушам, запахарям, воровокам, дряхлым дедам, сварливым свекровушкам, комиссарам и председателям, примазавшимся к новой власти и обдeldывавшим свои шкурнические и грязные «дела и делишки». И поскольку такая частушка являлась выражением известных общественных настроений, она сыграла большую роль в деле пореволюционного упорядочения жизни, в деле формирования новых взглядов, нового сознания и новых взаимоотношений.

Эта бушующая стихия сатиры в народной поэзии держалась до самого нэпа. И только с приходом последнего она стала понемпогу спадать и утихать, стала уступать свои позиции лирике, любовному содержанию, добрым и спокойно-бодрым настроениям, обычному художественному оформлению.

С наступлением полосы мирного строительства, с улучшением материального благосостояния, с «приходом в себя» после оглушительных революционных событий—в творчестве снова стали преобладать: романтика, эпос, лирика, добродушный, «затейливый» юмор.

Преобладающее большинство частушек, идеологически отрицательно воспринявших современность, объясняется временем записи материала, происходившей между 1919 и 1923 гг., в период военного коммунизма, когда в деревне стоял острый кризис, — и экономический и культурный. Если говорить о настоящем времени, то общее количество частушек о революции приближается (предположительно) к 60 проц. всей частушечной массы. Этот отдел частушек увеличивается параллельно с ростом частушек вообще. В большинстве увеличение положительных частушек происходит за счет идеологически отрицательных, а не за счет любовной лирики. Так, в 1919 г. положительных было только 4 проц., в 1920—1923 гг. их уже 10 проц., а в 1923—25 гг. их уже около 44 проц. В 1926—27 гг. частушек положительных с точки зрения революционности — т. е. приносящих к положительным частушкам, бичующие кулака, бюрократа, головоотяпство, производимое совчиновников

и т. п. — уже все 95 проц., а отрицательные в полном смысле этого слова довольно редки. Это говорит за то, что песенки, относящиеся к до-нэповскому периоду, начинают забываться и отмирать, а современные нежелательные явления: разводы, растраты, злоупотребления и т. п. хозяйственно-бытовые болячки — отображаются гораздо апатичнее, чем раньше. Это объясняется тем, что взрослая молодежь теперь менее распекает частушек на общественно-политические темы, чем подростки до 15-летнего возраста. «Кавалеры» и «барышни» предпочитают неть о «влюблениях и расставаниях» и т. п. «завлекательных» мотивах. На эту тему частушки создаются с неощущаемой страстью к внешней расфранченности и словесному щегольству. Вот примеры:

До свиданья, до свиданья,
Модная забвеночка...
Вот идет, идет с горы,
Мои антелегеночка...
Шел я лесом, антиресом,
Антиресная трава... и т. д.

Антиресный кавалер
Сердце беспокоится.
Разрешите, кавалер,
С вами познакомиться...

Антирелигиозные частушки, составляющие внушительный по объему отдел, увеличились в числе за счет любовно-бытовых и получили наибольший расцвет исключительно за годы революции. Здесь сыграли роль антирелигиозные кампании в деревне, влияющая комсомольских настроений на остальную молодежь.

Любовно-бытовая лирика за годы военного коммунизма уступила свое первенствующее место жанру общественно-политических частушек. Но в связи с переходом страны на мирное строительство и ростом материального благополучия и некоторой бытовой устроенности, этот жанр снова увеличивается как за счет других жанров, так и за счет отмирания «чудных месяцев» и т. п. протяжных песен и устаревших частушек. Относительно отмирания последних можно сказать только то, что забывается частушка прежде всего из-за устаревания содержания, потом из-за отсутствия в ней художественной свежести и, наконец, из-за

недостаточности в ней новых поэтических приемов и изобразительных средств, какие «в моде» в данное время.

Удручающе громадное количество «похабных» частушек объясняется исключительно разнузданностью нравов на гуляньях, обусловленной невероятными материальными лишениями и обострившимся кризисом духовной культуры. В настоящее время с подъемом деревенского культурного уровня заметно уменьшается их количество.

Не безынтересно упомянуть о расцвете вариантов частушек, на каждую сотню которых приходится в среднем около 127 вариантов. Такое огромное количество их вызывается в большинстве случаев желанием поскорей откликнуться на вновь возникшее событие или поскорее запечатлеть то или иное свежее настроение. Чтобы не замедлить с творческим процессом и не затрачивать энергии и художественного материала на психологические параллелизмы, которыми частушки обычно и начинаются, часть нового произведения прикладывается к части старой частушки, логически наиболее близкой. Таким образом, значительно облегчается создание нового произведения.

Распевают частушку все возрасты — от начинающего говорить ребенка до развеселившегося старика. В связи с отмиранием старых песен частушкой не гнушаются даже и взрослые, хотя констатировать серьезность исполнения в таких случаях еще рано. Обычно под хмельком, при шутках, в легком настроении поется частушка взрослыми. Иногда при работе, в уголку, на устرونье пожилые еще продолжают распевать старые песни, но в обстановке праздника и гулянья, где преобладает молодежь, живет, главным образом, частушка. Необходимо еще отме-

тить, что в деревне наблюдается наплыв песен из городских окраин и пригородов, в роде: «Азбулат удалой», «Далеко в стране Иркутской», «На дальнем Варшавском вокзале», «Нет сил, в глазах зарябило», «В лес девчонки за грибами», «Пойте вы, клавиши, пойте», «Кирпичики» и некоторые песни Демьяна Бедного. Страсть к «модным романцам» большая, как и вообще к городскому быту, нарядам, манерам вести себя в обществе. Мною записано из уст девушек большого села Юрина — поселение полугородского типа Мар-области — известное произведение Пушкина. В этой устной передаче оно выглядит в таком виде:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии венчалной.
Чего ты сохнешь обо мне,
Злодей жестокий и «начальный».
Уехал в Грузию навеки,
Меня покинул сиротой,
Тебя прошу я, бог с тобой,
Но я осталась жить калекой.
А мы могли любить сердечно
И счастье в жизни увидеть.
Но ты порвал любовь беспечно,
И мне приходится страдать
Не пой, красавица-подруга —
Любви ушедшей не вернуть!
От нежных песен тяжелее
Болит страдающая грудь.

Приблизительно в такой же интерпретации приходилось слышать Лермонтова, Некрасова и Кольцова. Как произведения, взятые из литературных источников, так и остальные песни и романсы, заимствованные у города, переделываются на «свой лад» и в каждом отдельном месте распеваются по-своему.

Частушечный материал записывался мною, а также и другими лицами по моей просьбе в Ветлужско-Керженецком крае, Нижегородской, Костромской и Вятской губерниях, в Казанской губернии, Козьмодемьяновского каптона и частью в других центральных губерниях, особенно Поволжских.

5. КАК НАДО ПИСАТЬ О ДЕРЕВНЕ¹⁾

В. Соловьев

В свое время в целях расширения посевной площади был проведен ряд мероприятий по урегулированию арендных отношений в деревне, в результате которых значительная доля (до 25 проц.) прироста посевной площади шла за счет роста арендного фонда.

В основном это расширение аренды было использовано в интересах крестьянина-середняка, так как кулацкие хозяйства играли в образовании арендного фонда крайне незначительную роль. Но некоторая концентрация арендных земель в руках кулацких слоев деревни все же имела место, и этот рост капиталистических тенденций поставил особо остро вопрос о производственной помощи бедняку в организации его сельского хозяйства.

Необходимость дальнейшего укрепления социалистического сектора деревни, внедрение трактора и механизация хозяйства привели к тому бурному росту колхозов, свидетелем которого мы теперь являемся.

Колхозы постепенно становятся подлинной базой полного социалистического переустройства деревни, способствуя развитию хозяйственной самостоятельности бедняцких и середняцких слоев. Но этот переход от старых арендных отношений и хуторского хозяйства к более высокой форме хозяйства коллективного вызывает естественное противодействие и наиболее отсталых и кулацких элементов деревни.

Что же при этом делается в деревне, как медленно и с какими трудностями строится новая социалистическая жизнь? Как почувствовать происходящие сдвиги не через отвлеченные цифры статистических таблиц (к тому же неизбежно запаздывающих), чего ждет сама деревня?

Исключительно своевременно отвечает на эти вопросы книга А. Аграновского. Правда, автор поставил перед собой более узкую задачу изучить

одну волость Смоленской губернии, показать, куда завело деревню старое руководство; что из себя представляет новый волостной аппарат, как ускорить процесс оздоровления деревни.

«Автор-газетчик», «газетный работник пишет о конкретных людях и вещах», «никаких обобщений, никаких претензий на «всемирную историю» — предупреждает А. Аграновский о себе и своей книге. Но в таком случае помимо его желания и воли получилась именно та конкретная деревня, знание которой нам совершенно необходимо. И показана эта деревня не в схемах, не поверхностно, а в выпуклых, подчас художественных образах.

Живо дано кулацкое собрание хуторян, которые полностью сохранили идеологию столыпинских времен.

Ехидные вопросы, факты «очевидцев», бесконечные «почему» (почему рабочие покупают кровати по 250 рублей?).

Своего мнения никто не высказывает прямо. «Кулаки никогда ничего нигде не предлагают. Они «полагают».

— А Рыков какой, извините, специальности?

На ряду с умелой организацией кулачества Аграновский показывает, с какими трудностями идет строительство новых колхозов и борьба за укрепление и сохранение старых.

— Мы ведь всей деревней объединимся.

— А если не всей?

— Тогда не пойду.

Такая «левая» постановка вопроса объективно тормозит и срывает коллективизацию деревни.

Скупыми жизненными чертами дан образ деревенского левака Кузьмы Харитоныча. В паре с ним идет Павел Петиев, который за коллективизацию строго «равнодушных» хозяйств, так как «бедняков много, а людей мало».

Хорош очерк «О шоколаде», посвященный учительству. Он проникнут глубокой жизненной правдой и большой любовью к советской сельской интеллигенции.

¹⁾ О книге А. Аграновского: «Через брюкву к социализму». Москва. «Моск. Рабочий». Тираж 10.000. Стр. 216. Цена 60 коп.

Вот один эпизод.

«Морозная лунная ночь. Издали маячит огонек, и лошадь, почуввав жилье, напрягает последние силы. Обгоняю темную человеческую ленту. Учитель после занятий возвращается домой в свою деревню. Его провожают ученики — бородастые крестьяне... Ликбез.

— Садитесь, товарищ, подвезу.

— Спасибо, я как-нибудь доплетусь. Ребят не охота оставить».

«Чем не романтика»? — спрашивает Аграновский, а сам отвечает, что такие «песни революционной романтики несутся уже из всех углов страны!»

Интересен и художественно реалистичен образ Савкина, который из бедняка стал середняком. Окружающие считают Савкина эсером, сам Аграновский признает, что у Савкина есть «заскоки», что Савкин не совсем верит в возможность «полной» коллективизации деревни, «пока, конечно», что он «герой первоначального накопления».

И тем не менее Аграновский имеет мужество встать на защиту Савкина.

«Товарищ Савкин, руку!» — кончает он свой очерк.

В связи с этим не бесполезно будет вспомнить об одной рецензии некоего М. Бочачера («Вечерняя Москва», 21/IX, № 218), приложившего заметные усилия, чтобы «доказать», что симпатии В. Ряховского (см. очерк «Колдун», «Новый Мир», № 7) на стороне кулака Девкина.

Должен ли советский очеркист и писатель-художник обязательно прикрашивать жизнь, подавать ее в благожелательно-сюсюкающем виде или он может и обязан писать правду о том, что есть, что он видел, что узнал и что, по его мнению, знать нужно и полезно в интересах советского социалистического строительства, как бы эта правда подчас не была горька?

Можно ли писать о кулаке, передавать его настроения или касаться этих тем не рекомендуется?

Даже Бочачер вынужден признать, что и пролетарские писатели пишут о кулаке, передают их мысли и чаяния, но «пролетарский характер творчества этих писателей узнается из симпатии (подсознательной) к тем или иным героям и их действиям и чаяниям», но

при этом он добавляет, что «симпатии Ряховского — и слепому это ясно — на стороне Девкина».

Так ли это? Если без предвзятости прочитать очерк «Колдун», если не желать наперед во что бы то ни стало ошельмовать автора и опорочить журнал, если не быть слепым, которому «все ясно», то всякий зрячий, если он добросовестный человек, признает, что симпатия Ряховского, — не только подсознательная, но явная, — на стороне новой деревни, а пишет он о «колдуне» Девкине потому, что считает заслуживающим серьезного внимания факт появления в деревне таких людей.

Индивидуализму и толстовству Девкина Ряховский противопоставляет свои высказывания о том, что «обновить жизнь один не может, надо всем тесной стеной идти», что барская земля, на которой сидит Девкин, должна была быть отвоевана общими усилиями, что «только путем завоевания машины, путем покорения ее организованному человеку, трудовому, возможно изменение проклятых условий».

Девкин также начинает понимать, что деревне «нужны коллективы и тракторы». Это он понимает умом, но, говоря словами Ряховского, «думая одно, он делает совершенно другое».

Вскрытию обеих сторон хозяйствования Колдуна и посвящен очерк Ряховского. Ряховский не побоялся сказать правду о Девкине, чтобы показать нам, откуда растут кулацкие настроения, и дал нам возможность их видеть и с ними бороться.

Аграновский посмел протянуть руку «эсеру» Савкину. Оба сделали нужное дело, и не «бочачерам» рядиться в тогу блюстителей политической ответственности.

М. Бочачер же важен не сам по себе, а как симптом отношения некоторой части критиков, выхватывающих отдельные фразы и растекающихся мыслью по древу сочиненной сказки.

Теория и практика правого уклона требует максимального внимания, необходима резкая борьба со всеми кулацкими и «деляческими» настроениями в городе и деревне, но для этого прежде всего надо знать, что про-

исходит в деревне, а не замазывать вопроса декламацией по поводу «симпатий» Яховского.

В заключение еще несколько слов об очерках Аграновского.

Книга в целом оставляет глубокое, волнующее впечатление. Многие писатели найдут, что взять и чему по-

учиться у такого «газетчика», как Аграновский.

Нам нужна правда о деревне, правда эта должна быть классовой, она не должна скрывать плохое, она не должна прикрашивать действительности побрякушками дешевой идеализации.

Эта правда живой жизни чувствуется у Аграновского.

6. РЕПОРТАЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

(Письмо в редакцию)

Вяч. Полонский

«Веч. Москва» напечатала отчет о диспуте «Писатели и политграмота». Отчет утверждает: «В. Полонский защищает Пильняка». Отчет утверждает: «У большинства слушателей создалось убеждение, что редактор «Нового Мира» всячески старался преуменьшить вину Пильняка».

Что значит: «защита Пильняка»?

Пильняк, написав антисоветскую вещь, отвергнутую советской печатью, напечатал ее в эмигрантском издании, т. е. поступил как классовый враг. Этот факт был предметом диспута. Защищая Пильняка, Полонский — это ясно — «преуменьшал его вину», т. е. отрицал одиозность и контрреволюционность его поступка, находя для него оправдания. «Всячески преуменьшать вину» — это и значит ослаблять возмутительный смысл апелляции к белогвардейской эмиграции.

Такой и только такой смысл вытекает из заметки «Вечерней Москвы». Такого и только такого вывода желает репортер, вводя в заблуждение газету. Но это ложь.

Репортер обманывает и редакцию и читателя. Он делает это сознательно, ибо говорит о «большинстве» аудитории, хотя ни малейших оснований для этого у него нет. Он не заметил и того обстоятельства, что на диспуте, где председательствовал Ф. Раскольников, а докладчиком был Борис Волин, ни Б. Волин, ни Ф. Раскольников, произнесший заключительную

речь, не отметили моей «защиты Пильняка». Как это могло произойти? Да просто потому, что Пелузо, выступивший с протестом, не говорит по-русски и плохо также понимает русскую речь. Репортеру «Вечерней Москвы», как известно, сделавшей своей специальностью покрывать грязью имя редактора «Нового Мира», показался благодарным повод воспользоваться глупым выступлением Пелузо, речь которого Б. Волин, переводя на русский язык, принужден был сильно изменить, чтобы лишить ее неприемлемого для нас характера.

Восстановим истину.

Касательно напечатания «Красного дерева»: я квалифицировал это как акт контрреволюционный, какими бы соображениями Пильняк не руководствовался. Я заявлял, что перекличка с эмиграцией, апелляция к эмиграции возмутительна и преступна, что буря негодования, вызванная этой апелляцией, естественна и правильна, наказание Пильняком заслужено. Я указывал далее на то, что антисоветский характер «Красного дерева» не является случайностью, что не один Пильняк сейчас под антисоветским углом зрения рассматривает происходящее. И, ссылаясь на свою статью, процитированную до меня т. Канатчиковым, я объяснял это тем, что Пильняк — мелкобуржуазный романтик — колеблется от реакции к революции, что делал он это и раньше, что в его

прежних произведениях можно найти и революционные мотивы, и мотивы реакционные. Сейчас Пильняк, а вместе с ним и некоторые другие попутчики рванулись в сторону реакции. Это потому, что сложность переживаемого момента, обострение классовой борьбы, трудности реконструктивного периода заставляют колебаться наименее устойчивые элементы нашего писательства. И к этому обстоятельству надо отнестись с полной серьезностью. Суть не только в том, что Пильняк написал антисоветскую вещь, суть в том, что наблюдается отход от революции некоторых попутчиков и с этим надо бороться. Как? Я говорил: из истории с Пильняком надо извлечь пользу для нашей литературной общественности. Но польза эта заключается не в том, что мы забьем Пильняка в землю, уничтожим его. Такой задачи мы себе не ставим. Мы не исключаем возможности того, что Пильняк вернется в среду советского писательства. Руководя попутчиками, мы не должны в случаях, подобных обсуждаемому, ограничиваться одними мерами осуждения и сурового общественного воздействия. Мы должны также помогать им изживать всяческие отклонения от правильного пути с тем, чтобы уничтожить возможность повторения таких вещей. Говоря о «перегибах» и «излишествах» кампании, я ясно сказал, что речь идет о товарищах из Сибирской АПП, требовавших ареста и изгнания Пильняка. До моего выступления т. Раскольников сообщил мне, что получил несколько записок, спрашивавших: почему Пильняк не арестован и не выслан? Это и заставило меня коснуться перегибов и подчеркнуть, что наша борьба с уклонами попутчиков должна вестись не только дубинкой, но мерами товарищеского воздействия, разъяснения, убеждения.

В своем первом выступлении я не считал нужным рассказывать аудитории, что я, когда Пильняк впервые прочитал мне первый вариант «Красного дерева», в присутствии некоторых товарищей я, Полонский, объявил ему, что повесть эта контрреволюционна и напечатана быть не может. После прочтения мне второго, переделанного

варианта я повторил ему то же самое, заявив, что «Новый Мир» эту повесть печатать не будет. Когда Пелузо, уловивший в моей речи несколько эпитетов, связанных с именем Пильняка (Пильняк — талантливый писатель, Пильняк писал и революционные вещи), выступил со своим диким протестом, я принужден был это сказать аудитории. При этом подавляющее большинство слушателей, не заинтересованных в том, чтобы травить редактора «Нового Мира», — я утверждаю это категорически, — подавляющее большинство поняло меня правильно и не приписывало мне оправдания Пильняка в его апелляции к белогвардейщине.

Всякий, кто читал мою статью о Пильняке, поймет, что «Красное дерево» не было для меня неожиданностью.

«...Если бы Пильняк, мелкобуржуазный романтик, знал с первых шагов, где правда — в реакции или в революции, — его творчество было бы иным...»

«...Он как-будто с теми, кто идет вперед, в «завтра», но в то же время как-будто с теми, кто тянет назад, в прошлое. Среди революционеров он кажется иногда реакционным. В реакционном стане его объявили бы революционером. Такова судьба всякого, кто не умеет решать таких вопросов сразу: или там, или здесь. Именно поэтому творчество Пильняка вызывает протесты...»

«...Двойственность его произведений, неустойчивость его социальных воззрений характерны для целого слоя мелкобуржуазных интеллигентов, которые уже вышли из «тупика», но еще не вошли крепким звеном в революционную современность. Их привлекает и отталкивает революция, они ее любят и ненавидят, хулят и славословят, ждуют от нее чудес и не могут примириться с ее терниями. Они все еще между двух берегов, ближе к левому, чем к «правому», но еще не ступили обеими ногами на его раскаленную почву...»

«...От Пильняка можно ждать сурпризов и нельзя с уверенностью сказать: каково будет его новое произведение — плохо или хорошо, революционно или реакционно. Последнее время он как-будто твердо повернул налево.

Это очень хорошо. Но насколько твердо он будет в таком решении? Читатель в нем не уверен. Уверен ли в себе сам писатель?»

(«О современной литературе», критические статьи, ГИЗ, 1929. Стр. 101, 103, 108).

Эти строки напечатаны мною более двух лет назад. Тогда Пильняк написал «Россия в полете», несколько позднее «Сормово». Сейчас он рванулся вправо — и в нынешний момент он не только оказался ближе к «правому» берегу: он на самом правом берегу. И если, вместо того, чтобы вернуться на наш берег, он думает «всерьез и надолго» бросить якорь около берега врагов, Пильняк собственной рукой вычеркнет свое имя из списка советского писательства.

Но в это я не верю. Ибо, если бы я был убежден в том, что, написав анти-советскую вещь, Пильняк, учитывая наперед все последствия, весь политический смысл своего поступка, передал ее для публикации белогвардейцам, я настаивал бы на высылке его туда, где он найдет себе друзей и единомышленников.

Но, повторяю, такого убеждения у меня нет. И потому я считаю необходимым не бить «до бесчувствия» Пильняка, а, жестоко наказав, попытаться вернуть его на путь советского писательства.

Таков и только таков был смысл моей речи.

Надо, кроме того, понять, что дело не в одном Пильняке. История с «Красным деревом» переросла рамки происшествия, связанного с индивидуальным именем. Общественный смысл этого происшествия заключается в том, что «Красное дерево» вскрыло широкий процесс перерождения старого попутничества. Можно сказать, что история эта обнаружила: старого попутничества нет, оно умерло, ушло в прошлое вместе с историческим периодом, его породившим. Сейчас приходится иным содержанием наполнять термин «попутчик». И болотное гниение, какое открылось во Всероссийском союзе писателей, показывает, что говорить следует не об одном Пильняке, а о целом слое советского писательства, который, желая быть советским, на деле либо отсуживается от современности в некоем литературном «бесте», либо активно препятствует этой современности. Широкий общественный смысл явления не следует подменять вопросом о Б. Пильняке, об его индивидуальной вине и об его индивидуальной судьбе.

— Писатель должен быть честен, — сказал в заключительном слове Ф. Раскольников. Это сущая правда.

Репортер — в некотором смысле тоже писатель.

Честность поэтому должна быть обязательна и для репортера.

П О П Р А В К А

В настоящем номере на стр. 176, строка 27 сверху,

напечатано:

Благодаря упрощенному подходу к литературе т. Карпинский в нашем прошлом «не находит крестьянских писателей», заслуживающих этого названия. Ну, а Кольцов, например? Ну, а Никитин, например?

следует читать:

Благодаря упрощенному подходу к литературе т. Карпинский в нашем прошлом «не находит крестьянских писателей», заслуживающих этого названия. Ну, а Кольцов, например? Ну, а Шевченко, например?

Книжное обозрение

1. ЭРИХ МАРИА РЕМАРК «На Западном фронте без перемен». Я. Фрида.—
2. НИКОЛАЙ ШКЛЯР «Свет». Н. Замошкина.—3. А. ФРОЛОВ «Путанная жизнь». Арк. Глаголева.—4. ЛЕВ НИКУЛИН «Высшая мера». Анны Шафир.—5. ВОЛЬФ ЭРЛИХ «Софья Перовская». И. Поступальского.—
6. Б. Л. ДАЙРЕДЖИЕВ «Через отмели». Л. Тимофеева.—7. П. ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ «Бал слепых». Б. Песиса.—8. МИЛИЙ ЕЗЕРСКИЙ «Чудь белоглазая». А. Старчакова.—9. П. ВЯЗЕМСКИЙ «Старая записная книжка». И. Сергиевского.—
10. П. БОБОРЫКИН «За полвека». Н. Прянишникова.—11. Ю. МАРХЛЕВСКИЙ «Литературные наброски» А. Старчакова.

Эрих Мариа Ремарк. — «На Западном фронте без перемен». Перев. с немецкого С. Мятезного и П. Черевина под ред. Дм. Уманского с пред. К. Радека. «Земля и Фабрика» (дешевая библиотека). М.—Л. 1929. Стр. 224. Тир. 50.000 экз. Ц. 35 к.

Эрих Мариа Ремарк. «На Западе без перемен». Авторизованный перев. с немецкого С. Мятезного и П. Черевина под ред. А. Эфроса. «Федерация» М. 1929. Стр. 298. Тир. 10.000 экз. Ц. 1 р. 10 к.

Бесчисленные статьи, восторженные и враждебные. Споры в европейском масштабе, реклама — в мировом. В Германии в течение первых 3 месяцев разошлось 600.000 экземпляров (небывалый для этой страны тираж), во Франции — 72.000 в течение только первых 11 дней. После таких данных не кажется неожиданным сообщение о том, что автору книги «На Западном фронте без перемен» предполагают присудить нобелевскую премию.

В последнее время, кроме книги Ремарка, появились и другие вещи, посвященные мировой войне: в Германии — «Война» Л. Ренна, «Призыв 1902 года» Э. Глэзера, «Солдат Зурен» Г. Вринга, анонимная книга «Похождение солдата Эмиля Шульца, прозванного шеряхой, описанные им самим»; во Франции — «Семь последних язв»

Ж. Дюамеля, «Morseau-la-Rose» Эли Ришара. Чем же объясняется, что на долю именно книги Ремарка, а не какой-либо другой из названных здесь, выпал такой редкий успех, что именно эта книга преодолела безразличие широких читательских масс особенно в Германии?

Конечно, прежде всего такой «взлет» объясняется художественными достоинствами этой вещи. Материал, которым оперирует Ремарк (фронт, окопы), — тот же, с которым имели дело Барбюс, Лацко, Нежелен, Ренн и другие авторы «дневников войны», многочисленных в послевоенной западной художественной литературе. У Ремарка те же кочующие из книги в книгу, ставшие традиционными эпизоды, сцены: пехотинцы в траншеях, на отдыхе, в отпуску; казарма, атака, госпиталь. Но Ремарком эти эпизоды не просто описываются. «На Западном фронте без перемен» — это прежде всего сводка ощущений рядовых окопных жителей, ощущений чрезвычайно сгущенных, выпуклых, — это наиболее удачная в художественной литературе о мировой войне фиксация тех неотчетливых мимолетных переживаний, из которых война слагается для рядового ее участника. Страх, боль, холод, голод, тоска, отупение — все это в книге Ремарка очень ощутимо, как бы поддается осязанию.

Его метафоры и эпитеты нередко приближаются к той степени точности, от которой неотделима оригинальность. Его образы часто синтетичны, динамичны. У него есть чувство «поэтического кадра» (несколько деревьев, от разрыва всплывающие над лесом; лошадь с разбитой спиной, вертящаяся как карусель,— сидя, опираясь на выпрямленные передние ноги; убитый, у которого оторвана нижняя часть туловища вместе с ногами и во рту которого еще дымится папироска). Повествование Ремарка эмоционально приподнято, вместе с тем он не анализирует происходящих событий; его книга должна захватить тех читателей, которых абсолютно правильные рассуждения утомили бы, оставили бы холодными. Кроме художественных достоинств в хронике Ремарка привлекает внимание еще одна особенность. Солдаты, от имени которых писатель говорит, — восемнадцатилетние гимназисты, обманутые речами о долге, попавшие в казарму и потом — на фронт вместо того, чтобы готовиться к экзаменам. Писатель рассказывает о трагедии молодого поколения, раздавленного, опустошенного войной. «Нам было по 18 лет, и мы начинали любить мир и жизнь; нас же заставили стрелять по всему этому. Первая разорвавшаяся граната угодила нам в сердце. Мы отрешены от деятельности, от стремлений, от прогресса. Мы уже в это не верим: мы верим в войну... Наше знание жизни ограничивается знанием смерти... Мы сожжены фактами... мы беспомощны, как дети, и опыты, как старики...—я думаю, мы погибли...»

Затем для книги «На западном фронте без перемен» характерно отсутствие активного протеста против войны и понимания как и почему она возникла, отсутствие какого бы то ни было идеологического стержня (автор считает книгу аполитичной). Война — это иррешества трупных крыс и иррешества тяжелой артиллерии, томительная пытка жизнью; те, кто приказывают, — «самые умные головы мира» — «изобретают орудия и слова, чтобы сделать все это более утонченным и длительным»; протестовать, бороться? сплотиться и пойти против?.. — «но против

кого, против кого...» Так именно воспринимали войну, так относились к ней многие ее рядовые участники. Сколько из оставшихся в живых солдат знает теперь, через 11 лет после окончания войны, как ответить на вопрос «против кого». Но буржуазным пацифистам по душе пассивный нерволюционный протест, «очищенный» от идеологии показ «зверств войны», отсутствия ответа на вопрос «против кого». Успехом среди пацифистски настроенных кругов буржуазии также в значительной степени объясняется «взлет» книги Ремарка.

Наконец, эта вещь может быть хорошо принята и теми рядовыми немецкими читателями, которые склонны идеализировать поведение немецких солдат во время войны. Писатель романтически идеализирует их товарищескую спайку «смертников», рассказывает об их лишениях и настойчивости. «На одного голодного усталого немецкого солдата приходится пять сильных и свежих противников. На один немецкий солдатский хлеб приходится пять банок мясных консервов у неприятеля. Мы не побеждены, ибо, как солдаты, мы опытнее и лучше, — мы просто раздавлены и оттеснены назад во много раз превосходящими нас силами». Такая «романтическая» подача бывших в действительности событий равносильна частично признанию героики империалистической войны, — и представители в различной мере демократически-реакционных слоев немецкой буржуазии, сделав ударение на этой стороне книги, сами сумеют продолжить рассуждения о том, что «война была преступна, ужасна», но «немецкий народ не побежден, Германия еще покажет себя».

Таким образом, выдающаяся книга Ремарка об империалистической войне, не обладающая идеологическим стержнем, не стремящаяся вызвать действительное отношение к войне, может иметь успех в нескольких враждебных друг другу социальных слоях. Левая европейская критика правильно поступила, обратив на это внимание. Это должны иметь в виду и советские читатели.

Необходимо отметить особенности текста в издании «Федерация». Здесь довольно много отклонений от немецкого текста («делает вид, что опирается на линейку» вместо: «делает вид, что поправляет пенснэ» — стр. 90; «пьем прохладную воду» вм.: «пьем воду, приготавливаемую для охлаждения пулемета» — стр. 123; «пулеметный огонь прекращается» вм.: «пулеметный огонь усиливается» — стр. 222 и др.). Некоторые фразы не переведены вовсе или слишком «лаконично» пересказаны (стр. 159, 224 и др.). Встречаются и просто корявые обороты: «к у с а л и тебя нашими г у б а м и», «они не слышат свистящее тихое жужжание» и др. Несколько подобных корявых оборотов налицо и в издании «Федерация», и в издании «ЗИФ» («заползали под кровать и появлялись на другой ее стороне», «для нас уже перестало казаться...»).

Я. Фрид.

Николай Шкляр. — «Свет». Повести и рассказы. Изд. «Федерация». 1929. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к., переплет 30 к.

В художественной литературе нельзя, конечно, считать первоценным методом прямого противопоставления одних элементов произведения другим (по принципу черный — белый, красивый — безобразный и т. п.). В искусстве переходы цветов и оттенков, а также многосторонние взаимодействия частей существенно необходимы. Столкнуть лбами, напр., мир «тонких мыслей» и мир безудержной в своем активизме и грубости «шпаны», как это сделал немолодой уже писатель Н. Шкляр в рассказе «Ш. Н. И.», право, не так уж трудно и почетно. Но в пределах даже этого метода есть широчайшие возможности для углубленного раскрытия темы. В своем архитектурно и декоративно богатом рассказе Н. Шкляр это «прямое» столкновение обставил столь оригинально и тонко, что не чувствуешь в нем примитива и склоняешься к мысли о равноценности всех художественных методов, если ими талантливо пользуются. В «Ш. Н. И.» все — в лучшем

смысле слова — эстетизировано: и красочный, выпуклый мир игрушек, и рыжие со шрамами беспризорники, и гостеприимный хозяин игрушек, ученый, писатель, эстетизирована сама идея рассказа, прогрессивная и социально правильная: молодые «ревизоры» и «инспектора» далекой от жизни учености, коммунистически настроенная «шпана» преображает и перестраивает игрушечье царство националов, собирает их, разрозненно живущих на полках и шкафах, в одно интернациональное целое. Получается живая картина, апофеоз, победа «дикарской» свежей фантазии над коллекционированием и расщепленным миром представлений ученого собирателя. Читая этот рассказ, в котором большой вкус и красочные движения сочетаются с большой идеей, я все время думал о заложенных в этом произведении моментах, пригодных для либретто балета, о маге и волшебнике Стравинском и дальнейших тематических возможностях развития кукольного театра...

Судя по этой вещи и отчасти рассказу «Телеграмма», можно полагать, что Н. Шкляру удаются темы, в которых люди, так сказать, силуэтизированы, а сюжеты овеществлены, где игра (буквально, и как элемент искусства) выдвигается на передний план произведения. Не оттого ли так свободно и живут черты здорового эстетизма в некоторых вещах Н. Шкляра?

Неудивительно поэтому полная неудача, постигшая писателя в совершенно «неигровой» повести «Братья», начатой еще в 1913 г. и законченной совсем недавно. Свести религиозную темную тяжелую жизнь одного из братьев к слабоумию, а революционность другого к убийству и впоследствии «колхозничеству», — значит вульгарно понять и ложно разрешить замысел. Обилие в повести всяческих, очень старомодных даже для 1913 года, «психологизмов» (предчувствия, совпадения, сны и пр.) заводит ее куда-то вкось и в полную неинтересность. А «колхозный» конец (дата написания его 1928 год!) одного из братьев напоминает прозрачную лакировку первоначального сюжета и неудачное под-

новление ветоши. Иные, но столь же органические для писателя недостатки в повести «Свет» — о приспособившемся и хитром мельнике, «за свой счет и безвозмездно» электрифицировавшем деревню. Повесть эта композиционно, кстати сказать, никак не устроенная и, наоборот, со стороны языка вполне устроенная, по времени написания предшествует «Трансваалу» К. Федина. Но в отличие от нее она натуралистически обыденна и лишена обобщающего значения.

Писательский стаж Н. Шкляра достаточно велик. Пишет же он очень мало. Не потому ли так неопределенно до сих пор его творческое лицо?

Н. Замошкин.

А. Фролов. — «Путанная жизнь». Повесть «ЗИФ». М. 1929 г. Стр. 224. Ц. 1 р. 60 к.

Намерения автора «Путанной жизни» были отличные: он хотел показать «историю» жизни старого рабочего, коренного пролетария, большевика, прошедшего большую жизненную и революционную учебу, побывавшего и на дореволюционных капиталистических заводах, и в подполье, и на американских шахтах, и у Горького на Капри, прошедшего всю гражданскую войну на фронтах и, наконец, выдвинутого на ответственную партийную работу.

Однако, эта схема авторского замысла так и осталась схемой, не получившей художественной конкретизации. Повесть Фролова с художественной стороны не более как примитив.

Художественную психосоциографию центрального образа повести (Нагарова) заменяет поверхностная регистрация различных фактов его жизни. Нагаров показывается исключительно с внешней стороны, без той художественной углубленности, с каковой показывают нам рабочих хотя бы Ляшко, Никифоров и др. Так, например, один из важнейших периодов жизни Нагарова — пора его общественно-политического созревания — совершенно выпадает из сферы художественного показа. Вместо последнего читатель находит лишь только сухой и краткий протокол (см. стр. 54—58). Художествен-

ное повествование у Фролова сплошь и рядом подменяется лишь только планом такового.

«Изображаемый» автором мир (рабочий быт до Октября, гражданская война, период соц. строительства) не освещается какими-либо художественно свежими деталями. Рассказ Фролова бледен, бесстилен, местами переходит в обычный штамп (батальный примитив в гл. 18, ч. 2; любовный примитив в гл. 2, ч. 2 и др.).

Равным образом в повести нет и какого-либо интересного, ценного, «документального» социально-бытового материала, заставившего бы нас примириться с художественной слабостью вещи.

Более выразительны отдельные рассказы, вернее, миниатюры из жизни русского рабочего до революции. Облики рабочих здесь набросаны более яркими и уверенными штрихами. Наблюдается композиционная целостность. Но и в этой части книги нельзя не отметить наличие схематизма, напр., в этюде «Тоська». Последний не более как набросок, требующий дальнейшей художественной разработки, углубления, детализации. *Арк. Глаголев.*

Лев Никулин. — «Высшая мера». Повести и рассказы. Изд. «Федерация». М. 1929. Стр. 171. Цена 1 р. 20 к.

Центральной вещью этой книжки является повесть «Высшая мера». (На сцене она идет почти без переработки под названием «Инженер Мерц», по имени главного действующего лица.) Тема повести — интеллигенция в условиях советской России, — использованная частично драматургами и романистами, осложнена здесь темой о белой эмиграции.

Не знаю, была ли задумана автором эта повесть в плане драматическом или беллетристическом, но в ней есть как раз те черты, которые приближают ее к пьесе и одновременно составляют ее недостатки как литературного произведения. Они заключаются в преобладании диалогов, внешнего описательства и в ставке на внешнюю занимательность. Действующие лица в своих, иногда слишком длинных, монологах высказывают свое социальное

кредо. От этого повесть приобретает публицистический оттенок. Публицистичность сама по себе еще не недостаток. Но плохо, когда автор заставляет говорить своих героев декларациями там, где должен быть показан сложный внутренний процесс. Таким приемом создается психологическая упрощенность, искусственность положений. То, что со сцены может восприниматься, как должное, что скрадывается или дополняется игрой актеров, представляется читателю неубедительным.

Во внутренней коллизии, переживаемой инженером Мерцом, есть доля подлинной драматичности: скрыть или сообщить о ставшем ему известным подготавливаемом покушении на членов правительства? Для советского работника, строителя и энтузиаста (таким именно выводит автор инженера Мерца) тут, конечно, двух мнений не могло быть. С этой стороны развязка разрешается вполне логично. Внимание заостряется скорее на любовной интриге и, главным образом, на аванюре белогвардейца Печерского, приехавшего из Парижа в Москву с заданием организовать террористический акт. Таким образом, вторая тема заслоняется первой и этим самым актуально-общественная сторона повести поглощается авантурным моментом. Получилось нечто среднее между мелодрамой (любовь, измена, раскаяние, примирение) и авантурной повестью (заговор, слежка, убийство, провал).

Тем не менее, в повести «Высшая мера», как и в некоторых других вещах данного сборника, есть интересные моменты, относящиеся преимущественно к характеристике русской эмиграции. Никулин с точностью очевидца изобразил ее в обстановке уже устоявшегося быта и сумел показать ее идейную ничтожность и трагическую нелепость ее положения. Вместе с тем, он дал ряд живописных зарисовок улиц, кафе, гостиниц, дансингов Парижа и описание берлинского Луна-Парка, характеризующего вкус его посетителей — ограниченных, благонамеренных немецких буржуа (очерк «Парадиз»).

Умение Никулина воспроизводить речь различных социальных слоев с ее

типичными особенностями позволило ему очень живо передать непринужденный рассказ бывшего коменданта г. Киева, червоного казака Емельяна Михайловича Савчука («Зуб»). Этим рассказом удачно заканчивается книжка, в общем небезынтересная, хранящая следы свежих, пусть и не очень глубоких, впечатлений, полученных советским писателем от заграничной поездки.

Анна Шафир.

Вольф Эрлих. — «Софья Перовская».
Изд-во писателей в Ленинграде. 1929.
Стр. 36. Тираж 1.600 экз. Ц. 60 к.

В начале 1928 г. В. Эрлих выпустил свою первую книгу «Волчье солнце». Автор этой рецензии, разбирая дебютный сборник В. Эрлиха в «Печати и Революции», своевременно отметил, что «Волчье солнце» — книжка насквозь эпигонская, не имеющая положительного значения.

Поэма В. Эрлиха помечена 1926 — 1927 гг. Стало быть, писалась она одновременно со стихами первой книги. Отметить сравнительную ценность «Софьи Перовской» поэтому необходимо. Поэма подлежит особому суду с технической стороны, но идейная направленность книжки и ее соответствие исторической правде — почти несомненны. Повествуя о 70-х годах, В. Эрлих дал хотя и беглое, но правильное понимание того времени.

Уж призрак бродит по Европе,
Уж мысли злы и высоки,
Но в том же сумраке утопий
России дальней огоньки.

Строки «пускай поют, что царь-де спьяну свободу подарил крестьянам, да землю позабыл отдать», характеристики монархов, страницы о студентах и взрыве в Петербурге и некоторые бытовые подробности поэмы идут сюда же. Зачесть В. Эрлиху можно и декларативное заключение («быть может, между двух сражений не делавших поминаль; быть может, в перечне обидном и злоба есть и горечь есть, но в нем же, в списке панихидном, в нем наша слава, наша честь»). Некоторая подозрительность пробуждается тогда, когда поэт начинает о семидесятиках говорить так, как-

будто они остались последними героями революции и не имеют достойных приемников в ряду наших современников (отдельные и не совсем отчетливые строки, — см. хотя бы конец 11 и начало 12 стр.). Но в целом историческая поэма В. Эрлиха публицистических возражений не вызывает. Как вещь относительно удачную, ее можно даже приветствовать...

Против «Софьи Перовской» надо выступать по другой линии. Возможно оставить в покое частные дефекты поэмы (элементарность фабулы, дешевую подчас игру с прозаизмами, ученическое переполнение эпиллога именами чуть ли не всех революционеро-семидесятников и т. п.), но никак нельзя согласиться с эпиграфом: «хрусталь мой волшебен трикраты» (Анненский). До «волшебства» еще очень далеко...

Поэтика В. Эрлиха реакционна. Убеждение, что прежние поэты брались за перо в каком-то «пророческом» экстазе, а нынешние ведут себя пагубно и прозаично (стих у них, по В. Эрлиху, «гремит и тарыхтит, как прицепной вагон на стрелке...») — это выпад консерватора против революционной поэзии (в связи с упадочными и эпигонскими мотивами первой книги такие мыслишки особенно характерны...). Самое забавное в этом апломбе то, что покамест в поэтике В. Эрлиха нет даже частных прогрессивных моментов. «Весьма неважен мой наряд словесный. Еду по старинке» — заранее тшится автор пронически парировать наши удары. К сожалению, с этим признанием надо считаться серьезно. У нас нет места доказывать, что ямб В. Эрлиха ритмически исключительно «старомоден, что синтаксис поэмы изумительно (и не своеобразно) архаичен, что с рифмой последних десятилетий В. Эрлих почти незнаком, что самая композиция поэмы банальна («лирические отступления» — давным давно не новшество...). Но возьмем отдельные примеры рабского повторения прошлого. «Не ученик и не учитель, великий друг, ничтожных брат» — разглагольствовал когда-то Северянин в одном из своих оригинальных стихотворений. «Я не герой и не учи-

тель, ушедших друг, грядущих брат» — покорно вещает В. Эрлих в первых же строках своей поэмы... А сколько в «Софье Перовской» от ходячих стандартов Пушкина? А сколько в ней от неудачного блоковского «Возмездия»?.. Приходится пожалеть, что рецензия не позволяет быть более обстоятельными...

Наконец, не все ладно даже со старым языком. Нельзя говорить: «ее гранит, ее мессия иные требует слова».

Когда при детальном исследовании поэмы натыкаешься на случайные свежие строки, в роде тех, которые относятся к генералу Перовскому («Прикрыта мехом теплой шубы шинели голубая кровь»), — не без раздраженья думаешь, что в целом поэт никакого доверия не внушает.

Под прикрытием темы несомненного значения можно с успехом вредить читательскому развитию...

И. Поступальский.

Б. Л. Дайреджиев. «Через отмели». Роман. Изд. «Земля и Фабрика». М.-Л. 1928. Стр. 317. Ц. 2 р. 20 к.

Романом «Через отмели» Б. Л. Дайреджиев, очевидно, дебютирует. Как и почти всякий дебютант, он дает пищу и для надежд и для опасений, вызывает и на хвалу и на порицания.

Нельзя отказать ему в ряде достоинств: бодрость тона, наблюдательность, знание изображаемой среды, современность темы, некоторое изобразительное умение — всё это необходимо поставить автору в актив. Но велик у него и пассив; прежде всего бросается в глаза поражающая неряшливость в отношении к языку; читатель действительно плывет «через отмели» газетного языка, то и дело попадая в пространные заводы прямо писарского краспоречия; эпитет (вздыбленный волк — 111, вздыбленные груди — 108, вздыбленный, как оголенные нервы, каркас — 101, вздыбленная кровь — 217); сравнения («она — сильная упругая, как дельфин» — 105; «люди остыли, как епанчой покрылись» — 57; заря «как фатой девичье румяное лицо, покрывала озеро» — 82; туча, «тяжеловесная, как салоп» — 84; Ирина «была

упругой, маняще-красивой, как древняя керамика»—179; она же «пересыпала речь цветными сине-песенными образами»—216; «сполах на колокольне почью обогненный... сзывает на бой... звук вихляется рыжим густым звоном»—239 и т. д. и т. д.), всякого рода стилистические «фигуры» (напр., в высшей степени взволнованная героиня во время своеобразной исповеди рассказывает о себе в таком стиле: «выстрачивала ночную парчевую Волгу из пулеметов»—112 и т. п.)—все это производит плачевное впечатление. И нужно сказать, что эта неряшливость не случайна, она вообще характеризует творческий метод Дайреджиева, стоит только посмотреть, например, какими средствами пользуется он, изображая «глубочайшие» переживания своих персонажей («с диким испугом спросила Ирина»—109; «закусив губу и страшно сжав челюсти, спросил Сергей»—122; Сергей «то прыгал, как мальчишка, хлопал себя по голяшкам, то в бешеном порыве прижимал Ирину»—153 и т. д. и т. д. См. стр. 67, 71, 111, 129 и многое множество других; следует еще отметить невероятную способность героя романа к исключительному по своему размаху хохоту и «хлопанью по голяшкам», применяемому во всех возможных случаях жизни; стр. 13, 48, 61, 62 и т. д. и т. д.).

Людей в романе нет; есть всякого рода персонажи, дико сжимающие челюсти или потрясающие «всю округу смехом дурашливым» (310) и выполняющие различные авторские задания. Функции их строго определены с самого начала, и роли расписаны—налицо коллекция твердокаменных большевиков различных видов («кожаные тулупы» новейшего образца), шатающийся интеллигент с положительным знаком, шатающаяся интеллигентка с отрицательным знаком и, наконец, если так можно выразиться,—«вундейвайбы»—женщины сверхмощного типа строительниц социализма (одна из них, напр., (285) является к герою романа с евристическим намерением приобрести от него ребенка (эпизод, между прочим, взятый у Горького), так как «парни здесь—темнота»; надо за-

метить, что герой, сначала пришедший в уныние («какое-то нечеловеческое оцепенение завладело всем телом Сергея, в животном испуге дрожали колени, ныл живот, а язык во рту скис куском мяса, и не было сил его повернуть»), и здесь не упустил случая «захотать громко, на весь барак, перекликаясь с пургой»—286). При помощи всей этой бутафории, небольшой любовной интриги, мелодраматических названий глав романа («кровь победила», «огни закатные, которые не греют», «золотой пламень» и т. п.) и всякого рода других наивных ухищрений автор написал 20 печатных листов (еще Козьма Прутков заметил: «Лучше скажи мало, но хорошо»), и то, что получилось, назвал романом. Казалось бы, что дальше не приходится разговаривать, но здесь автора, как и многих, спасает материал: несмотря на всю стилистическую неумелость и психологическую фальшивость, картина стройки в провинциальном городе, жизнь завода, рабочих, партии, рудников, тайги—все это привлекает и увлекает, тем более, что и знание среды и большой запас бодрости позволяют автору в ряде случаев быть интересным. Беда только в том, что интересный материал совершенно не обработан, художественно не выверен, остался по существу сырьем. Вообще говоря, это явление у нас очень распространено. Если «Война и Мир» переписывалась семь раз, то современные авторы вряд ли всегда дают себе труд перечитать плоды своих вдохновений. Дайреджиев идет по этому же пути и, несомненно, очень далеко: «Написано,—и с плеч долой!..»

Эта странная писательская некультурность, это полное отсутствие «самокритики», безответственность по отношению и к читателю, и к себе, и—главное—к материалу, жестоко страдающему от подобного обращения,—все это наводит на грустные размышления.

И в особенности это грустно по отношению к автору «Через отдели», несомненно обещающему и талантливому. Роман его даже и в теперешнем ущербленном виде интересен и местами увлекателен; если бы он был «до-

ношен», если бы автор его не шел по всем линиям наименьшего сопротивления, если бы он с большим уважением относился и к себе и к читателю — его дебют можно было бы приветствовать с гораздо большей энергией, чем это приходится делать теперь.

Роману предпослано предисловие за подписью А. З., по причинам непонятного характера оно написано в почти восторженном тоне («Роман Дайреджиева — «Цемент» реконструктивного периода» — стр. 5 и т. п.) и является по известной поговорке слишком доброй миной при очень плохой игре...

Л. Тимофеев

Поль Вайан-Кутюрье.—«Бал слепых».

Новеллы. Перев. с франц. С. Бернера и М. Володина. Гиз. М.—Л. 1929 г. Стр. 170. Тир. 4.000. Цена 85 коп.

Советский читатель знает Вайана-Кутюрье, одного из виднейших французских коммунистов, главным образом как политического деятеля. Поэтому большой интерес представляет рецензируемая книга, знакомящая нас с писательской работой Вайана-Кутюрье.

Вещи, составившие сборник, — различного художественного достоинства: от подражательных пьес, в роде «Гигиены», полной репортерско-философской скороговорки в стиле Поля Морана и почти не позволяющей различить мыслей самого Вайана-Кутюрье, до прекрасного «Бала Слепых», в котором все тонкое оружие французской новеллы (не исключая, к сожалению, и ее сугубого эротизма) использовано для гневной сатиры на послевоенную Францию.

В менее удачных вещах сборника ясно сказываются отрицательные стороны писательской манеры Вайана-Кутюрье. В новелле «Первый класс», благодаря бедности, трафаретности бытовых и психологических положений, с первых строк обнажается ядро такого анекдота (вагонного — по месту действия и разработке), который в сущности не стоило превращать в литературное произведение (сомнительного свойства коммунист после нелепой внутренней «идейной» и психологической борьбы поддается чарам соседки своей

по купе, твердокаменной русской эмигрантки).

«Ночной приют» неудовлетворителен по тем же причинам, ибо рассказ о преследуемом революционере, который находит приют у проститутки, — особенно если этот рассказ сделать столь жалобным, как у Вайана-Кутюрье, — трудно поднять выше уровня сентиментального анекдота. К тому же, если бы и удалось это сделать, то еще раньше эта удача выпала на долю Леонида Андрееву. Андреевская «Тьма» невольно вспоминается при чтении «Ночного приюта».

Основной недостаток новелл Вайана-Кутюрье в их анекдотичности и какой-то декадентски-эротической «спертости».

Буржуазная литература Франции достаточно богата произведениями того жанра, на который нередко сбивается Вайан-Кутюрье, доказывая «разложение». С другой стороны, революционная французская литература настолько бедна количественно, что лучшие ее произведения, — а к ним несомненно принадлежат такие вещи, как «Бал Слепых», — должны быть совершенно свободны от неприемлемой для нас окраски. В противном случае страдает идеологическая ясность и устойчивость революционной литературы, т. е. страдает то, что для автора должно оставаться на первом плане. *Б. Песис*

Милий Езерский.—«Чудь белоглазая». «Федерация». Стр. 317. Ц. 2 руб. 85 коп.

М. Езерский в новом своем романе, как и в первой своей книге «Самоядь», делает упор на бытовой этнографический материал. Вопросы сюжета, композиции очень мало занимают внимание автора. В центре быт зырянского дореволюционного кулачества, мещанства, тяжелый труд зырянского батрака, охотничьи кочевья — «лесование» в первобытной тайге Коми.

Этнография неизученного края, где «чудь—начудила и мерян—намерила», — материал, из которого сделан роман. Автор «работает на новом материале», — в этом достоинство книги. Она приоткрывает читателю новый неведомый ему мир. Езерский не сочини-

тельствует. Он, повидимому, хорошо знаком с изображаемым краем и его обитателями. Рыбаки, охотники, кулаки, промышляющие у северных пристаней,—живые, невыдуманные люди. Из костей и мускулов сделан его кулак Сорока, кое в чем напоминающий Сясько из «Самояди». Роман портят бесконечные диалоги. Десятки страниц отданы утомительным словоизлияниям. Многоликости книги сопутствует чрезмерная многоречивость ее героев, и в этом словесном потоке подчас тонут подлинно значительные страницы. Две вышедшие книги М. Езерского: «Самоядь» и «Чудь белоглазая» говорят о нем как о несомненно способном художнике. Новые его книги будут иметь своего читателя. Это, конечно, накладывает определенные и значительные обязательства на художника.

А. Старчаков.

П. Вяземский. — «**Старая записная книжка**». Ред. и прим. Л. Гинзбург. Изд-во писателей в Ленинграде. 1929. Стр. 347. Тир. 2.600 экз. Цена 3 р. 30 к.

«Старая записная книжка» Вяземского — книга в своем роде единственная и неповторимая. Это классический памятник той эпохи в истории русской дворянско-эстетической культуры, когда литературы в нашем значении этого слова не существовало и ее место замещал повседневный речевой быт современного светского общества: альбомные мелочи, дружеская переписка, различного рода стихотворные шутки и фокусы. Особо поощрялось всяческое остроумие и острословие — «устная словесность» светских гостиных, своеобразный салонный фольклор.

Усердным собирателем и хранителем этого фольклора и выступает Вяземский в «Старой записной книжке». Те записи, которые он вел на протяжении нескольких десятилетий,—явление порядка прежде всего эстетического, своего рода свод литературных образцов салонно-кружковой продукции первых десятилетий прошлого века.

Но мы воспринимаем объединенный в них материал не столько как художественное построение, сколько как литературный документ, не столько как памятник эпохи, сколько как сви-

детельство о ней: фактическое содержание записей в нашем восприятии играет нередко более заметную роль, нежели способ подачи материала.

Разумеется, это ни в коей мере не умаляет объективного значения и объективной ценности записей. Один из крупнейших вождей литературной жизни эпохи, неизменно стоявший в центре литературного движения, он более чем кто-либо имеет данных к тому, чтобы быть летописателем своего времени.

Конечно, анекдотичность коллекционируемых им материалов, обусловленная, как уже говорилось, их эстетической целеустремленностью, не может не учитываться. Строго выверенных фактических данных, точных дат рождений и смертей у Вяземского искать бессмысленно. Его записи дают гораздо большее: общее, синтетическое представление об эпохе как некотором социально-бытовом и культурном единстве. С этой точки зрения их в первую очередь и следует рассматривать и расценивать.

Свои записи Вяземский вел не только в период расцвета своей писательской работы. Привычки молодости он сохранил и позднее, когда арена литературной борьбы давным-давно перешла в руки младших поколений. В результате все им собранное составило около четырех десятков томов рукописей. Одни опубликованные записи составили в собрании сочинений три об'емистых тома.

При подготовке настоящего издания, рассчитанного отчасти на популяризацию записей, естественно встал вопрос о дальнейшем сокращении. Следует отдать справедливость редактору: сокращение произведено с большим исследовательским тактом и с внимательным отношением к материалу. В книге собрано действительно все, что есть наиболее яркого и интересного в «Старой записной книжке».

Гораздо более жесткой оценки заслуживает вступительная статья,— не более чем грамотная,— и примечания,— неумелые, неизвестно кому адресованные, наконец, просто небрежные, до фактических ошибок и неточностей включительно.

И. Сергиевский.

П. Д. Боборыкин. — «За полвека». (Мои воспоминания). Редакция, предисловие и примечания Б. П. Козьмина. «Земля и Фабрика» 1929 г. Стр. 383. Цена 3 р. 85 к.

Автор предисловия прав, говоря, что недостатки Боборыкина-беллетриста (бледность темперамента, слабость фантазии, протокольность описаний) являются достоинствами его, как мемуариста. По свойствам своей писательской природы это был, повидимому, прирожденный летописец, и лишь господствовавший в его время культ беллетристики, и в частности романа, увлек его на этот, оказавшийся для него не очень славным путь.

Тех читателей, которые и к мемуарам относятся беллетристически, т. е. ищут в них прежде всего острого и занимательного чтения, воспоминания Боборыкина несколько разочаруют: написанные ровно и спокойно, обремененные подчас утомительными подробностями, они не грешат привязанностью к красному словцу и к анекдоту ради анекдота.

Зато, рассчитанные исключительно на сообщение, они тем ценнее в глазах того читателя, для которого мемуары прежде всего — исторический источник. В этом смысле неприятельские и не мудрствующие лукаво «воспоминания» Боборыкина добросовестны настолько, что ими, кажется, можно поверять другие, менее надежные мемуары, относящиеся к той же эпохе (Панаевой, Григоровича).

Разумеется, известная деформация материала, как это отмечено в предисловии, имеется и здесь.

Как бы боясь быть заподозренным в классовом характере своих симпатий и антипатий, автор воспоминаний настойчиво подчеркивает в себе «дух независимости», нежелание «поддаваться модному поветрию», и эта реабилитация мрачной и жестокой старины проходит у него как бы под флагом сопротивления шаблонирующей традиции.

Но любопытно, что, став однажды в эту позицию и как бы желая быть верным своей автохарактеристике, наш мемуарист очень часто имеет мужество восставать и против таких «традиций»,

которые, казалось, должны были бы вполне удовлетворять его, как умеренного либерала. В результате мемуары Боборыкина, в общем такие мирные и обывательские, во многих своих частях совершенно неожиданно для читателя оказываются разрушительными, разоблачительными, набрасывающими тень скепсиса на многие «великие» имена, даты и события...

Например: «Из людей 40-х, 50-х, 60-х годов, сделавших себе имя в либеральном и даже радикально-революционном мире, один только Огарев еще в николаевское время отпустил своих крепостных на волю, хотя и не совсем даром. Этого не сделали ни славянофилы, по-тогдашнему распинавшиеся за народ (ни Самарин, ни Алексеевы, ни Киреевские, ни Кошелев), ни И. С. Тургенев, ни М. Е. Салтыков, жестокий обличитель тогдашних порядков, ни даже К. Д. Кавелин, так много работавший за общину и поднятие крестьянского люда во всех смыслах. Не сделал этого и Лев Толстой. И Герцен, хотя фактически и не стал после смерти отца помещиком (имение его было конфисковано), но как домовладелец (в Париже) и капиталист-рантье не сделал ничего такого, что было бы похоже на дар крестьянам, даже и в роде того, на какой пошел его друг Огарев» (180).

Независимо от фактической достоверности этого выпада (в примечаниях на этот счет нет возражений), он очень характерен для декановизаторской тенденции нашего мемуариста.

Добрая половина воспоминаний (гимназические и студенческие годы), по уверению самого автора, совпадает по материалу с автобиографическим его романом «В путь дорогу», что должно заинтересовать литературоведов-формалистов, интересующихся проблемой беллетристического оформления реального материала.

Написанные очень просто и стилистически бесхитростно мемуары Боборыкина, как и его беллетристика, не являются в целом произведением высокого искусства. Тем не менее на их страницах попадаются иногда хорошо сделанные литературные портреты, особенно блестящая и великолепная по

своей выпуклости характеристика Писемского (на 10 страницах), без которой впредь не сможет обойтись ни одна монография об этом своеобразном писателе и человеке.

В заключение, чтобы не оставлять в заблуждении покупателя книги, необходимо его предупредить, что заманчивое заглавие: «За полвека» ровно впятьеро шире того хронологического отрезка, который в ней дан, ибо, как сказано в предисловии, основной «мемуарный труд Боборыкина... остался далеко не доведенным до конца», охватывая «приблизительно лишь первые десять лет того пятидесятилетия, рассказать о котором намеревался Боборыкин» (доведен до 1865 г.—Н. П.).

Н. Прянишников.

Ю. Мархлевский. — «Литературные наброски». Письма из Японии. Гиз. 1929 г. Стр. 111. Ц. 60 к

Небольшой сборник, содержащий в себе литературные наброски Ю. Мархлевского и его письма к дочери из Японии, — вернее, из оккупированной японцами Манчжурии, — имеют для нас прежде всего историческое значение. Собранные в нем отрывки и письма тесно связаны с отдельными звеньями революционной деятельности Ю. Мархлевского. Одна лишь литературная оценка таких этюдов, как «Мадэ», «Новый год в цитадели», «1 мая в Варшаве», — явно недостаточна. Они могут быть поняты только в плане той упорной борьбы, которую вел на протяжении 40 лет этот выдающийся революционер. Отсюда не следует, что сборник лишен художественных достоинств. Он прежде всего согрет подлинным творческим жаром, в нем и до сих пор явно ощущается биение большого революционного сердца. Но литературные наброски Ю. Мархлевского приобретают для нас особый смысл, если мы вспомним, что и «Мадэ» и «Новый год в цитадели» — образчики художественно-агитационной литературы, что появились они больше трех десятилетий тому назад в массовой социал-демократической печати и были обращены непосредственно к широкой рабочей аудитории.

Ю. Мархлевский, сын разорившегося польского негодяя, с гимназической

окамья ушел на производство. На смелую родным привисленским просторам пришла гнетущая обстановка старой фабрики. Юноша Мархлевский поступил на одну из варшавских фабрик в качестве рабочего-красильщика. Работа на предприятии была тесно связана с первыми опытами профессионала-революционера. Фабричный труд в чрезвычайно тяжелых условиях — работать приходилось по 12 час. в сутки в атмосфере, отравленной ядовитыми испарениями — нашел свое отражение в наброске «Мадэ», в таком искреннем и волнующе простом.

Старик «Мадэ — отработанный пар» на производстве. Фабрика взяла у него все, что могла взять. Его удел — в стужу и зной по 13 час. в сутки приводить в движение рычаг водокачки. Он качает без устали воду. И в монотонном скрипе рычага «Мадэ слышит зловещее напоминание — «пропадешь»... Инвалид Мадэ не нужен больше фабрике, и старик становится мусорщиком. Вместе с другими отверженными старик Мадэ выброшен на свалку за пределы городской черты. Сценка «Мадэ» впервые появилась в 1893 г. в «Рабочем деле», в органе польской социал-демократии.

«Новый год в цитадели» и «1 мая в Варшаве» возникли из опыта партийной работы в 1889—91 гг. Ю. Мархлевский являлся одним из организаторов «союза польских рабочих». Целью союза было — массовая борьба за политические права. Первое празднование майского дня в Польше, первая майская стачка, широко прокатившаяся по предприятиям Варшавы и Лодзи, была проведена при ближайшем руководстве и участии союза. Живой набросок «1 мая в Варшаве» не без юмора воспроизводит тревожения неискушенных в своем деле подпольщиков, занятых печатанием и распространением первомайских воззваний.

Вскоре Мархлевскому пришлось познакомиться с 10-м дивизионом варшавской цитадели. Волнующий, несмотря на свою тридцатилетнюю давность, этюд «Новый год в цитадели» связан с 11-месячным заточением, последовавшим за событиями 1 мая.

Литературным этюдам предпослана незаконченная автобиография. Можно только пожалеть, что в ней не нашли своего отражения наиболее плодотворные годы жизни и деятельности Ю. Мархлевского. Основоположник польской социал-демократии, соратник Розы Люксембург и Леона Иогихеса, один из организаторов союза спартаковцев в годы империалистической войны, делегат от коммунистов в составе комиссии девяти для проведения социализации рурских рудников и шахт, автор ряда дипломатических актов с государствами, соседствующими с Советским Союзом, организатор МОПР и его первый председатель, —

таков самый беглый обзор деятельности этого выдающегося революционера.

Последний период его жизни получил частичное отражение в его письмах из Харбина и Дайрена, куда он был делегирован для участия в переговорах между Дальне-Восточной республикой и Японией.

Жизнь и деятельность Ю. Мархлевского еще ждут своего биографа и исследователя. Наш сборник дает о Ю. Мархлевском самое отрывочное представление. И все же он заслуживает самого широкого распространения: исторический и агитационный смысл материалов несомненно жив и для наших дней.

А. Стариков.

Письмо в редакцию

Уважаемый товарищ редактор, не откажите поместить в вашем журнале следующее:

В связи со статьей Вяч. Полонского «О читателе и теории иммунитета» («Нов. Мир», кн. 8—9, стр. 266), автор которой, указывая на необходимость изучения читателя, говорит, что до сих пор ничего или почти ничего не делается в этой области, сообщаем, что при Главполитпросвете НКП организован рядом издательств (Гиз, ЗИФ, «Московский Рабочий», «Молодая Гвардия»), совместно с Федерацией Объединения советских писателей и ВЦСПС, Кабинет по изучению читателя художественной литературы.

Основная задача Кабинета — постановка и разработка вопросов читателевсенерия.

Путем выявления интересов и запросов массового читателя Кабинет дол-

жен содействовать работе библиотечных, издательских и писательских организаций.

Работа Кабинета выражается в постановке массовых обследований, в разработке отдельных вопросов в области изучения читателя и методики этого изучения, в собирании и систематизации читательского материала и т. д.

В настоящее время Кабинет заканчивает разработку материалов (по группе рабочих и крестьян), полученных в результате единовременного обследования спроса.

Всех интересующихся работой Кабинета просим обращаться по ниже следующему адресу: Чистые Пруды, д. 6, комната 360, от 9½ до 3¼ часов ежедневно.

Кабинет по изучению читателя художественной литературы.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Приветствуем организацию Кабинета по изучению читателя художественной литературы. Будем ждать результатов этой полезнейшей работы.

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Всемирная экономическая география. Под ред. Н. Баранского и С. Бернштейна-Когана. Том 1. Германия—Польша. Стр. 315. Ц. 3 р. 50 к.

ГЮЮ, Виктор.—Девяносто третий. Роман. Пер. М. Шишмаревой, под ред. А. Виноградова. Стр. 382. Ц. 60 к.

ТОЛСТОЙ, Алексей.—Четыре века. Рассказы, сказки, стихи. Вступит. статья П. Медведева. Стр. 707. Ц. 3 р. 50 к. Переплет 30 к.

МАРХЛЕВСКИЙ, Ю.—Литературные наброски. Письма из Японии. Стр. 111. Ц. 60 к.

ПАНФЕРОВ, Ф.—Бруски. Роман. Первая книга. Стр. 320. Ц. 50 к.

МАРКОВ, В. Д.—Краткая история театра. Начальные сведения для драматических кружков. Стр. 70. Ц. 50 к.

«Авское право СССР и РСФСР». Сборник декретов и распоряжений. Составил В. Ган. Стр. 88. Ц. 40 к.

АНИСИМОВ, С.—Кавказские Альпы. Путеводитель. Стр. 192. Ц. 2 р.

XVI конференция всесоюзной коммунистической партии (б) — стенографический отчет. Стр. 336. Ц. 2 р. (пер.).

1917 год в деревне—воспоминания крестьян. Стр. 360. Ц. 2 р. 50 к.

С. МАРКОВСКАЯ.—История одной работницы. Стр. 94. Ц. 30 к.

СИНКЛЕР ЛЬЮИС.—Мартин Эрроусмит.—Роман. Стр. 551. Ц. 2 р. 25 к. (пер.).

ГНЕДИЧ, П. П.—Книга жизни (воспоминания). Стр. 372. Ц. 2 р. 50 к.

МАЯКОВСКИЙ, В.—Клоп. Феерическая комедия. Стр. 70. Ц. 75 к.

БЯДУЛЯ, З.—Повести и рассказы. Стр. 162. Ц. 1 р. 20 к.

ВЕРХАРН, Эмиль.—Избранные стихи. Стр. 256. Ц. 1 р. 40 к.

«ПРИБОЙ»

МУСТАНГОВА, Е.—Современная русская критика. Стр. 74. Ц. 60 к.

П. П. ГНЕДИЧ.—Книга жизни (воспоминания). Стр. 372. Ц. 2 р. 50 к.

РОЛЛАН, Р.—Молодые годы Жан-Кристофа. Стр. 308. Ц. 2 р. 05 к. (пер.).

КЮХЕЛЬБЕКЕР, В. К.—Дневник. Предисл. Ю. Тынянова. Редакция В. Орлова и С. Хмельницкого. 1929. Стр. 373. Ц. 2 р. 50 к. Пер. 25 к.

Провокатор.—Воспоминания и документы о разоблачении Азефа. Ред. вступил П. Е. Шеголева. Стр. 348. Ц. 2 р.

ЛАЙЦЕН, Линард.—Эмигрант. Роман. Пер. с латышского. Стр. 295. Ц. 1 р. 75 к.

ШАГИНЯН, М.—Соб. соч. Том 3-й. Приключения дамы из общества. Своя судьба. (Два романа). Стр. 615. Ц. 3 р. 75 к. Переплет 35 коп.

ФЕКТИСТОВ, Е. М.—За кулисами политики и литературы (1848—1896). Воспоминания. Стр. 423. Ц. 3 р. 50 к.

АНДРУЗСКИЙ, А. Я.—Эстетика Шаханова. Стр. 211. Ц. 1р. 50 к.

БУДДБЕРГ, Алексей, барон. Дневник белогвардейца. Ред. П. Е. Шеголева. Стр. 302. Ц. 2 р. 75 к.

НОВИЦКИЙ, В. Д.—Из воспоминания жандарма. Ред. П. Е. Шеголева. Стр. 287. Ц. 1 р. 90 к.

«ЗИФ»

НЕВЕРОВ, А.—Андрей Непутевый. Стр. 46. Ц. 15 к.

КЕЛЛЕРМАН, Б.—Тоннель. Стр. 362. Ц. 1 р. 80 к. (пер. 25 к.).

ДОНН БЕРН.—Дом палача. Стр. 325. Ц. 1 р. 80 к.

ЧЕТВЕРИКОВ, Дм.—Заграничный Степан. Стр. 268. Ц. 2 р.

КУШЕР, Ф.—Следопыт. Стр. 267. Ц. 1 р. 40 к.

ИЛЬФ, И. и ПЕТРОВ, Е.—Две надгробные статуи. Стр. 414. Ц. 2 р. 40 к.

РЯХОВСКИЙ, В.—Четыре стены. Стр. 270. Ц. 2 р. 25 к.

ЗЕГЕРС.—Восстание рыбаков. Стр. 116. Ц. 70 к.

ШОЛОМ АИШ.—Дядя Моисей. Стр. 174. Ц. 1 р. 20 к.

ШИШКОВ, Вяч.—Торжество. Стр. 201. Ц. 1 р. 60 к.

ЗАВАДОВСКИЙ, Л.—Железный круг. Стр. 238. Ц. 1 р. 50 к.

ЯКОВЛЕВ, Ал.—Человек и пустыня. Стр. 286. Ц. 2 р.

МАЙН РИД.—На дне тюма. Стр. 244. Ц. 1 р. 25 к.

АЛТАЕВ, Ал.—Последние звонья. Стр. 167. Ц. 1 р. 30 к.

АВИЛОВ, М.—Подшефные коммуны № 5. Стр. 119. Ц. 80 к.

ЛАЙОНС, Уолжин.—Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти. Пер. с англ. Стр. 229. Ц. 1 р. 25 к.

МОПАССАН, Гюи.—Собр. соч. Рассказы Книга 14-я Стр. 142 (прилож. к журналу «30 дней»). 1919—1929. Стр. 95 (бесплатно).

ЗАВАДОВСКИЙ, Л.—Вражда. Изд. 2-е. Стр. 220. Ц. 1 р. 35 к.

НИКИТИН, Ив.—Уклон. Рассказы. Стр. 286. Ц. 1 р. 80 к.

ВЛАДИМИРОВ, Вл.—Две дороги. Повесть. Стр. 191. Ц. 1 р. 40 к.

АЛЕКСЕЕВ, М.—Большевики. Роман (дешевая библиотека ЗИФ'a). Стр. 256. Ц. 40 к.

БЕРЕЗОВСКИЙ, Ф.—Мать (дешев. биб-ка ЗИФ'a). Стр. 160. Ц. 25 к.

УЭЛЛИС, Г. Дж.—Когда спящий прогноется. Фантастический роман. Стр. 273. Ц. 1 р. 60 к.

ЗОЛЯ, Э.—Жерминаль. Роман. Стр. 655. Ц. 3 р. 20 к.

ВЕРН, Ж.—Север против юга. С рис. Стр. 278. Ц. 1 р. 75 к.

МАЙН РИД.—На невольничьем судне. Роман. С рис. Стр. 248. Ц. 1 р. 40 к.

МОПАССАН, Г.—История батрачки с фермы (библ-чка батрака). Стр. 38. Ц. 8 к.

ПОДЯЧЕВ, С.—Карьера Захара Федорыча Дрыцалина (библ-чка батрака). Стр. 55. Ц. 10 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

ФУРМАНОВ, Дм.—Дневник (1914—1915—1916). Стр. 316. Ц. 2 р. 25 к.

БАБУШКИН, В.—В царских погонах. Стр. 124. Ц. 60 к.

«КРАСНЫЙ ПЕСЕННИК». Сборник первый. Стр. 76. Ц. 25 к.

«АД». Сборник рассказов японских пролетарских писателей. Стр. 189. Ц. 1 р.

АРАМИЛЕВ, В.—Толстовство и этика рабочего класса. Стр. 80. Ц. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

РОВИНСКИЙ, Орест.—Горы тронулись. Роман. Стр. 302. Ц. 1 р. 95 к.

ВЕГИН, С.—В верховьях Тигра (у айсоров и куртов) С иллюстр. Стр. 221. Ц. 1 р. 35 к.

АРОСЕВ, А.—Собр. соч. Том II. Повести о людях советской страны. Стр. 249. Ц. 2 р. 15 к. Переплет 70 к.

АНДРЭ, Мариус.—Христофор Колумб (правдивые повествования). Пер. с франц. Стр. 173. Ц. 1 р. 10 к.

РАЗНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

ВИНОКУРОВ, Семен.—Ключья (стихи). Изд. Всероссийского союза поэтов. Стр. 62. Ц. 80 к.

ЛЕВИТ, Аврелий.—Песня скалы (абхазская легенда). Изд. Наркомпроса Абхазии. Сухум. 1929. Стр. 16. Ц. 50 к.

ШОЛЬЦ, С. В.—Классовая структура крестьянства Московской губ. Изд. Моск. области, статистич. отдела. Стр. 128. Ц. 1 р.

ЦИОЛКОВСКИЙ, К.—Общественная организация человечества (вычисления и таблицы) Изд. автора. Калуга. Стр. 32.

ЦИОЛКОВСКИЙ, К.—Прошедшее земли. Изд. автора. Калуга. Стр. 21.

КЕССЕЛЬ, Ж.—Пленница Махно. Роман. Перевод с 37-го франц. издания. Изд. АРП. Стр. 119. Ц. 70 к.

ДУБРОВСКИЙ, С. М.—К вопросу о сущности «азиатского» способа производства, феодализма, крепостничества и торгового капитала. Изд. Научн. Ассое. Востоковед. Стр. 168. Ц. 1 р. 50 к.

«НОВЫЙ ВОСТОК». — Журнал Научн. Ассое. Востоковед. Книга 26—27. Стр. 429. Ц. 3 р. 50 к.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

5-й ГОД
ИЗДАНИЯ

НА
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

5-й ГОД
ИЗДАНИЯ

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Н О В Ы Е М И И Р

ПОД РЕДАКЦИЕЙ: А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, А. Г. МАЛЫШКИНА, В. П. ПОЛОНСКОГО и В. И. СОЛОВЬЕВА.

В ВЫШЕДШИХ КНИГАХ НАПЕЧАТАНО:

Я Н В А Р Ь

А. МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть. Л. СЕЯФУЛЛИНА. — Выхваль, рассказ. М. СВЕТЛОВ. — Три стихотворения. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели. роман. БОР. ПАСТЕРНАК. — Два стихотворения. Б. ЛАВРЕНЕВ. — Белая гибель, повесть. ПЕТР ШИРЯЕВ. — Двое, рассказ. Г. ФИШ. — В Уфе, стихотворение. И. САДОФЬЕВ. — Встреча, стихотворение.

А. ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой (воспоминания). В. БОНЧ-БРУЕВИЧ. — Из воспоминаний о В. И. Ленине. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Очерки современной литературы (о творчестве Вс. Иванова). НИК. СМИРНОВ. — Александр Малышкин. Б. ПЕСИС. — Франция и Толстой. Н. ЗАМОШКИН. — О третьем альманахе «ЗИФ». Ф. РОГИНСКАЯ. — Бытовая художественная культура. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). Б. КУШНЕР. — Южное сияние, очерк. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Ф Е В Р А Л Ь

А. МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть (продолжение). М. ГОЛОДНЫЙ. — Два стихотворения. В. САЯНОВ. — Полюс, стихотворение. П. НИКАНДРОВ. — Лесосека, рассказ. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. — Карусель, стихотворение. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (продолжение). М. ЗЕНКЕВИЧ. — Перелет Москва — Армавир, стихотворение. П. СЛЕТОВ. — Листья, рассказ. О. КОДЫЧЕВ. — Ночь на катке, стихотворение. О. ФОРШ. — Последняя Роза, рассказ.

Б. МАЯЗЬЕВ. — Средиземноморская проблема. Н. СМИРНОВ. — Неотразимый образ (Л. Рейснер). ИС. ТРОЦКИЙ. — Первый провокатор-профессионал. С. ДИНАМОВ. — Идеология научной и технической интеллигенции. ПОГРАНИЧНИК. — Горная страна Памир (с иллюстрациями). ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Листья из блокнота. А. ШЕСТАКОВ. — На историческом фронте. Б. СКВОРЦОВ. — Спутница Л. Толстого. Я. ФРИД. — Миссионер призывает в оружие. Б. ЛЕВИН. — Деревенские очерки. Е. КОКИЕВА. — По горной Осетии, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

М А Р Т

А. МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть (конец I ч.). Д. ЕРЕМИН. — Соседи, рассказ. Н. ДЕМЕНТЬЕВ. — Лирическая экскурсия, стихотворение. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (продолжение). БОР. ПИЛЬНЯК. — Двадцать восемь тысяч печатных знаков, рассказ. АДАЛИС. — Робат, стихотворение. В. КИРИЛЛОВ. — Критику, стихотворение. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дни, рассказ. И. ПРИБЛУДНЫЙ. — Случай в Монреале, стихотворение.

Ф. НОТОВИЧ. — Ремонтный узел. Н. ПИКСАНОВ. — Гривбодос-мастер. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Дневник журналиста. Л. ТИМОФЕЕВ. — Современная украинская литература. АРК. ГЛАГОЛЕВ. — «Атаманища» Мхл. Алексеева. Б. ПЕСИС. — Жан Жероуд. А. СТАРЧАКОВ. — Поход на Москву. И. ИЛЬИНСКИЙ. — Заметки о высшей школе. Е. ВИХРЕВ. — Палат, очерк (с иллюстрациями). Л. НОТБУРГ. — Новая губерния, очерк. Б. КУШНЕР. — «Коммунистический Маяк», очерк. Л. ГАМИЛЬТОН. — Письмо на Японию, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

А П Р Е Л Ь

М. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть. Г. НИКИФОРОВ. — О Майдане, свободном пироге и женщине (рассказ бригадира). О. МАНДЕЛЬШТАМ. — А небо будущим беременно... стихотв. Г. ПИТОРМ. — Повесть о Болотникове. Е. ЗАБЕЛИН. — В тайге, стихотв. С. МАРКОВ. — Путешествие в Пиши к, стихотв. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дороги, рассказ. АДАЛИС. — Два стихотворения. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (окончание). И. САДОФЬЕВ. — Песни, стихотв.

М. И. КАЛИНИН. — К V Съезду Советов СССР. БЕЛА САНТО. — Из воспоминаний о советской власти в Венгрии. Э. Э. КИШ. — За кулисами статуи Свободы. Г. СЕРБРЯКОВА. — Клара Лакомб, союзница «белых». А. ЛЕЖНЕВ. — Критика «эриктиков». НИК. СМИРНОВ. — Художественное творчество рабкоров. С. НАКЕНТРЕЙЕР. — Заметки недоуменца. С. ОБРУЧЕВ. — Анагаль Франс в халате и без... Б. КУШНЕР. — Арзгар, очерк. АДАЛИС. — По Туркмении, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерк международной политики). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

(Продолжение см. на 4-й стр. обложки).

Цена 2 р. 80 к.



ГОСИЗДАТ РСФСР
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Н. А. НЕКРАСОВА

Под редакцией К. И. ЧУКОВСКОГО и В. Г. ЕВГЕНЬЕВА-МАКСИМОВА. С предисловием Демьяна БЕДНОГО.

5
ТОМОВ в
КОЛЕНКОР.
ПЕРЕПЛЕТ.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ:
ТОМА I и II Стихотворения
ТОМ III Три страны света
ТОМ IV Повести и фель-
тонные статьи.
ТОМ V П И С Ь М А.

ВСЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНО ВЫПУСТИТЬ в ТЕЧЕНИЕ
1929—1930 гг. Первая книга выйдет в сентябре—октябре.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА — 10 РУБ

Условия подписки: задаток — 2 руб. и при получении каждого тома по 1 р. 60 к. налог. платежом. Пересылка за счет подписчика.

Подписка принимается: Ленинград, просп. 25-го Октября, 28, Ленотгизом, Москва, Центр, Ильинка, 3, Периодсектором Госиздата, в магазинах, отделениях и конторах Госиздата, а также у уполномоченных, снабженных удостоверениями.

Изд-во „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“
МОСКВА, 37, Страстная площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на СЕНТЯБРЬ месяц и до конца 1929 г.

7-й ГОД
ИЗДАНИЯ

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛУСТРИРОВАННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7-й ГОД
ИЗДАНИЯ

КРАСНАЯ НИВА

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Вяч. ПОЛОНСКОГО.

КРАСНАЯ НИВА освещает в художе-
ственном слове, статьях,
очерках и иллюстрациях рост и
развитие социалистического строи-
тельства СССР, успехи индустри-
ализации и коллективизации сель-
ского хозяйства, пути культурной
революции.

КРАСНАЯ НИВА освещает революцион-
ную борьбу мирового
пролетариата, знакомит с важней-
шими явлениями во всех областях
мировой культуры.

В **ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ** читатель
найдет отображение всей текущей жизни
искусства как советского, так и европей-
ского.

В отделе критики литературы, театра и ки-
но—наиболее крупные явления советского
и европейского театра и литературы.

Каждый номер «Красной Нивы» дает фото-
образ мировых событий.

МНОГОКРАСНЫЕ ОБЛОЖКИ
журнала «КРАСНАЯ НИВА» воспроизво-
дят рисунки лучших современных совет-
ских и европейских художников.

**Условия подписки на 1929 г. на жур-
нал „КРАСНАЯ НИВА“:**

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
6 р. 75 к.	5 р. 10 к.	3 р. 40 к.	1 р. 75 к.	60 к.

**Условия подписки на „КРАСНУЮ НИВУ“ для
подписчиков газеты „Известия ЦИК“:**

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
4 р. 80 к.	3 р. 60 к.	2 р. 40 к.	1 р. 20 к.	40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) Гл. Конторой „Известий ЦИК“, 2) всеми отделениями, подотделениями и штат-
ными представительствами Главной К-ры „Известий ЦИК“ на местах; 3) всеми
почтовыми конторами и письмовоестами и 4) контрагентами по распространению периодической печати.